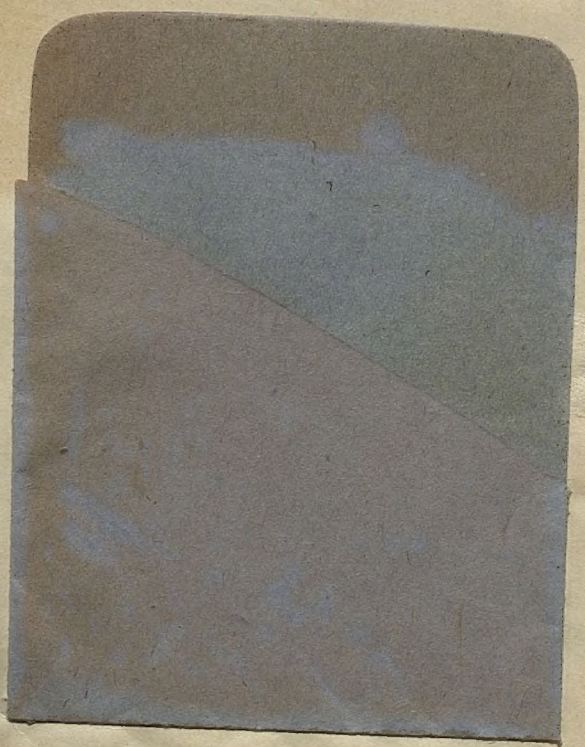
КП
145
М-82

Московские стахановцы



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МОСКОВСКИЕ СТАХАНОВЦЫ

Очерки

А. Воронцова, Е. Габриловича, Б. Галина, С. Гехта, В. Гроссмана, М. Дальцевой, Матэ Залка, Веры Инбер, Ф. Кандыбы, Льва Кассиля, Е. Кригера, А. Кронгауза, А. Крыловой, Кирилла Левина, Павла Лина, Н. Маркевича, Леонида Саянского, Татьяны Тэсс, Константина Финна, А. Эрлиха, Бор. Ягдинга и др.

Рисунки с натуры художников Н. Кравченко, П. Васильева и А. Парамонова

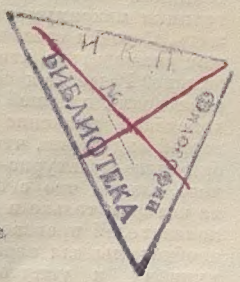
МОСКВА

КП
145
М82

МОСКОВСКИЕ СТАХАНОВЦЫ

литературные портреты

8870



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ 1936

2 экз.

В самом деле, присмотритесь к товарищам стахановцам. Что это за люди? Это, главным образом,— молодые или средних лет рабочие и работницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время не только минутами, но и секундами. Большинство из них прошло так называемый технический минимум и продолжает пополнять свое техническое образование. Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников, они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая новые, более высокие, они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителями нашей промышленности, они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников, они нередко учат и толкают их вперед, ибо это — люди, вполне овладевшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжать. Сегодня стахановцев еще мало, но кто может сомневаться, что завтра их будет вдесятеро больше? Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?

И. СТАЛИН.

Государственная публичная
БИБЛИОТЕКА
481164
Историческая

Знатные московские стахановцы

о которых рассказывает эта книга

В. А. Бобков

Кузнец автомобильного завода имени Сталина — страница 230.

К. А. Бородулин

Бригадир комплексной ремонтной бригады станции Москва-Сортировочная Московско-казанской железной дороги — 349.

Н. Н. Бочаров

Начальник литейного цеха Люберецкого завода сельскохозяйственных машин — 406.

П. Д. Бункин

Забойщик, мастер отбойного молотка шахты № 10 Донского района Подмосковного бассейна — 126.

Н. Д. Волкова

Машинистка на гильзовых машинах фабрики «Ява» — 285.

П. С. Волков

Бригадир отделения переработки крупного скота Мясокомбината имени Микояна — 554.

Н. Ф. Гнедин

Инженер-химик, начальник корпуса Химического завода имени Сталина — 493.

А. С. Грачева
Ткачиха фабрики «Красная Роза» — 376.

И. И. Гудов
Фрезеровщик станкостроительного завода имени Орджоникидзе — 478.

Е. Л. Гуревич
Шлифовщик завода имени Фрунзе — 542.

А. М. Дианова
Вязальщица фабрики № 3 имени Ногина — 49.

А. И. Елисеев
Токарь завода «Можерез» — 15.

Н. С. Замков
Арматурщик конторы № 3 треста «Заводострой» — 516.

И. И. Иванов
Машинист Метрополитена — 433.

Е. Г. Илларионова
Ткачиха фабрики имени Октябрьской революции — 110.

М. А. Клокова
Ватерщица Трехгорной мануфактуры — 393.

А. А. Козырева
Навивальщица Электрокомбината имени Куйбышева — 264.

Ф. И. Королев
Токарь автозавода имени Сталина — 31.

В. А. Коротков
Бригадир карамельной бригады фабрики «Красный Октябрь» — 326.

Б. А. Кощелев
Мастер и начальник смены корпуса Дорогомиловского химического завода имени Фрунзе — 183.

М. В. Лысякова
Ткачиха фабрики имени Фрунзе — 339.

М. Д. Макарова
Сверловщица завода № 37—99.

П. И. Макаров
Бригадир-прокатчик завода «Серп и молот»—274.

П. С. Орлов
Каменщик треста «Мосжилстрой» — 209.

А. И. Пузанов
Составитель поездов станции Лосиноостровская Северной железной дороги — 199.

Ф. Д. Ракитин

Забойщик шахты покровского радиуса Метростроя — 73.

И. П. Роговский

Мастер фабрики «Большевичка» Москвошвея — 363.

П. К. Самарин

Каменщик треста «Заводострой» — 169.

М. Ф. Самойлова

Работница хального конвейера Хлебозавода № 4 — 505.

Х. И. Селезнев

Вагоновожатый Краснопресненского трамвайного депо — 299.

В. Г. Сергеева

Портниха фабрики № 3 Москвошвея — 154.

М. С. Сергеев

Главный кондуктор товарных поездов Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги — 61.

И. И. Сидоров

Обтяжчик обувной фабрики «Буревестник» — 419

Д. С. Скибо

Бригадир первой кристаллизации радиевого цеха завода редких элементов — 449.

Н. И. Славникова

Сверловщица завода № 37 — 1.

В. А. Толстоусов

Столяр-оправщик Красносельской мебельной фабрики треста «Союзмебель» — 531.

И. А. Тыртов

Кузнец завода «Электросталь» — 460.

Е. В. Фадеева

Ткачиха Трехгорной мануфактуры — 141,

Л. М. Чарноцкий

Инженер, технический директор станкостроительного завода имени Орджоникидзе—314.

Я. С. Юсим

Инженер, сменный мастер третьего пролета кузнечного цеха завода «Шарикоподшипник» имени Кагановича — 87.

С. И. Яшин

Штамповщик обувной фабрики «Парижская коммуна» — 248.

Б. Галин

Нина Славникова

Первый прыжок с парашютом Нина Славникова совершила сентябрьским утром с высоты девятисот метров. Маленькую, зеленую машину вел Войтицкий. Утро было солнечное, сухое. Первым прыгнул токарь Тартаковский, за ним — техник Макаревич. Затем настала очередь Нины.

Низенький, седой доктор, с сердито нахмуренными бровями, внимательно выслушал ее и, ничего не сказав, легонько хлопнул ее по плечу.

Нина аккуратно уложила парашют, еще раз внимательно проверила, все ли в порядке, и молча взглянула на инструктора, который помогал ей укладывать шелк парашюта.

— Товарищ Славникова, — строговато сказал он, — парашют готов?

— Есть готов,— в тон инструктору ответила Нина и тихо добавила: — И я готова.

Нина закрепила на себе парашют и, осторожно шагая, поднялась в кабину, села впереди пилота. В зеркале она увидела худощавое спокойное лицо Войтицкого, охваченное кожаным шлемом. Пилот кивнул ей головой, одобряюще улыбнулся.

На высоте девятисот метров Войтицкий перевел мотор на малые обороты. Она поняла, что пришла та минута, когда надо действовать. Медленно перенесла правую ногу, еще осторожнее левую. Ухватилась за стойку центроплана. Ветер бил в лицо. Смотреть вниз она избегала. От плоскости крыла она отделилась легко, с силой дернула кольцо, ее перевернуло в воздухе, затем она увидела над собой белый купол парашюта.

Приземлилась она хорошо и, с трудом скрывая охватившую ее радость, пожимала руки инструктора, летчика и старенького доктора, который, глядя на крепко скроенную девушку, тепло улыбался.

Подруги и товарищи по работе, которым она рассказала о своем первом прыжке, правда, поздравили ее со смелым прыжком, но о подробностях мало расспрашивали. То, что она сделала, было в их глазах самым обыкновенным делом. В эти дни весь завод только и говорил, что о Зайцеве и Серегиной, двух рабочих—последователях Стаханова, перевыполнивших установленные нормы.

Нина Ивановна Славникова

О них и о Марусе Макаровой писали в заводской газете, говорили на собраниях, их выбирали в президиум, они как бы были тем центром, к которому тянулся весь завод.

И это задело Славникову.

Макарова работала неподалеку, за таким же, как и у Нины, только не советским, а американским сверлильным станком и обрабатывала такие же детали. Белокурая, высокая девушка работала спокойно и методично. В приемах работы как будто ничего особо выдающегося. Они познакомились, и Маруся подтвердила, что никаких Америк она не открывает, дело же спорится у нее потому, что материал имеет у себя под рукой, справа, а не тянется за ним, как другие, чуть ли не за два метра. И еще такие же обыкновенные вещи.

— В чем же дело? — спрашивала себя Славникова. — А почему я не могу быть стахановкой?.. Зайцев, Серегина, Макарова Маруся растут, почему же я не могу расти, итти вперед. В чем дело?..

Она понимала, что в один день не догонит ни Марусю, ни Зайцева и Серегину, — для этого надо тщательно, исподволь готовиться. День за днем она выпытывала у Маруси скорости и подачи ее станка, как она дает направление детали, — все секреты этой способной Маруси, которая без особого напряжения перевыполняла норму в два-три раза. Маруся отвечала охотно на все вопросы своей соседки. Она сказала, что можно дать на этом станке и больше деталей.

— А сколько? — будто невзначай спросила Нина.

— Шестьдесят.

— Ага, значит я должна дать шестьдесят одну, — подумала Нина. И, когда она решила для себя твердо, что к соревнованию с Макаровой она готова и станок к это-

му подготовлен, она заявила об этом технологу Губареву.

Но тот в ответ только покачал головой.

— В чем дело, — нахмурилась девушка в красном берете. — Раз я говорю, что берусь...

— Верю. Но Макарову трудно догнать.

— В чем дело? — чуть побледнев от гнева, повторила она высоко, отчетливо. — Раз я бесстрашная парашютистка, значит мне рекорды Макаровой не страшны.

Технолог чуть было не расхохотался, слушая эти наивные, торжественным тоном сказанные слова, но, взглянув в лицо Славниковой, промолчал. Затем сказал: все, что надо, им будет сделано.

24 октября она внимательно осмотрела свой станок, подготовила его к работе. Детали лежали с правой стороны, инструмент был тут же под рукой, на столе станка. Сама Нина чувствовала себя внутренно подобранной, спокойной, как при сентябрьском прыжке с парашютом.

— Кончили мы работу в 4 часа. Ко мне подошли и сказали, что Маруся Макарова сделала восемьдесят одну деталь. Что ж, столько же сделала и я. Мы выполнили задание на пятьсот процентов. Об этом узнал весь завод. Устроили в нашу честь митинг. Рутэс преподнес Марусе и мне цветы. Я сказала рабочим:

— В чем дело, товарищи! Маруся Макарова и Нина Славникова сделали смелый прыжок. Они сломали старые нормы. Теперь очередь за вами, товарищи.

— Совершенно верно!

... Серго Орджоникидзе слушал рассказ Нины Славниковой на совещании в Наркомате тяжелой промышленности со все возраставшим вниманием и интересом. Он по-

вернулся к ней лицом и чуть наклонился вперед, чтобы лучше видеть и слышать эту темноволосую, плотную девушку. Он улыбался, и глаза его блестели таким же молодым, веселым блеском, как и у Нины.

В этот вечер Серго слушал много речей стахановцев. И, прощаясь с ними, он вспомнил о Нине, отыскал ее глазами и горячо, страстно сказал:

— Вот Нина Славникова... Смотришь на нее, такую молодую, бесстрашную, и хочется сказать всем: вот дочь Октябрьской революции! Посмотрите на нее, что она делает, какие чудеса она творит...

Днем позже, в Кремле, на слете стахановцев, предоставляя слово Нине, Орджоникидзе коротко добавил:

— Товарищ Славникова — комсомолка.

И обернулся к Сталину, точно желая привлечь его внимание к выступлению девушки в зеленой кофточке и красном берете. Славникова широко, как старому знакомому, улыбнулась Серго Орджоникидзе и, преодолевая охватившие ее волнение и робость, вслух спросила себя:

— Как зародилось у нас стахановское движение?

Ответить на этот вопрос ей было нетрудно. Она вспомнила свои тайные думы и мечты, беседы с Макаровой. И, перехватив ободряющий сталинский взгляд, рассмеявшись над всеми своими страхами, просто стала рассказывать о том дне, когда она решила поставить рекорд.

У каждого из них есть такой особо запоминающийся день, подводящий черту их прежней работе и открывающий новую страницу жизни. Бусыгин раскрывает маленькую записную книжку, всматривается в цифры откованных им коленчатых валов и, видимо, вспомнив тот день, когда он подготовился к рекорду, задумчиво произносит:

— Да, это было в сентябре...

Нина говорит коротко, энергично:

— Мой вызов Макарова приняла 23 октября. Да, это было в октябре...

Сталин слушал ее внимательно, он стоял, прислонившись к стене, раскуривая трубку.

— Станков хватает? — бросил он реплику, когда Нина сказала, что теперь директор думает о том, как обеспечить цех литьем и инструментами, чтобы рабочие не стояли.

— Хватает.

— А рабочих хватает? — продолжал расспрашивать Сталин.

Славникова перехватила его острый, внимательный взгляд и ответила:

— И рабочих хватает, поскольку у нас некоторые стали по шесть норм выполнять.

Нина повернулась к Сталину лицом. Не сводя с него сияющих глаз и помолчав, точно собираясь с мыслями, громко и отчетливо сказала, что заверяет свою партию, заверяет товарища Сталина в том, что страна получит сотни и тысячи танков и броневиков отличного качества.

Сталин одобрительно кивнул головой, дружески улыбнулся.

Много позже, пытаясь разобраться и осмыслить все то, что она видела и получила на совещании, Нина поняла, что все четыре дня, которые стахановцы провели в Кремле, были днями большой государственной работы, протекавшей на их глазах и с их активным участием.

Широко раскрытыми глазами Нина жадно вбирала в себя впечатления, все то, что она видела и слышала в кремлевском зале. Веселые, оживленные лица людей,

смех, песни. Сталин, окруженный соратниками, широким приветственным жестом прощается со стахановцами...

И с особенной силой врезалась в сознание та минута, когда Сталин взошел на трибуну и поднял руку, желая начать свою речь.

Сталин появился в президиуме в тот момент, когда Ворошилов говорил о стахановцах, которых он назвал людьми первого разряда. И, как всегда, едва зал увидел Сталина, заседание на мгновенье прервалось, все внимание переключилось на человека в полувоенной, уже хорошо запомнившейся всем тужурке, стоявшего, облокотившись о стул. Он попробовал отступить к стене, но это только вызвало новый взрыв аплодисментов, от которых нельзя было скрыться.

Ворошилов, стоявший на трибуне, повернулся к Сталину и так же, как и все, зааплодировал ему. Сталин указал ему рукой на зал, требуя, чтобы он продолжал свою речь.

О чем же говорил Ворошилов?

Ткачиха Лысякова сидела так близко от него, что хорошо видела седеющие виски наркома обороны, его ладную, литую фигуру и то, о чем он говорил негромким голосом, она воспринимала с двойной силой. Все, что касалось жизни Красной армии, о делах которой докладывал совещанию нарком, кровно касалось и ее: 14-го она проводила сына Николая, слесаря той же фабрики, где она работала, на Дальний Восток, в авточасть. Обнимая его, прощаясь с ним, она сказала:

— Ну, держи мое знамя, знамя ткачихи и члена правительства, высоко!..

И теперь ей важно было услышать, каких бойцов воспитывает наша Красная армия.

Ворошилов говорил о бесстрашных и мужественных

людях Красной армии. Какое-то огромное чувство, внутренняя сила заставила Лысякову и тысячи людей подняться и стоя, в знак большого уважения к тому, о ком говорил Ворошилов, выслушать его заключительные, прекрасные слова о великом маршале социалистической революции, великом маршале побед на всех фронтах нашего строительства, маршале мирового коммунистического движения — о товарище Сталине.

И образ великого пролетарского маршала, нарисованный Ворошиловым, с такой силой врезался в сознание каждого участника совещания, что, когда на трибуну поднялся товарищ Сталин и, точно предчувствуя, что сейчас произойдет в зале, и явно желая избетнуть этого, деловито поднял руку, требуя внимания и тишины,—три тысячи людей непроизвольно, от всей души ответили ему восторженными криками, пением «Интернационала». Как огромный вал, нарастали песня и приветствия, аплодисменты и возгласы людей, выражавших свою любовь и преданность вождю партии.

Сталин обернулся к Серго, но тот в ответ засмеялся, указал на зал и так же, как и все те, которые стояли в эти минуты в зале, поднял руки и еще сильней зааплодировал ему. Сталин всматривался в лица стоявших людей. Затем отпил глоток воды, взглянул на часы, заулыбался, развел руками...

Тщетно пытался он сдержать аплодисменты и возгласы,— они все усиливались. Тогда он сам зааплодировал людям стахановского движения, о котором, когда ему наконец дали говорить, он сказал, что это движение войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из самых славных ее страниц.

— Товарищи! О стахановцах здесь, на этом совещании, так много и так хорошо говорили,— медленно, не-

громко сказал он, — что мне, собственно, мало что остается сказать. Все же,— он как-то хорошо засмеялся, весело взглянул на зал,— раз меня вызвали на трибуну, придется сказать несколько слов.

Говорил Сталин действительно немного, кажется, около часа. То, что он сказал, давало такой обильный материал для размышлений, для действия, работы, что люди слушали его речь, затаив дыхание. Так велики были у всех напряжение и внимание, направленные в одну точку: не проронить ни одного сталинского слова, не потерять ни одной сталинской мысли.

Слушая простое начало сталинской речи, Константину Петрову, парторгу шахты, сидевшему рядом с Алексеем Стахановым, казалось, что Сталин постепенно приближает людей к тому, что он продумал и прочувствовал. Он словно раздвигает высокие белые стены зала и дает возможность увидеть широкие горизонты, ясные, захватывающие перспективы... Сталин обобщил мысли тысяч, он вскрывал суть того, что сделали скромные простые люди, чуть смущающиеся тем размахом, какое приняло движение, такие люди, как Стаханов, Бусыгин, Сметанин, Кривонос, Пронин, Виноградовы и другие, он обнажал суть этого движения.

Сталин делает паузу и коротким движением руки подкрепляет мысль о том, что стахановское движение подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму. Он подчеркивает характерные черты этого движения, у колыбели которого мы присутствуем: движение началось как-то самопроизвольно, почти стихийно, снизу... Движение зарождалось в борьбе, опираясь на новую технику, и носителями его являются люди, оседлавшие эту технику. Стахановское движение разнеслось по всему

лицу нашего Союза не постепенно, а с какой-то невиданной быстротой, как ураган.

— Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее!

Цепь его мыслей, логически вытекающих и следующих одна за другой, захватывает аудиторию. Сталин ставит вопросы, которые волнуют, интересуют всех, и дает на них простые, четкие и глубокие по своему содержанию ответы. Он говорит об отживших, устаревших руководителях, которые боятся стахановских норм и не понимают, что наши рабочие выросли, и намечает ближайшие задачи стахановского движения.

Он говорит о том, что не только учить надо рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, но учиться у них.

— Что вы, члены настоящего совещания, кое-чему поучились здесь, на совещании, у руководителей нашего правительства, — этого я не стану отрицать, — оглядывая стахановцев произносит Сталин. — Но нельзя отрицать и того, что и мы, руководители правительства, многому поучились у вас, у стахановцев, у членов настоящего совещания. Так вот, — тепло, серьезно говорит он, — спасибо вам, товарищи, за учебу, большое спасибо!

Такой простой конец ошеломляет совещание. Люди вскакивают с мест и, не зная как лучше выразить свои чувства к великому вождю народа, снова бешено аплодируют ему, приветственными возгласами хотят передать ему частицу своих настроений, своего подъема. И как при появлении его на трибуне, так и сейчас стихийно возникает песня. Ее подхватывают, тысячи людей слитно, охваченные любовью и преданностью к Сталину, к партии, поют «Интернационал».

Первую минуту Нине казалось, что она одна поет, но, оглянувшись по сторонам, она увидела, что поет Макарова с лицом, порозовевшим от волнения, что поет дирек-

тор завода, что поет, чуть откинув назад голову, Стаханов и, взявшись за руки, поют Виноградовы Дуся и Маруся. И что-то кричит, сложив руки рупором, стройный, белокурый Рихард Борн, кировский токарь из Ленинграда. В эти минуты Нина почувствовала, что после сталинской речи у нее, как и у других, точно крылья за спиной расправились, она глубже осмыслила всю свою работу и ясней поняла: — Все то, что я сделала до сих пор,— это только начало больших дел. Я стала на первую ступеньку лестницы, и надо копить силы, волю, энергию, чтобы упорно взбираться вверх.

Сталин ушел в президиум к своим соратникам, которые встретили его овацией. Ворошилов что-то горячо стал говорить ему...

... Вечер. Медленно расходятся делегаты. Люди изредка переговариваются, больше молчат, — так велико впечатление от речи Сталина.

Стаханов молча шагает рядом с Петровым. Петров вспоминает августовскую ночь, когда они оба спустились в шахту, прошли до лавы Никанор-Восток. Никто не знал, что Стаханов будет ставить рекорд. Они договорились проделать это тихо, без шума. Стаханов снизу подрезал половину пласта, засек верхний куток и стал отбивать уголь. Всю ночь с ним проработал большевик Петров. Он светил ему шахтерской лампой, чтобы Алексею легче было рубить уголь.

Они тихо переговариваются, намечают, что им надо будет сделать в Донбассе, у себя в Ирмино, на шахте. И решают: в день приезда коротко рассказать о совещании на летучих митингах. О чем? О Москве, о Сталине. Собрать слет стахановцев. Повестка: Москва, Сталин. Собрать рабочих каждой квалификации отдельно: забойщиков, крепильщиков, коногонов, лесотонов. По-

вестка: Москва, Сталин, об удвоенной выработке угля. Собрать коммунистов, рассказать им: Москва, Сталин. Стаханову, Дюканову, Петрову пойти в поселок по квартирам: Москва, Сталин. Собрать молодежь: Москва, Сталин.

Стаханов смеется:

— Ого, это нам надолго хватит! Дал нам Сталин зарядку на долгие годы...

Нина сняла берет и шла молча, всматриваясь в холодное ноябрьское небо. На все вопросы Маруси Макаровой она отвечала коротко, тихо, словно боясь неосторожным словом сломать и нарушить ход своих мыслей и чувств...

Ф. Кандыба

Токари

На завод «Можерез» Андрей Иванович Елисеев пришел в 1935 году. Завод был тогда в прорыве — работа шла плохо, пролеты и целые цехи не могли справиться со своими заданиями. Было очевидным, что полугодовая программа выполнена не будет. И все же этот завод нравился Елисееву больше всех других, на которых пришлось ему поработать за десять лет, со времени переезда из деревни в Москву.

Правда, на всех предыдущих, за исключением последнего — завода имени Войтовича, — был он чернорабочим

и, по сути говоря, был не на заводах, а около них — таскал кирпичи, сгребал снег, переносил тяжести и думал о времени, когда он наконец сможет стать к станку в качестве квалифицированного рабочего.

При разгрузке платформы с бандажами один из них — тяжелый, восемнадцатипудовый — упал на ногу Елисееву и сломал кость. Когда Елисеев вышел из больницы, доктор признал его годным лишь на легкую работу, и его направили в механический цех учиться токарному ремеслу.

Этот невысокий, сухонький и упорный человек стал токарем — сначала молодым, но способным, а потом и хорошим настолько, что, когда на заводе имени Войтовича были установлены новые сложные немецкие станки Гегеншайдта, Елисеева решили поставить на один из них.

Может быть, именно потому, что сюда, на «Можерез», Елисеев пришел уже в качестве квалифицированного рабочего, хозяина производства, ему так и нравился этот завод, бывший еще в периоде освоения. Однако дело было конечно не только в этом. Нравился Елисееву завод потому, что он большой, новый и аккуратный и хорошо тут человеку работать.

Здесь все на месте. И новые хорошие станки в цехах, и гладкие асфальтовые аллеи, и яркие цветочные клумбы между заводскими корпусами. А между аллеями, цветочными клумбами и заводскими корпусами — железнодорожные пути и на них платформы с колесами, дышлами, цилиндрами и другими запасными частями, которые делает завод.

Елисеев чувствовал себя хорошо. Его не пугало даже то, что стоявшие в механическом цехе новенькие колес-

Андрей Иванович Елисеев

И. Т. П. Философия № БИБЛИОТЕКА
Государственная публичная БИБЛИОТЕКА 481164. Историческая

ные станки Гегеншайдта, на одном из которых работал он, считались чуть ли не самым узким местом на заводе и именно из-за этих станков частенько недовыполнялась программа выпуска колес.

Елисеев был спокоен. Со станком Гегеншайдта для обточки колес он достаточно помучился еще на заводе имени Войтовича, где стал токарем. Там Елисеев сначала даже испугался, когда увидел огромный этот станок с десятью моторами и четырьмя суппортами, с многочисленными резцами величиной от доброго лома до медного пятака.

Станок был импортный, немецкий, дорогой и очень мощный. Все это внушало почтительное удивление Елисееву. Действительно, было чему удивляться, — это говорили и старые токари. Станок снимал сразу стружку толщиной в сантиметр и работал быстро, придавая обычную форму железнодорожного колеса грубой и толстой металлической шине — бандажу, одетому на колесный центр. А какое сложное и одновременно простое управление было на этом автоматическом станке!

Несколько кнопок и рукояток заведывали всеми движениями станка. А работа токаря проста — знай приверни резцы, пускай станок и подводи эти резцы, как нужно. Однако за обточкой бандажей надо следить в оба — чуть что не так, неправильно рассчитано движение, и пропала для транспорта колесная пара — пошла в брак. Два раза прозеваешь, и остался без колес целый вагон! Брак допускать здесь было никак невозможно.

Не мало также удивило Елисеева, что на этом станке, как говорила норма, можно было выпускать до восьми колесных пар в день. А на ручных станках от силы можно было обточить одну-две пары. Правда, и на гегеншайдте даже учитель Елисеева, молодой черномазый то-

карь Михаил Кузнецов, обтачивал в то время лишь шесть-семь колесных пар.

Обучившись работе на гегеншайдте, Миша Кузнецов был чрезвычайно доволен собою. Ему явно льстило простодушное удивление Елисеева перед этим сложным станком и волшебником-человеком, умеющим на нем работать.

Обучение поначалу шло неплохо, хотя и заключалось главным образом в похвальбах Кузнецова перед Елисеевым.

— Это страшная машина, — говорил Миша, став перед станком. — Попади в середину — в котлеты размелет. А я с ней делаю, что захочу. Вот смотри — нажал кнопку, и суппорт пошел влево. А вот направо — видишь! Я все могу, я ученый.

Упоенный своим могуществом Кузнецов не раз при этом ломал резцы и детали станка, но все сваливал на ученика — дескать, учится человек, что вы с него возьмете! А Елисеев скоро привык к этим похвальбам и жалел, что Кузнецов не показывает ему станка последовательно, толково и методически.

Миша не делал этого — вероятно не умел. И Елисеев, не полагаясь на учителя, присматривался сам к станку и к работе Кузнецова, стараясь осмыслить все движения станка и работающего на нем человека. Присматривался до головной боли, до того, что начинало рябить в глазах от бесчисленных деталей. Станок ему нравился все больше и больше. Елисеев хотел поскорее к нему приспособиться, чувствуя, что здесь найдет себя.

Так оно и вышло. Действительно, здесь Елисеев нашел себя. Уже к концу месячного обучения он все реже смотрел, как работает учитель, зато Кузнецов все чаще искоса поглядывал на своего ученика, на неведомо откуда взяв-

шуюся осторожную ловкость, с которой тот обращался с гегеншайдтом. Елисеев работал все лучше и лучше, явно нагоняя своего учителя. Сваливать все поломки на Елисеева становилось затруднительным. Все видели, что работает он хоть и не быстро, но аккуратно, и со станком, внушившим ему также почтение, обращается бережно.

А потом начала приходить и быстрота. Кузнецов едва разговаривал с Елисеевым, делавшим уже столько, сколько и он. А когда Елисееву случилось впервые обточить восемь колесных пар, в то время как Кузнецов сделал семь, — учитель перестал даже смотреть на ученика и старался только обогнать его. Вот так они и тянулись, подгоняя один другого и выработку.

Норма в восемь колес оказалась не предельной. Вскоре Елисеев, а за ним и Кузнецов стали обтачивать по девять, а бывало и по десять колесных пар в день. Елисеев понял, в чем дело, узнав однажды, что за границей на этих станках обтачивают по двенадцать и четырнадцать пар, а норма восемь установлена, как объяснил один из инженеров, «ввиду новизны дела и нашей технической отсталости».

Мудрено ли после этого, что Елисеев не мог спокойно смотреть на гегеншайдты здесь, на «Можерезе», где они обтачивали за день всего пять-шесть колесных пар. Это зависело от того, что цеховое начальство, боясь быстрого износа станка, запрещало пользоваться всеми резцами и суппортами.

Вот почему Елисеев сейчас же поддержал токаря Иншакова, первым на заводе начавшего борьбу за высокую производительность труда. Эти два человека — Иншаков и Елисеев и явились инициаторами стахановского движения на «Можерезе».

Елисеев и Иншаков заявили начальнику колесного участка инженеру Доннеру и начальнику цеха инженеру Люберзону, что они берутся дать на гегеншайдтах вдвое больше колес, если им позволят пользоваться задними резцами. И Доннер и Люберзон в конце концов пообещали заказать дополнительные резцы и позволили пользоваться всеми механизмами станка, но от намерения токарей превзойти норму пришли в ужас.

— Что вы, что вы, товарищи! Разве же так можно, — ведь это техническая норма, установленная виднейшими авторитетами. Иначе мы рискуем станком. Наконец, заводу и не надо больше, чем восемь пар в смену, — это как раз по плану.

Инженеры апеллировали к авторитетам, забывая, что план первого полугодия далеко недовыполнен и даже по плану колес нужно гораздо больше.

Впрочем инженер Люберзон считался с Елисеевым и его сменщиками Иншаковым и Жихаревым как с хорошими токарями. Он обещал им всяческое содействие и даже, случалось, помогал, когда речь шла о норме. Когда же дело шло к перевыполнению нормы, Люберзон замолкал — это было выше его понимания. Так и делали прекрасные токари на прекрасном станке норму, рассчитанную на техническую отсталость. Редко-редко удавалось Елисееву, Иншакову и Жихареву обточить десять колесных пар в смену.

Они знали, что когда-то на «Можерез» приезжал немецкий монтер-наладчик, который своими резцами умел обточить до 12 колесных пар в смену. Но он не раскрыл своего секрета нашим токарям.

Огромное впечатление произвело на токарей «Можереза» сообщение, что токаря на других заводах тоже взялись как следует за колесные станки Гегеншайдта.

Например токарь Ванюхин на Перовском заводе не только обточил за смену двенадцать колесных пар, но и стал делать это систематически, закрепив полуторную против прежней норму.

Как раз в это приблизительно время по всей стране прошло эхо стахановского отбойного молотка, давшего невиданную в угольном деле норму, и лавиной стала расти популярность машиниста Кривоноса, научившегося делать чудеса со своим паровозом.

Иншаков съездил на Перовский завод и пообещал токарю Ванюхину, что будет обтачивать по четырнадцать-пятнадцать пар в день. Но покуда Иншаков подошел к этой норме, токарь Науменко на заводе имени Войтовича сделал на станке, на котором работал раньше Елисеев, уже шестнадцать, а телеграф принес известие из Ленинграда, что там на Октябрьском заводе имени Кагановича токарь Садунов обточил даже семнадцать пар в смену.

Инженер Люберзон был прямо ошеломлен своими токарями и слесарями, приходившими к нему с требованиями изменить технические процессы и по-иному организовать работу, чтобы можно было перевыполнять нормы в два-три раза. Люберзон не мог устоять перед этим напором. Он чувствовал, что произошло нечто очень важное, но в чем дело, — понять не мог. Он не высказывал уже так открыто своих сомнений и недоверия рабочим и даже говорил: «Да, да, конечно, разумеется», но все же плохо понимал их и не умел пойти им как следует навстречу.

А токари, раз и навсегда сломав святыню нормы, теперь не знали удержу. Они смотрели новыми глазами на свой мощный гегеншайдт и все прикидывали, как бы заставить эту машину работать еще быстрее, еще лучше. Совершенно очевидным было, что это возможно.

Они были охвачены упоительным чувством своей силы. Новые широкие горизонты были перед ними. Елисеев говорил, что наверное так чувствуют себя моряки в Арктике, когда выходят изо льдов в открытое море. Новый начальник цеха Архангельский, сменивший так и не научившегося помогать стахановцам Люберзона, рассказал Елисееву, что паспорт станков Гегеншайдта предусматривает обточку до пятнадцати колесных пар в смену, но, по его мнению, на станке можно дать еще больше, ибо конструкторы станка стахановского движения, пожалуй, учесть не успели.

Но самое главное было в том, что Елисеев, а с ним и его сменщики Иншаков и Жихарев как-то по-новому научились видеть и чувствовать время. До тех пор для них были привычными категориями сутки, час, полчаса, четверть часа. Когда они торопились на работу, появлялись минуты.

А теперь, когда токари внимательными глазами стали присматриваться к своему времени, оно растягивалось, как гармоника, оказывалось огромным, состоящим из минут и секунд, которых и не замечали раньше.

Токари обнаружили, что очень много вот этих самых минут и секунд пропадает совершенно напрасно или уходит на разные мелкие, второстепенные дела, всякого рода подготовку, уборку и прочее.

Оказалось, на то, чтобы поставить на станок колесную пару, а затем обточенную убрать ее оттуда, уходило от двух с половиной до пяти минут. При обточке двенадцати пар токари бесполезно тратили от получаса до часа только на эти перестановки. И вот, по настоянию Елисеева и его сменщиков, был изменен порядок работы. Колесные пары, ждущие обработки, стали укладывать не за пятнадцать — двадцать метров от станка, как это де-

лалось раньше, а рядом. Крановщиков приучили не терять даром ни секунды времени, а подавать колесные пары в тот самый момент, когда они нужны.

Дальше оказалось, что у прекрасных токарей, мастеров своего дела, не мало времени уходит на уборку стружек. И токари настояли, чтобы это делал подсобный рабочий, а они сами занимались в это время обточкой следующей колесной пары.

Для того чтобы заменить сработавшиеся резцы, токари должны были оставлять свой станок и итти в кладовую механического цеха. А в механическом цехе работает больше тысячи человек, кладовая в нем одна, и, чтобы получить там резцы, нужно простоять в очереди минут десять, а то и больше. Резцы же приходится менять пять-шесть раз в день. Значит еще час пропадает. Елисеев опять отправился к Архангельскому и предложил устроить так, чтобы не токарь, а к токарю ходили с резцами. Архангельский конечно согласился, и теперь специальный человек из кладовой приносит новые и забирает сработанные резцы токарей у гегеншайдта.

Таких вот неполадок, казалось бы, мелких и незначительных в отдельности, было великое множество, и в общей сумме они отнимали у токарей чуть ли не половину рабочего времени. Теперь каждый день приносил новые победы над этими мелочами, и побежденные мелочи оборачивались новыми обточенными колесными парами.

Но задерживаться на достигнутом не приходилось. И если у Елисеева и его сменщиков не было охоты отставать, надо было еще сильнее наседать на мелочи, засоряющие рабочее время. И мелочи одна за другой уходили с дороги. 16 октября Иншаков почувствовал, что они значили, обточив за смену двадцать три колесных

пары. Еще через три дня, наконец, настал праздник и для Елисеева, который, медленно, но верно ускоряя темпы работы, обточил за одну смену двадцать четыре колесных пары.

Это был непревзойденный рекорд.

Но он не остался только рекордом. Елисеев и его сменщики теперь изо дня в день обтачивали ровно вдвое больше колес, чем раньше, выпуская в смену по шестнадцать-семнадцать пар.

Самое интересное было в том, что токари с гегеншайдта, об успехах которых знал весь завод, были вовсе не одиноки. Их работа была только наиболее ярким, наиболее наглядным проявлением стахановского движения на заводе. Вслед за ними тянулись другие токари, слесари, кузнецы, сталевары. Не было, кажется, такой специальности среди четырнадцати тысяч рабочих «Можереза», которая не дала бы своих стахановцев, ломающих старые и устанавливающих новые нормы.

Во всех цехах завода развернулась борьба за выполнения требования любимого наркома Лазаря Моисеевича Кагановича ликвидировать задолжность завода транспорту по запасным частям.

В октябре оказалось, что недовыполнение плана за первое полугодие давно покрыто и теперь завод изрядно перевыполняет свои программы, а самое большое превышение заданий получается как раз по колесам, тем самым, которых больше всего нехватало раньше. Конечно, Елисеев и его сменщики вряд ли рассчитывали на такие результаты, когда брались за свой станок Гегеншайдта и за свое рабочее время, но, разумеется, в том, что произошло на заводе, их доля была немалой.

Когда началось всесоюзное совещание стахановцев, Елисеев и Иншаков поехали в Кремль вместе с началь-

ником завода Ерофеевым и столкнулись там с другими рабочими, которые делали у себя на предприятиях то же, что эти токари на «Можерезе». Начальник завода говорил на совещании о своих токарях-стахановцах, и зал аплодировал ему и им, потянувшим за собою весь завод вслед за Стахановым и Кривоносом.

Начальник рассказал также, что раньше, когда на гегеншайдтах выпускали по семь-восемь колесных пар в смену, заводу приходилось трудно, и он настаивал на том, чтобы купили за границей и поставили еще хотя бы один такой станок, а теперь, благодаря Елисееву и его сменщикам, завод берется выполнить увеличенную программу 1936 года на наличных станках, а от добавочного отказывается.

Потом Елисеев с Иншаковым вместо со всем совещанием слушали Сталина, а еще через два дня на заводе «Можерез» было устроено соревнование токарей-стахановцев, работающих на гегеншайдтах.

На Крюковском вагонном заводе токарь Будный обтачивал за смену восемнадцать колесных пар и его называли лучшим полускатчиком Советского союза. Елисеев делал двадцать четыре за смену, но успехи обоих токарей сравнивать было трудно. Будный работал на советских бандажах, а Елисеев — на немецких, где металла надо было снимать несколько меньше. Вопрос о том, кто из них работает лучше, чьи приемы правильнее, целесообразное, могло решить только личное соревнование.

Будный приехал на завод «Можерез» вместе со своим начальником смены инженером Заболотным. Завод приветливо встретил знатных гостей. Елисеев, Будный, Иншаков и Жихарев держались вместе, рассказывая друг другу о своей работе. Токари «Можереза» были особенно внимательны к своему гостю. Они хотели, чтобы он по-

казал им все, что умеет выжать из гегеншайдта. Будный хотел того же, стараясь пока что получше освоиться в новой обстановке.

Решено было всем работать на одинаковых немецких полускатах, на одном и том же станке по очереди.

Первым начал Иншаков. Он был несколько взволнован непривычной обстановкой — четырьмя хронометражистами, представителями Главвагонпрома и Наркомпути и многочисленными зрителями, собравшимися в цехе. Он нервничал, и работа у него не клеилась, — за смену он сделал лишь двадцать две колесных пары.

Следующий, Жихарев, работал спокойнее и обошел Иншакова, но не намного. Он обточил двадцать четыре полуската, оставаясь на уровне прежних рекордов.

Последним от «Можереза» работал Елисеев. Ничем не выдавая своего волнения, ровно и спокойно взялся он за суппорты, и стружка посыпалась из-под резцов. Каждые пятнадцать минут крановщица забирала блестящую обточенную колесную пару, ставила новую на ее место, и резцы опять впивались в черную поверхность бандажей, быстро принимавших форму ободьев.

Будный внимательно смотрел на работу Елисеева и думал, что такого мастера перегнать не легко, что действительно трудно сказать, кто из них возьмет первенство. Впрочем у Будного был козырь, на который он немало надеялся. Это были победитовые резцы, которые он привез с собою. Елисеев же работал на резцах из быстрорежущей стали, которые не выдерживают таких скоростей, как победитовые.

Впрочем и Елисеев работал достаточно быстро. К концу смены он дал двадцать шесть колесных пар, установив под общие аплодисменты новый мировой рекорд.

Настала очередь последнего из соревнующихся — Александра Андреевича Будного. Ему было труднее всех. Ведь он был на новом заводе, в непривычной обстановке, и только гегеншайдт был такой же самый, как тот, на котором он работал в Крюкове. Но Будный надеялся на себя и на станок больше, чем на условия. Уверенными, четкими движениями он включил станок и взялся за работу. Уже после первого оборота полуската кругом раздался тихий гомон удивленных голосов.

Будный сразу снимал одну толстую стружку вместо двух тонких, которые снимали предыдущие токари. Это был способ Будного, и это была техническая новинка. Победитовые резцы, верная рука и зоркий глаз позволяли ограничиться вдвое меньшим количеством оборотов полуската. Это сокращало время обработки.

Будный двигался с ритмической четкостью, будто под музыку. Каждое движение было точно рассчитано. Каждые тринадцать — четырнадцать минут крановщица Шуркина снимала готовый полускат и ставила новый. Это был действительно высокий класс работы, и у Будного были все основания претендовать на звание лучшего полускатчика Советского союза. За семь часов своей смены Будный обточил двадцать девять полускатов.

Когда был готов последний, двадцать девятый полускат, кончилась смена. Елисеев, вскочив на станок, горячо пожал руку своему победителю, поздравляя его и советский транспорт с новым большим достижением, с добавочными сотнями и тысячами колес, которые породит этот рекорд. А Будный подарил Елисееву свои победитовые резцы и пожелал еще больших успехов.

Это пожелание оправдалось на следующий же день. Елисеев, не считавший себя побежденным, потому что его работа по качеству была выше, чем у Будного, взял

победитовые резцы и, использовав все, чему научил его Будный, обточил в следующую смену уже тридцать полускатов — вдвое больше предельной немецкой нормы и почти в четыре раза больше того, что давали раньше на этом же станке наши лучшие токари. Для всех ясно было, что победителем в конце концов остался Елисеев и ему заслуженно принадлежит почетное звание лучшего полускатчика Советского союза.

Еще через несколько дней Елисеева экстренно вызвали ночью в редакцию «Гудка» и сообщили ему, что среди награжденных орденом Трудового красного знамени стахановцев есть и он, Андрей Иванович Елисеев, двадцати семи лет, токарь механического цеха завода «Можерез».

В. Гроссман

Товарищ Королев

I

Статья должна была называться «Волчица в овечьей шкуре». Писалась статья на столе с выжженными черными кругами, следами раскаленных сковородок и чугунных горшков.

Речь в статье шла о дочери покойного попа, волчице в овечьей шкуре. Статья была очень хорошая, во всяком случае автору она нравилась, и, ероша свои белые волосы, он читал написанное вслух, картинно поднимая руку

и подражая изысканному голосу учительницы Александры Александровны. Не тому, которым она ругала за невыученную географию, а переливчатому, то высокому, то рыдающему, которым она читала стихи «Арина, мать солдатская».

Автор не заметил, что отец, подняв голову, слушает его декламацию, не заметил, как отец положил сапог, молоток, снял пальцем с губы деревянные сапожные гвозди и аккуратно вложил их в порыжевшую коробочку от ваксы. Автор с увлечением перечитывал статью про волчицу в овечьей шкуре, и, когда отец сразмаху ударил его по шее, он сперва успел удивиться и лишь потом свалился с табурета на пол. Он лежал, ощущая спиной и затылком приятный холод пола, перед глазами его плясали сиреневые круги, а над ним стоял отец и, посылая его живот клочками порванной статьи, говорил сдавленным голосом:

— Сукин сын, я из-за тебя гореть буду, ты что это напаскудил? Знаешь, какое время, сожгут нас, кто нам избу поставит—комсомолы твои, что ли?

И так как сын не отвечал, построят ли избу комсомольцы, отец вдруг испугался и, нагнувшись, тихо спросил:

— Федь, ты что молчишь, а Федь?

Потом отец, посапывая и тяжело дыша, уменьшил без того хилое пламя в лампе и снова сел на свой ящик, начал негромко стучать молотком по старой подошве.

Федька Королев вышел на улицу. Голова после отцовского удара кружилась, в ней все вертелось как-то странно, бесшумно. Так, вихляя, зачем-то вертится колесо опрокинувшейся на полном ходу телеги. При мысли о погибшей статье хотелось плакать. Было совсем тихо. Федька прислушался. Громада белых полей молчала. Казалось, что весь мир молчит, покрытый тусклым снегом.

Федор Иванович Королев

Казалось, что над всем миром нависла серая густая пелена зимних облаков. Откуда-то издали донесся едва слышный протяжный крик. Может быть это выл волк, вышедший на опушку леса? Наверное сотни лет назад волк так же выл, подходя ночью к деревне, в которой жили предки Федьки Королева.

— Гудит, — негромко сказал Федька, приложив к затылку почти невесомую пригорошню рассыпчатой снежной крупы.

— Гудит, — повторил он и рассмеялся, повел шеей.

Гудел завод. Его голос был совсем слаб, но его слышали деревья в лесу, он повис над мертвыми зимними полями, он донесся до деревни — его слышал Федька Королев, его услышала и худая, плоская, как доска, собака. Подняв ухо, она брехнула для порядка и устало шевельнула кончиком хвоста.

Федька Королев знал этот голос. Летом деревенские комсомольцы ходили на субботник, очищать заводский двор от мусора. Федька Королев, окончив работу на дворе, зашел в цех — станки, колеса, колесики, цилиндры, поршни, рычаги, приводы... За всю свою жизнь он не видел столько металла.

— Пантюха, берегись! — крикнул парень в кожаном фартуке, едва не сбив его с ног.

Он отскочил, давая дорогу грохочущей тележке на маленьких железных колесиках. Кто-то ударил его по спине, сердитый голос сказал: «Дура, куда жмешься, искалечит!» — и краснотлазый старик показал ему на скрежещущую штучку, прытавшую из-под железного заграждения. Она бесновалась, как собака в подворотне, которую задразнили до умопомрачения кнутовищем. Федька Королев бродил по цеху, являя своим видом испут и растерянность. Потом он заблудился. Этот в сущности не-

большой завод сельскохозяйственных машин казался ему громадным лабиринтом. Три раза он шел по разным пролетам и возвращался к станку, у которого стояла девушка с перевязанной белым платком щекой. Он стеснялся спросить, как выйти из цеха, он вообще был очень застенчив, этот автор статьи про волчицу в овечьей шкуре.

После посещения завода Федька Королев очумел. Ночью ему снилось грохотанье молотов в кузнице, он видел темновишневые полосы мягкого металла, послушного ловким человеческим рукам. Три раза, превозмогая робость, он ходил в заводскую контору проситься на работу. Но почему-то его не взяли, не помог свояк матери, бывший на заводе большим начальством — «помощником пожарной охраны», не помогло ходатайство сельской ячейки комсомола.

— Хоть в сторожа! — просил Королев.

И вот, выйдя зимним вечером на улицу, раздосадованный до слез автор погибшей статьи вдруг услышал доносившийся через снежное поле далекий голос нового завода. И с неожиданной простотой, прикладывая снег к болевшему затылку, Федька Королев тут же решил ехать в Москву.

II

Королев приехал в Москву и поселился у тетки в Замоскворечье. Вначале он очень боялся автомобилей, и прохожие улыбались, глядя, как Королев, точно заяц по глубокому снегу, бежал зигзагами по асфальту Серпуховской площади.

— Стой, куда ты, задавит! — орали мальчишки.

Была весна, новые заводы росли как из-под земли, старые коробки становились для них тесны, они задыха-

лись, выпирали в новые корпуса. Металл, стекло, трубы, высокие стены заводских корпусов поднимались, двигались, как живые, вытесняя деревянные домишки, рвали паутину переулочков московских предместий.

Артель строителей, в которую попал Королев, работала на многих московских заводах. Королев часто проходил мимо окон цехов. Иногда он заглядывал в открытые двери, и в лицо ему ударял теплый пропахший маслом ветерок, и он слушал скрежет и воркованье металла. Да, все признаки любви были налицо, и первым из них был тот, что Королев совершенно не знал, почему и для чего он так упорно и страстно хотел работать на заводе.

Наконец дела пошли в гору — его взяли рабочим на склад автомобильного завода имени Сталина. Там он себя чувствовал, как человек, впервые попавший в театр и напряженно глядящий на спущенный занавес. Стены склада дрожали, пол гудел. Инструменты в ящиках позванивали. Мимо склада по гладкому асфальту, вопя, катили новорожденные грузовики. Он потел от волнения, глядя на все эти чудеса.

И, наконец, занавес поднялся. По разверстке комсомольской ячейки он пошел учиться в школу фабзавуча. Оттуда токарь по металлу Королев был направлен в механо-сборочный цех, центральный цех громадного завода. Все сразу же пошло хорошо.

Но вот прямо-таки неважная жизнь сложилась у него дома. Тетка Королева была шумная, веселая женщина, любившая громко, во весь голос ругаться по случаю квартирных неурядиц, причем ругалась она так ловко, что зрители хохотали и от удовольствия хлопали себя по бокам. Первый муж ее умер, оставив двоих детей, и она не хотела, чтобы дети жили сиротами. Да и самой ей в тридцать лет не хотелось жить сиротой. Она вышла за-

муж, но утешитель ее сиротства оказался пьяницей, и после нескольких сражений тетка прогнала его. Четыре раза она выходила замуж, четыре круга теткиной любви прошли перед Королевым. Металлист, деревообделочник, обойщик были приняты, возвеличены, а затем изгнаны с жилой площади, как неполноценные мужья и отцы. Зори теткиной любви, разгары ее и особенно финалы сопровождались большим шумом. Вот этот шум особенно и мучил Королева. Ему очень нравились книги. По вечерам не хотелось ходить в гости, он даже не любил ходить в клуб. А читать дома после работы было весьма трудно.

III

Это был американский станок, изумительный по многообразию функций, сложный револьверный станок, сверливший и растачивавший с высокой точностью ведущий вал коробки скоростей.

Королев казался еще более узкоплечим в своем коричневом халатике, забрызганном эмульсией, возле этого чудища, издававшего десятки разнообразных звуков, производившего сотни молниеносно быстрых, сказочно точных, сопряженных между собой движений. Шестьдесят пять раз за смену Королев закладывал в челюсти станка необработанный ведущий вал, шестьдесят пять раз сталь, точно ожившая, начинала выть, корчащиеся стружки расползались в молочной эмульсии, хлеставшей на вскрытые резцами белые слои металла. За пять дней Королев постиг свои обязанности у этого станка, созданного американской техникой, измерил место, отведенное ему в этом гигантском сплетении производственных ручейков, стремительно бежавших из тысяч пролетов, отделений, цехов

к спокойной, плавной реке большого конвейера. И казалось, Королев остался в дураках. Право же, для этого не стоило, поругавшись с отцом, бросать деревню, жить на вулканической теткиной площади. Не стоило так жадно прислушиваться к голосу завода, звавшего его в тот зимний вечер. Для чего так сильно забилось сердце, когда он в первый раз подошел к станку и дрожащей от волнения рукой поднял с пола колючий, необточенный ведущий вал? Белоглазый, беловолосый мастер как-то сказал ему:

— Скучная работа у нас, Королев. — Разве этот чорт позволит тебе чего... Все сам соображает, все сам...

Так Королев проработал три года. Летом он ездил в деревню, еще с зимы он мечтал об этих поездках. Очень приятны были сборы, езда в поезде... Он сходил на маленькой станции, ухмылялся, глядел на корпуса завода сельскохозяйственных машин. Как это он ухитрился заблудиться в цехе этого крошечного заводишка? Потом он шел, размахивая фибровым, городским чемоданом, вскидывая сползавшее с плеча охотничье ружье. Дорога шла по лесу. Он снимал кепку, и легкий ветер шевелил его волосы. Воздух в лесу был необычайно вкусный. По пути он садился отдыхать. Какая тишина стояла кругом! Эта тишина поражала его. Ночью ли выйдет он из дома, остановится ли, задрав к небу голову, во время прогулки с ружьем, сидит ли вечером с удочкой над рекой,—тишина была над миром. Теперь она уже не давила Королева. Ведь в цехе стояли сотни станков, и каждый из них за день производил шума, визга и лязга больше, чем вся деревня, лес и речка могли нашуметь в течение года.

Он уже был московским рабочим и, хотя любил природу трогательной и сильной любовью, в своей деревне чувствовал себя гостем. И к нему относились, как к важ-

ному гостю. И отец был доволен и гордился им. Ведь это он, Федька, снисходительно усмехнувшись, сказал:

— Пусти-ка, товарищ механик, меня! — и, оттеснив растерянного и потного тракториста, за десять минут наладил испортившийся было колхозный трактор.

Пожив две недели дома, Королев уезжал в Москву.

Он снова шел в цех, здоровался с товарищами, рассказывал про отпуск, привирая о своих охотничьих успехах, а ему рассказывали цеховые новости, про то, что начальником коробки скоростей назначен Баранов, бывший раньше в цехе моторов, что план выполнили бы на сто процентов, но шлифовка опять зарезала, что кузница попрежнему тормозит. Все это интересовало и волновало его настолько, что он через несколько минут забывал, как шумят деревья в лесу и как под вечер плещет играющая рыба. И снова начиналась московская жизнь и работа на громадном и сложном американском станке. Иногда к нему подходил мастер, останавливался на минутку поговорить, ему нравился худенький, серьезный парнишка, работавший без брака. И, глядя на него, мастер вздыхал. «Нет хода, — думал он, — этому парню, а какой бы из него получился токарь!»

Мастер не подозревал о том быстром и чудесном движении, которое совершал этот парень и тысячи других парней и девушек, работавших на американских станках.

Да, это движение совершалось незаметно, настолько оно было постоянно, плавно и широко. И сам Королев не замечал этого изумительного движения. После работы он ходил по цехам, слушал лекции, задавал десятки вопросов инженерам, лекторам. Он хорошо знал, как работают мощные молоты кузнечного цеха, знал работу литейной ковкого чугуна, малого конвейера, собиравшего

мотор, цеха шасси. Он свободно ходил по огромным цехам завода. На производственных совещаниях он большей частью говорил о работе своего станка, реже о работе бригады, но однажды он выступил с критикой по общецеховому вопросу. И бывший на совещании начальник цеха незаметно вытащил из кармана книжечку и что-то записал, бормоча:

— Ах ты, прямо скандал, как я не сообразил.

По выходным дням он ходил в музеи. Сперва его восхищали громадные залы, начищенные паркетные полы, колонны. Ему нравилось, что публика говорит шопотом, на каждом шагу: «простите, пожалуйста». Но затем он перестал рассматривать кресла, в которых нельзя сидеть. В Третьяковку он ходил трижды, подолгу останавливаясь возле картины «Утро стрелецкой казни». Она ему почему-то понравилась больше других. Но гораздо больше картинных галлерей его привлекал Исторический музей на Красной площади. Здесь, слушая экскурсовода, он задавал вопросы деловито, совсем как на заводе, и вопросы были трудные. Королев видел, что экскурсовод, отвечая, начинал вдруг жестикулировать, повышал голос, смеялся и хлопал Королева по плечу. Это было чрезвычайно интересно — переходя из зала в зал, следить за изменением орудий человеческого труда и войны, от камня к славному металлу наших дней. Как делались в то далекое время бронзовые сплавы? Каким образом выплавлялся металл из руды? На чем шлифовались инструменты? Экскурсовод, как говорится, парился,— он ведь знал предмет не с точки зрения древней металлургии и технологии...

Ну, и, наконец, он много читал, товарищ Королев. Начал он с «Тихого Дона», а потом прочел столь-

ко книг, что библиотекарше пришлось к его карточке подклеить лист бумаги — карточка вся была исписана. Он читал Гоголя, Чехова и про то, как устроен двигатель внутреннего сгорания. Он прочел немало книг по вопросам политики и экономики, ведь он регулярно посещал кружки по изучению ленинизма и текущей политики.

Да, в жизни происходили замечательные вещи, но движение ее было так широко и всеобъемлюще, что никому не приходило в голову удивляться, что Королев и тысячи таких, как он, ходили в Художественный театр, посещали музеи, слушали лекции, читали Толстого, изучали английский язык, знали в мелочах и деталях работу своего громадного завода, выступая на собраниях, сыпали цифрами заводских отчетов, говорили о планах и о динамике расширения новых цехов.

А мастер, проходя по пролету, останавливался и вздыхал. Он жалел способного парнишку, который, казалось ему, застыл на скучной работе у американского станка, такого совершенного и сложного, что рабочий, простояв у него двадцать лет, так и не поймет его устройства и будет изо дня в день повторять обидные по своей простоте и несложности движения.

IV

Королев прочитал телеграмму про рекорд Стаханова и не обратил на нее особенного внимания. Он не ясно представлял себе, что такое лава и что собственно сделал Стаханов. Забой, отбойный молоток, подготовительные работы, какие-то кутки, уступы...

Во время обеденного перерыва кто-то, читая газету за

соседним столом, прочел телеграмму вслух и сказал соседу:

— Ловко наковырял угля!

Вечером, придя домой, Королев читал вслух газету. Он снова прочел телеграмму, но опять она не произвела на него впечатления.

— Знаю, — сказал теткин муж, — я ихнюю механику знаю, меня, брат, не проведешь.

А тетка попросила прочесть происшествия.

На следующий день была еще телеграмма из Донбасса, уже про другого забойщика, потом про третьего. Все начали следить за этими телеграммами. В столовой парень из цеха шасси поспорил с контрольным мастером с рольгангов, на которых собирали моторы.

— Стаханов их перекроет, — говорил парень из цеха шасси.

А контрольный мастер уверял, что Стаханову выше не подняться.

Потом вдруг появились телеграммы про ткачиху Дусю Виноградову и про ленинградского рабочего с обувной фабрики Сметанина. Состоялось собрание комсомольцев. Очень интересно говорил худенький Лозовский, секретарь комитета. На следующий день было общее собрание, и секретарь парткома Тихонов сказал замечательную речь. Он был сильно воодушевлен, не улыбался, как обычно, и, когда говорил, размахивал рукой, стучал кулаком.

— Артюхов, Виноградова, Сметанин... — говорил Тихонов.—Работать по-стахановски... стахановцы...—сказал он.

На этом собрании Королев понял суть нового движения. Открытие это привело к тому, что по дороге домой он сел вместо нужного ему сорок второго на трамвай номер сорок первый. Дома все спали, когда он пришел.

Королев быстро разделся и лег в постель. Уснуть он не мог. Перед его глазами стоял американский станок. Он думал о нем без всякого почтения. Мысленно, так же уверенно, как во время работы, он щупал направляющую скалку, менял положение резцов, увеличивал скорость резанья. Ему казалось, что он слышит тонкий, яростный вой победитовых резцов по металлу. Удивительно ясно он представил себе весь ход станка, он чувствовал и видел непонятные ему мелочи, мешавшие в работе. Он замечал их давно. Несколько месяцев назад он сказал о них мастеру. Тот посмотрел на Королева, потом на металлического американца:

— Брось, Королев, — сказал он, — тут не такие головы, как твоя, думали, лучше не суйся!

Но сейчас Королев думал об американском станке без всякого почтения. Внезапно он приподнялся и посмотрел на темные стекла. У него даже грудь вспотела от волнения. Ведь ее можно укоротить—эту направляющую скалку. На восемьдесят, на сто миллиметров!

Он не мог дождаться утра, кряхтел, вставал, подходил к окну, всматривался в пустую, освещенную электричеством улицу. Какие длинные ночи в конце октября! Казалось, эта ночь никогда не кончится.

Но вот прогрохотал трамвай, тотчас за ним второй и третий. Дом проснулся. В коридоре кто-то застучал. Потом он услышал, как загудел на кухне примус. Стукнула еще одна дверь, и на кухне послышались женские голоса. Это старуха Андреевна грела чай для Ивана Николаевича. Он работал на станции Сортировочная и выходил из дома раньше всех — без четверти в шесть. Королеву казалось, что если он будет долго ждать, то ничего не получится из придуманного ночью. Он ушел из дому на сорок минут раньше обычного и поехал на завод. Вол-

нуясь, он подошел к станку и, хотя решил пока никому ни о чем не говорить, тут же рассказал ребятам, что объявляет себя стахановцем. В обеденный перерыв Королев пошел в контору.

Технолог выслушал Королева и зевая сказал:

— Пойдем посмотрим.

Когда Королев, стоя подле американца, начал, заикаясь от волнения, объяснять свою мысль, технолог вдруг оживился, издал горлом какой-то смешной, гусиный звук и потер руки.

— Сделаем, — весело сказал он, — ей богу сделаем, — и хлопнул помертвевшего от радости Королева по спине.

И они обрезали направляющую скалку на целых сто двадцать миллиметров. Наверное двадцать человек присутствовали при этой операции. Сталь была так тверда, что мастера запарились, пока довели дело до конца. Сталь негодующе выла. Казалось, что американский станок отчаянным голосом орал, возмущаясь насилием.

Получилось даже как-то смешно, такая трудная часть работы сократилась. Нужно было на сто двадцать миллиметров меньше двигать рукой тяжелые резцы, а производительность вдруг прыгнула вверх процентов на тридцать—сорок.

Этот первый успех ошеломил Королева. Дело тут было даже не в тех лишних двадцати валах, которые начал давать станок. Этой ночью, прислушиваясь к тому, как тетка шлепала во сне губами, и напряженно думая, он ворвался в чудесную область творческой мысли, участвовал в утверждении новых законов труда. Он ощутил всем существом своим, тревожно и радостно сжимавшимся сердцем величие нового движения.

Он пережил бессонную ночь, ночь творческих мыслей и сомнений, а такие ночи — самые прекрасные из всех

бессонных человеческих ночей. Он вместе с сотнями и тысячами людей, делавших сталь, ситец, башмаки, завоевал радости и муки творческой мысли и работы, бывшие уделом маленькой горсточки избранных — ученых, художников, смелых строителей. Он не знал, что, может быть, в Историческом музее через сто лет люди будут останавливаться перед стальным отрезком направляющей скалки американского станка, укороченной советским рабочим на сто двадцать миллиметров, и внимательно слушать экскурсовода, говорящего о начале грандиозной эпохи слияния физического и умственного труда.

V

Да, этот первый успех ошеломил его. Королев вдруг начинал беспричинно смеяться, глядя, как по-новому заработал американец. В течение месяца, по мысли Королева, американцу сделали еще несколько операций. Два резца были скомбинированы вместе, скорость резания увеличилась почти на шесть метров в минуту (победоносный ход! — сказал технолог). Ну, и конечно возле станка появился голубой нарядный шкафчик, в котором лежал полный набор инструментов. Все это несказанно веселило и радовало, толкало мысль все вперед и дальше. Он думал во время обеденного перерыва, он думал в трамвае, а ночью, перед тем, как уснуть, долго лежал, шевеля губами и морща лоб. На пустяковую мысль, приходившую в голову в таком легкомысленном месте, как каток или бассейн для плаванья, станок отвечал лишними пятью-шестью валами.

— Клаша, — ухмыляясь сказал Королев девушке, работавшей на соседнем станке,— зачем на пол их ставить, ты их прямо на шкапчик...

И когда Клаша начала ставить ведущие валы на голубой шкапчик, Королеву не пришлось нагибаться сто раз за смену, спина совсем не уставала. Станок на такую пустяковину ответил целым десятком ведущих валов. Королев задумал одно очень большое и сложное изменение, и когда рассказал о нем технологу, тот сперва замахал руками, а через два дня пришел с чертежником и сказал, что Королев прав, это коренным образом изменит работу. И лицо у технолога было немного обиженное, он не мог понять, как Королев додумался до такой штуки. Работа эта была большая и настолько серьезная, что нужно было писать докладную записку, прилагать чертежи, делать заказы в отделе главного механика. И тут Королеву жадно захотелось учиться, чтобы победить бесчисленные овраги и провалы, мешавшие ему. Ему понадобились сразу десятки вещей, о которых он раньше и не думал: знанье твердости сплавов, предельных нагрузок, уменье чертить, разбираться в справочниках по обработке металлов.

А в общем — все шло хорошо. Он написал подробное письмо отцу, где описывал свои успехи, разговор с директором Лихачевым, и старик, читая, всхлипывал и, забыв, как ругал сына, когда тот уезжал в Москву, сказал жене:

— Вот куда наш Федя залетел, я ему тогда сразу сказал: «Езжай, сынок, в Москву, не сиди дома».

Королева поздравляли, он радовался совсем по-ребячьи своему успеху. А мастер, обычно ласковый и разговорчивый, по совершенно непонятной причине обиделся на него и однажды, посмотрев на дощечку, висевшую над станком, — в этот день на ней было написано «210%», — сказал сердитым голосом:

— Не ты, брат, стахановец, а станок твой стахановец!

И Королев, считавший раньше мастера самым великим мудрецом на заводе, усмехнулся и снисходительно ответил:

— Техника без людей — это мертвое дело, товарищ. Знаешь, кто это сказал?

Королев купил техническую библиотечку, решил по-настоящему взяться за науку. Каждый день его жизни был теперь каким-то необычайным, и ему казалось, что в Москве весна, что небо над крышами легкое, ясное, и он не замечал зимних туч, бывших такими же тяжелыми и неподвижными, как в тот далекий вечер, когда, оплакивая погибшую статью, он вышел из избы и услышал слабый голос заводского гудка.

М. Дальцева

Правильная походка

На улице еще темно, снег кажется густо-синим, и прохожие идут утренней, деловой походкой. Шура почти бежит. Скользко. Она спотыкается, наталкивается на встречных, но, не оглядываясь, идет дальше.

Она входит в парикмахерскую. Деловито гудят электрические сушилки, без умолку тараторят женщины.

Парикмахер со строгим лицом, не глядя, спрашивает:

— Три волны? — и над головой зловеще лязгают щипцы.

Шура видит в зеркале его руки. Он работает плавно и точно, как жонглер, не делая ни одного лишнего движения, с предельной добросовестностью выгоняя норму — три головы в час.

Шура задумывается. Всюду одно и то же. Нет мелочей, нет неинтересных профессий — все важно. Она улыбается парикмахеру в зеркало. Он не понимает, интимно наклоняется, спрашивает:

— Может быть, выстрижем чолочку?

Она машет рукой. Не надо! Лишь бы поскорей.

В восемь часов утра к ней приехал секретарь парткома и сказал, что через час ее повезут в Кремль, что она увидит всех вождей.

Шура закрывает глаза. Кажется, сейчас, в первый раз за последние месяцы, можно подумать о себе. Что она сделала? Почему на фабрике по всем цехам, по всем углам только и слышно:

— Шура Дианова... Шура Дианова...

Вспоминается детство. В восемнадцатом году после смерти отца, железнодорожного рабочего, она поехала с матерью в Самарскую деревню менять последнее барахло на хлеб. Рябая баба с годовалым мальчонкой сказала матери:

— Оставь девчонку, за дитем походит.

И Шура осталась. Началась тяжкая, непривычная, крестьянская работа. Одиннадцатилетняя Шура и сажала, и полола, и ребенка нянчила. Мальчишка был плаксивый, ни на минуту не хотел оставаться один. Даже нельзя было пойти с девчатами на речку выкупаться.

Деревню брали то белые, то красные. Каждый раз перестрелка. Однажды спалили несколько изб. Шура отсиживалась в амбаре и плакала, что она не увидит ма-

Александра Максимовна Дианова

тери, а мать не увидит ее новых лаптей. За год работы ей сплели лапти.

Из немецкого плена вернулся хозяин, и Шуру решили отправить домой. На дорогу дали тридцать фунтов пшена, каравай хлеба и тогдашними деньгами четырнадцать тысяч рублей на билет.

Была мечта — не покупать билета и привезти деньги матери. Когда в поезде проверяли билеты, притворялась спящей. Кондуктора жалели будить девчонку, и она доехала домой без билета. От станции нужно было итти семь верст, и когда Шура постучала в дверь, была уже ночь. После слез и расспросов мать показала хлеб, который они ели. Сейчас при одном воспоминании об этой минуте у Шуры подступили к горлу слезы. Как люди жили!.. Меньше всего в хлебе было муки.

На другое утро мать пошла работать на торф и велела Шуре отдыхать. Но бабка сказала:

— Не маленькая. Нечего хлеб даром есть.

Это были очень обидные слова. Шуре было двенадцать лет, и она не хотела есть хлеб даром. Она побежала за матерью, проработала целый день по колена в воде, к вечеру свалилась и проболела две недели. Когда выздоровела, поняла — в деревне не проживешь. Одна мать не прокормит, а самой не под силу итти в батрачки.

Шел девятнадцатый год. В Москве не было ни работы, ни родных. Случайные знакомые пустили семью жить в чулан. В первый же день Шура выпросила у соседки с табачной фабрики сотню папирос и пошла их продавать. К вечеру купила хлеба матери и младшей сестре.

С этого дня Шура сделалась единственной опорой семьи. Мать болела, не могла работать. Шура бралась за все. Она счищала снег с железнодорожных путей, копала картошку, разбирала кирпичи. Дома было тяжело. Мать

стонала, охала, ждала конца проклятой жизни. Шура не задумывалась еще над жизнью. Она знала — надо работать, а дальше будет видно. Была одна мечта — поступить на фабрику и одна забота — сберечь башмаки. Летом она ходила босиком.

Самым страшным разочарованием было, когда с биржи послали подростков на кондитерскую фабрику. Шура встала на рассвете, надела башмаки, хотя было еще тепло, и помчалась. Оказалось, что фабрику ломают и подростков послали разбирать кирпичи. А дома она уже похвасталась матери, что будет работать на настоящей фабрике. Не хотелось говорить, что работа временная. Опять начнутся слезы и вздохи.

По вечерам из соседнего дома приходил парень играть на гармошке. Во дворе росли два тополя. Шура выходила на крылечко и слушала модную тогда песню о стежках-дорожках, где проходили милого ножки, и мечтала о фабрике, о новой жизни. Еще в детстве ей нравилась поговорка:

— Работа не забота, а забота, когда работы нет.

Так прошли три года в случайной тяжелой работе, на которой нельзя было ничему научиться, и в настойчивой, неостывающей мечте о фабрике.

Наконец, в двадцать четвертом году это случилось. Шуру послали на вязальную фабрику имени Ногина ученицей.

Первый день на фабрике нельзя забыть. Самое главное чувство — уважение к вещам, к людям. Шура уважала даже шум моторов. Казалось совершенно необходимым, даже приятным, что в цехе такой шум и нельзя расслышать с непривычки, что говорят на ухо.

Она старалась изо всех сил. Работала на двух маши-

нах, но если третья была не занята, успевала вязать и на ней.

Какие красивые новые слова она узнала: цилиндр, ластик, заправка! Даже машина называлась красиво: «штандарт». Короткое, деловое слово.

Через две недели Шура перестала быть ученицей. Это был первый рекорд. Обычно подростки работают в ученицах несколько месяцев.

На фабрике вязали носки. Первое время Шура ходила по городу с опущенной головой. Нравилось узнавать на прохожих носки знакомых рисунков.

«Может быть моя работа», — думала она, и случайный встречный казался ей приятелем.

Через полгода из-за границы привезли новые машины «Идеал». Шуру первой перевели на эти машины, как самую сообразительную и старательную. Шуму тогда поднялось! Одни завидовали ей, другие боялись, что по неопытности она не справится. Шура не обижалась и не волновалась. Она хотела расти, она твердо решила овладеть новыми машинами, научиться более сложной и квалифицированной работе.

Через несколько месяцев Шуре стали давать учениц.

— Сетку надеть?

Шура вздрагивает и открывает глаза. Прическа готова. Светлые волосы лежат правильными, тугими волнами. Надо бежать домой.

На слете стахановцев три тысячи человек, а Шуре кажется, что она со всеми знакома, со всеми работала на одной фабрике. Говоришь с соседями, будто только вчера расстались. Она видит в первый раз ткачих Дусю и Ма-

рию Виноградовых, и первое чувство, которое она испытывает, глядя на этих девушек, это благодарность.

Когда на фабрике впервые заговорили о стахановском движении, секретарь партколлектива рассказал о Виноградовых, и Шура задумалась. Если они могут, почему же она должна отставать? Три дня Шура думала только о машинах, о производственном процессе, о маршруте. На четвертый пришла к секретарю и сказала:

— Скумекала. Перехожу с четырех на пять.

На партийном собрании Шура подтвердила свое обязательство.

И на другой день, 10 октября, стала работать на пяти машинах. Сколько было волнений! Когда на фабрике узнали, что Шура перешла на пять машин, в проходе собралась целая толпа. Пришли из других цехов, прибежали сменщицы. Шура чувствовала, что сдает важный экзамен. Казалось, что на всех шпулях порвутся нитки, машины должны испортиться, заправка будет неаккуратной. Особенно ее волновал толстый, лысый мужчина в синем костюме, внимательно следивший за ее руками. Она решила, что это из треста приехали проверять ее работу. Спросила у мастера, и оказалось, что это повар из столовой пришел поучиться работать по-стахановски. Стало весело. После перерыва Шура попросила мастера удалить любопытных и совершенно спокойно кончила свой первый день на пяти машинах.

После смены начали подходить работницы и расспрашивать, как это она «скумекала». Шура объясняла. Главный секрет был в маршруте. Нужно было под ряд с одинаковыми интервалами заправлять в цилиндр ластик. Раньше она начинала на первой, потом переходила к третьей, в это время останавливалась вторая, надо было итти к ней. Не успевала она заправить ластик, останав-

ливалась четвертая, потом первая — получалось какое-то метание между станками. Шура описывала однообразные, но неэкономные кривые между машинами.

Надо было изменить маршрут. За советом Шура обратилась к мастеру своей бригады партийке Лизе Сусловой. Товарищ Суслова помогла разработать маршрут, позаботилась, чтобы машины, на которых работает Шура, были приведены в полную исправность.

Шура еще раз продумала весь производственный процесс, выяснила у инженера, сколько секунд вяжется в среднем носок. Новый маршрут был найден. Теперь заправка, надевание ластика на гребенку были рассчитаны так точно, что в то время, когда Шура кончала заправлять пятую машину, останавливалась первая, и она снова начинала работать под ряд. Вместо метания получалась ровная, правильная походка. На наблюдение за шпулями давалось тринадцать процентов рабочего времени. Шуре удалось добиться исправной пряжи и сразу необходимого запаса шпулей, так что все это время пошло на работу, а не на контроль.

На другой день в соседней бригаде появилась еще одна стахановка, и Шура порадовалась. Лучше, когда с тобой товарищи!

В перерыве между выступлениями на слете к Шуре подошел председатель треста и, озабоченно хмурясь, сказал, что в Ленинграде на вязальной фабрике собираются перейти на шесть машин.

— Я своего рекорда никому не отдам. Если они могут работать на шести, значит и я смогу. Еще увидим, у кого пойдет лучше.

Шура возвратилась в зал и, почти не слушая речей,

стала соображать, как перейти на шесть машин. Если один носок вяжется семнадцать секунд, то... взгляд ее остановился на часах. Четверть седьмого. Вдруг зал задрожал от аплодисментов. На трибуну вышел Сталин. Шура захлопала вместе с другими. Слышать Сталина — этим можно гордиться всю жизнь. Хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, нужное. Зал не смолкал. Сталин пробовал что-то сказать, протягивал вперед руки, — ничего не помогало. Он улыбался... Наконец, аплодисменты стихли. Сталин начал говорить. Шура посмотрела на часы. Было без двадцати семь.

Сталина слушали три тысячи, а Шуре казалось, что он разговаривал только с ней. Такие нужные, простые и хорошие слова она услышала.

Поздно вечером Шура вернулась домой. Соседки по квартире — комсомолки-работницы окружили ее, и Шура, не раздеваясь и не заходя в свою комнату, стала рассказывать, что сказал Сталин, как он улыбался, сколько времени ему не давали говорить.

Когда она пришла к себе, муж не хотел с ней разговаривать. Он обиделся, что не ему первому Шура рассказала про речь Сталина.

— Я беспартийный, а ты партийная, так думаешь, что мне неинтересно? Да меня ж завтра весь «Борец» будет расспрашивать про речь Сталина. Все у нас знают, что ты стахановка.

Шура пришла на фабрику взволнованная. Надо переходить на шесть машин во что бы то ни стало. А как это сделать, сразу не сообразишь. После работы позвала инженера в партком. Стали думать. Над Шурой посмеивались:

— Скоро будешь одна по всему ряду работать. На восьми.

Решили пустить машины на ускоренный ход. Это даст производственный эффект на три процента больше, чем шестая машина. Так и сделали.

Через два дня приехал управляющий трестом и признался Шуре, что насчет ленинградцев пошутил, хотел ее подзадорить.

Шура ответила, что, если бы и не знала о ленинградских рекордах, она после речи Сталина все равно перешла бы на ускоренный ход.

Дни проходили незаметно. На пяти машинах с ускоренным ходом Шура стала давать пятнадцать дюжин носков вместо прежних десяти. Она беседовала с работницами, и теперь на фабрике стахановцы насчитывались уже десятками. По вечерам училась. На фабрике ей дали педагога по общеобразовательным предметам. Многое хотелось узнать. Ведь она всего три класса в городском училище прошла еще при отце, а дальше занималась только урывками в политкружках, да готовясь к сдаче техминимума...

9 декабря Шура работала с утра. После десяти часов в проход стали прибегать работницы и посматривать на нее. Зашел директор, поглядел инженер, заглянул мастер из другого цеха. Становилось просто неприятно работать. Шура не выдержала.

— Чего любуетесь? Еще сглазите!

Но никто не ответил, а новые люди приходили и поглядывали.

В перерыв Шуру вызвали в партком и сказали, что она награждена орденом Трудового красного знамени.

Первая мысль — побежать проверить показатели своей работы. Было страшно подумать, что вдруг за неделю после слета она стала работать хуже.

Цифры оказались блестящими.

После работы состоялся митинг. Фабрика приготовила для Шуры подарки: портрет Сталина, написанный маслом, чайный сервиз, сумочку и огромную корзину фруктов.

Пожилая работница Марья Васильевна Юдина, первая женщина мастер на фабрике, передала Шуре огромный букет розовых хризантем и сказала речь. Шуре было трудно стоять на ногах. Она схватилась за спинку стула. Подруги показывали ей знаками:

— Держись! Не плачь.

А сами вытирали слезы.

И когда Марья Васильевна стала рассказывать о своей прежней жизни, Шура заплакала навзрыд от жалости и от счастья.

После митинга Шура приехала домой счастливая и измученная и сразу уснула. Проснулась от того, что ее тормошила дочь.

— Мама, а мама, покажи твой орден. Мама, а мама, а за что его тебе дали? Ты ведь на самолетах не летаешь, за что тебе дали?

Шура посадила дочку на постель.

— Ордена дают за разное. Кому за полеты, а кому за хорошую работу на производстве. Мне и дали за хорошую работу, да за маршрут. Все нужно, и все хорошо. И самолеты, и носки, и пилоты, и вязальщицы.

А. Воронцов

По графику Сергеева

От Москвы до Можайска сто десять километров. Сборный товарный поезд, согласно графику, должен проделать этот рейс в девять часов. Один из главных кондукторов Белорусско-балтийской дороги, товарищ Сергеев сократил время прохождения маршрута на одну треть. Он водит тот же поезд в пять-шесть, самое большое в семь часов. Норма, казавшаяся предельной, при первой же серьезной ревизии отброшена, как жалкая и ненужная труха.

Еще не так давно кое-кто на дороге брюзжал о нереальности графика:

— Девять часов — это жесткий, крайне напряженный срок, в который никак уложиться нельзя. Составы тащатся по нескольку часов от перегона до перегона. На станциях их держат еще больше. Кроме того, хронические аварии — они режут на каждом шагу. Какой тут может быть график, какие здесь мыслимы нормы?

Люди, позевывая, равнодушно — все равно опаздывать! — снаряжали составы. Вели их вслепую, как придется. Сдавали тоже кое-как. Было бы по уставу, а что сверх него — неважно.

Устав требовал от главного, чтобы он начинал приемку состава за полчаса до отправления. При добросовестной и точной работе составителей этого времени было бы достаточно. Но, к сожалению, практика была иной. Люди годами привыкали к неряшливой, безответственной «системе». Главный являлся на станцию и на скорую руку, часто впопыхах, небрежно проверял состав. Думать о возможных заминках в пути, о том, как их предупредить, ему было некогда. За полчаса он едва успевал осмотреть вагоны. Заметь он какой-нибудь недостаток, отправка поезда срывалась. Для исправления не было ни одной минуты.

Так довольно часто и получалось. Поезда уходили с опозданием только потому, что кто-нибудь чего-то не доглядел. «Вдруг» обнаруживалась поломка, «случайно» оказывалось, что сцепление произведено неправильно, автотормоза расставлены не так, как полагается, тарелки буферов расходятся сверх допустимого. Или же не соблюдена коммерческая сторона: вагон с грузом не запломбирован.

Но случалось, и нередко, состав уходил с изъянами. Во время следования маршрута, когда уже было поздно, спохватывались. Выяснялось, что составители поставили

Михаил Сергеевич Сергеев

тяжелогрузные вагоны в хвост, а легкие в голову. На первой же станции начиналась толкучка. Вагон надо отцеплять, а его ухитрились запрятать куда-то в середину. Приходилось маневрировать. Маневры бесконечно затягивались. Возникали пробки. Состав надолго застревал. Главный носился от дежурного к машинисту, от машиниста к смазчикам. И всюду опаздывали.

Выехав с составом, главный кондуктор не просмотрел в деталях рейса и сейчас тычется в потемках. Где и что отцеплять и прицеплять, где и что грузить и разгружать, ему заранее не известно. Он теряет бездну времени.

Давно уже выбившись из расписания, состав попадает в «непредвиденную» аварию. И бывает так, что главным виновником аварии оказывается... главный.

Весь кондукторский резерв Белорусской дороги еще помнит эту историю с главным по фамилии Молочный.

Года два назад Молочный вел поезд из Можайска на Москву. На тридцать четвертом километре, на крутом подъеме, состав неожиданно остановился. Вся бригада кинулась к машинисту. Бросился и главный.

— Что за причина? — спрашивает он.

Машинист разводит руками.

— Круто, товарищ главный, сами видите, какой подъем!

Главный растерялся и ничего не видел.

— Что же делать? — спросил он.

Главный, который должен был показать себя, как хозяин, быстро распорядиться, проявить максимум подвижности и сообразительности, топтался на месте.

Внизу была станция. Если бы состав пополз вниз, крушение было бы неминуемо. Вагоны разбились бы в щепки, и как знать, сколько было бы человеческих жертв.

Вместо того чтобы приказать затормозить, подложить башмак под хвостовой вагон, главный стал ждать, что будет делать машинист.

Машинист нагнал пару, дернул сразу, и... поезд понесло под гору.

Семнадцать вагонов разбились в щепки, погиб смазчик.

Главный оказался главным виновником катастрофы!

А сколько мелких и средних аварий происходило на дороге только из-за того, что своевременно не была тщательно, с пристрастием, проверена техническая сторона. Сделай это главный заранее, на приемке состава, ни о какой аварии не могло бы быть и речи.

Главный Сергеев с этого и начал свою реформу. Все, что можно было, он сделал заранее. Человек пожилой, но крайне подвижный, обладающий отличной природной сметкой, он сумел чутьем практика, честного и преданного работника, которому осточертела болтовня кипучих бездельников, толкующих о нереальности графика, установить причину болезни. Беда в том, что детали рейса не предусматриваются при приемке состава. Все изменится, если тщательно и строго подготовить поезд к отправке.

Сергеев ввел это в обычай, который соблюдает пунктуально и последовательно.

До отхода поезда он методично обследует вагон за вагоном. Затем спокойно просматривает список замеченных неполадок и тут же принимает решение, не пропуская ни единой мелочи. Всякий недостаток должен быть исправлен немедленно. Он сам следит за этим, пока не убедится, что все в порядке. Он требует от каждого в бригаде ответственности за свой участок, точного, аккуратного и быстрого исполнения поручений. Он предпо-

читает даже прослыть придирчивым, чем что-нибудь прозевать.

Вряд ли правительственная комиссия, принимающая новый завод, делает это с большим пристрастием, чем главный кондуктор Московско-белорусско-балтийской железной дороги Сергеев, когда снаряжает свой сборный товарный состав в очередной рейс. Он великолепно знает, во что ему может обойтись самый незначительный зевок. Если есть поломка — исправить на месте. Нет пломбы — запломбировать. Перегрузили вагоны — обязательно сбавить, ведь причиной аварий чаще всего является перегруз.

Составители, еще недавно почти полностью бесконтрольные, медлительные, у Сергеева поворачиваются с необычайной для них быстротой. Сергеев умеет пристыдить, ввернуть едкое словечко. С ним нужно быть всегда наготове, — его распоряжения не ждут. Он требует, чтобы вагоны были равномерно распределены в составе. С тяжелым грузом — в голову, с легким — в хвост. Прицеплять — в порядке следования станций. Ему нельзя сдать работу кое-как, — заметит, не примет, заставит переделать. Он приучил людей работать добросовестно. Он помнит все узкие места, и его нельзя провести.

Вагоны вытягиваются перед ним во фронт, он принимает их, как на параде. Они должны отличаться безукоризненной воинской выправкой, слаженностью, дисциплиной.

— Качество! — говорит он.

Еще до того, как принять документы и занять свое место директора поезда на переднем тормозе, он подробно осведомлен о том, на какой путь та или иная станция поставит его маршрут, где какие отцепы и прицепы, где выгружать и где разгружать, сколько будет порожняка.

По требованию Сергеева, диспетчер обстоятельно знакомит его с предстоящей работой. Диспетчер обязан предупредить дежурных всех станций по пути следования состава, чтобы они встречали поезд непосредственно на стрелке. Сергеев не намерен тратить время на выписку нарядов. Другие приезжают, сдают документы, ждут, пока раскачается станция, пока дежурный рассмотрит бумаги. Сергеев приступает к маневрам сразу же, как прибудет на станцию.

Перед отправкой состава он договаривается с бригадой. Бригада должна знать то же, что и он, — все о рейсе. Он заключает накануне очередной поездки договор о социалистическом соревновании с машинистом, со смазчиком. С машинистом — на выполнение расписания. Машинист узнает у Сергеева, где, на какой станции поставить поезд, чтобы не делать обычных лишних заездов. Со смазчиком главный подписывает соглашение — провести поезд без отцепок и погорения. Вся бригада знает в деталях особенности рейса.

Взобравшись на передний тормоз, главный бдительно следит за составом, смотрит, не выходит ли груз из габарита, не рассыпается ли лес.

На стрелке первой же станции его ждет дежурный. Сергеев бросает ему лаконически:

— Вот твои вагоны. Отцепляем.

Помощник главного, старший кондуктор тут же производит отцепку. Иногда этим делом занимается сам Сергеев.

Маневровой работой тоже руководит Сергеев. Он управляется исключительно быстро. На такой станции, как Голицыно, где по графику на маневры полагается пятьдесят минут, он обходится десятью—пятнадцатью. А другим мало и часу.

Сергеев ведет дневник каждого рейса. Выборки из дневника он всякий раз передает начальнику отделения, партийному организатору.

Одна из характерных записей:

«28 ноября, станция Тучково, — пишет он. — Обнаружено, что из карьера по ночам вытаскивают вагоны, тогда как в карьере уклон восемнадцать тысячных и по акту ночная работа не должна допускаться».

В этой записи весь Сергеев, весь его метод.

— Главное — во-время предупредить.

Ночью может быть авария. Участок не освещен. Большой уклон. Вот-вот все полетит к чорту. Этого можно избежать. Это надо предотвратить.

Сергеев пишет:

«Довожу до вашего сведения... Считаю необходимым принять срочные меры...»

Из года в год водит он на линии Москва—Можайск и обратно сборные и податочные товарные составы. И ни одной, буквально ни одной аварии за пять с лишним лет! Две тысячи триста четыре рейса, и ни одной аварии. Ни одной аварии и ни одной кражи!

Однажды ночью, когда поезд взбирался по крутому подъему и замедлил ход, он заметил, как злоумышленники сшибали пломбу с вагона. Сергеев прыгнул с поезда на ходу. Груз был спасен. Это, пожалуй, единственное происшествие в его практике.

Никто на дороге не может с такой организованностью и пунктуальной точностью провести маршрут, как это делает главный Московско-белорусско-балтийской дороги товарищ Сергеев. На каждом рейсе он экономит два, три, четыре часа. Уже в июле прошлого года он поставил разительный рекорд, заставивший заговорить о нем повсюду. Он доказал, что поезд можно привести на

двадцать четыре часа раньше расписания, иными словами, что расписание никуда не годится.

В сентябре, когда стахановское движение разгоралось в стране, он дал сто двадцать шесть процентов задания. За октябрь он сэкономил на каждом пробеге поезда от двадцати четырех до тридцати восьми часов.

Среди кондукторов Белорусской дороги пожилой Сергеев был первым стахановцем-кривоносовцем.

В новом методе он увидел конец «ползучей» работе. Паровозный машинист Кривонос доказал, что можно и должно работать по-иному. Ему тоже, конечно, протрубили все уши насчет этих самых пределов. Все, мол, вычислено и рассчитано. Дальше — нельзя. Дальше — голову сломаешь. Однако все вышло не так, как уверяли эти закисшие в канцеляриях «мудрецы». Какие там, к чорту, пределы! Эти бумажные заслоны, которые понаставили повсюду на путях, были снесены здоровенным шквалом, пронесшимся над дорогами страны. Сидевшие на семафорах «ученые» дятлы, долбившие о «невозможности» и «немыслимости» движения вперед, выглядели жалко и потрепанно. Вся их сигнализация оказалась фальшивой и вредной. В первой же проверке, которую учинил их «теории» Лазарь Моисеевич Каганович, выяснилось, что люди эти просто-напросто проповедывали застой. Знаменательный кривоносовский рейс особенно наглядно показал это.

— Пределам — предел! — воскликнул Сергеев, просматривая газету, в которой рассказывалось о рекорде на Донецкой дороге.

Он понимал, что в хозяйстве советского транспорта произошел настоящий переворот, который несет с собой новый уклад и другие приемы работы. Не только на паровозах, но и везде, на всех точках транспорта меняется система. Лазарь Моисеевич Каганович учит весь огром-

ный коллектив работников советского транспорта работать напористо и организованно, загружая с пользой каждую минуту.

Сергеев понял, что система должна быть изменена и на его участке. Он начал с того, что предложил развернуть соревнование среди главных товарных поездов на одну поездку. Три месяца — июнь, июль, август — его бригада держала первенство Советского союза.

Позже появились другие. Они работают по плану Сергеева. Среди них немало его учеников: Кузьмин, Ратников, Ткачев, Лукашов. Сергеев проделал с ними учебно-показательные поездки.

Он помог наладить работу, передал свой опыт главным кондукторам Хованскому, Миронюку, Садовскому, Миронову.

Результаты:

20 ноября поезд № 903/626 с главным Хованским нагнал два часа семнадцать минут.

22-го поезд № 805/810, сопровождаемый Садовским, сэкономил один час одиннадцать минут.

23-го поезд № 625/804, который вел Миронюк, сократил время на два часа пятнадцать минут.

26-го поезд № 625/626 с главным Мироновым дал два часа и девять минут экономии.

Изменилась роль главного. Его уже не держат на станции дольше положенного, не отмахиваются от него: «катись», «не твое дело». Главный имеет право по селектору жаловаться на непорядки на станции прямо начальнику дороги.

Сергеев предложил уничтожить должность смазчиков на товарных поездах. Это предложение осуществлено Народным комиссариатом путей сообщения.

...Казалось, — так полагали косные, исповедующие бук-

ву устава инвалиды мысли, — а такие есть еще на транспорте, — казалось: девять часов — невозможный, нереальный срок.

Но вот пробег, фактически сделанный скорее!

Старик Сергеев собственными расчетами, своим графиком похоронил никчемную, хилую норму. Теперь остается только согласиться с ним. Остается признать новую систему. Пускать поезда по другому графику.

По графику орденоносца Сергеева!

Бор. Яглинг

Силы города

Ракитин? Я самый. Про рекорд мой писать хотите? Ну, что ж, пишите. Тут уже писали. И в «Ударнике Метростроя» писали, и из «Вечерней Москвы» девушка одна приходила. Все допытывалась:

— А что вы чувствовали, когда поставили рекорд?

— Ничего, говорю, особенного не чувствовал.

А она все спрашивает:

— А комок такой к горлу не подступал? Рекорд-то ведь мировой! Может, слезы радости были?

— Зачем, говорю, комок. Ты ж меня видишь, какой я. Я не нервный. Ну, рад был, конечно. Приятно же!

Еще удивлялась, что медленно так разговариваю, а рекорды ставлю.

— Ты на это не смотри, говорю, на работе я верткий.

— Чего же вам рассказывать? Хотите — спрашивайте, а то сам все расскажу. Жизнь моя короткая — двадцать два недавно стукнуло. Рассказывать недолго.

Комсомолец я, Федором Демьянычем никто еще не величает. Все больше — Ракитин или просто Федя.

Воронежскую область знаете? Ну, так и село наше наверно знаете. Большой Мечек — оно у нас по области, я так думаю, известное.

Была у нас земля, понятно. Двадцать три сажени с половиной. А что с нее возьмешь?

Отец больше на заработки ездил. То на кирпичный завод, то на шахты в Донбасс поедет. А хозяйство на нас. Да какое хозяйство! Коня даже не было, на чужих пахали...

А село большое — дворов сто двадцать. Все как полагается, и кулаки были, и церковь, и поп, и кабак. Мы еще ребятишками на колокольню за галочьими яйцами лазали. Псаломщик поймает — нарвет уши, а не поймает — яичницу жарим.

Школы в селе никакой не было, и мы неграмотными росли. Я годам к четырнадцати только грамоте научился, когда из армии Дмитрий Боровских приехал. Он за нас и взялся. Собрал по двадцать пять копеек, избу у Дениса Мироныча снял, чтобы было где заниматься.

— Это кто же — Денис Мироныч?

— А Боровских.

— Родственник Дмитрия?

— Какой родственник! У нас все село — Боровских да Ракитины. Денис Мироныч — это старик. Он нам избу

Федор Демьянович Ракитин

свою для занятий сдавал. Человек шестьдесят там занималось, а он с каждого по четвертаку брал.

Читали мы тогда по букварю: «Наша сила, наша нива, наша власть советов». Большие буквы такие были. Еще портрет Ленина в избе висел.

Дмитрий здорово учил. Не поймешь чего — терпеливо так растолкует. Не любил только, если забалуешь. Горячий такой, закричит, ногами затопает, а то и крепким словом погонит. Там и девчонки, правда, были, он их не стеснялся, очень строгий к баловству был. Гришку-«окуня» даже из школы выгнал.

А обо мне говорил: «Этот способный. Ему обязательно дальше учиться нужно».

Я секретарем в школе был, а старостой — Боровских.

— Это который же Боровских?

— А Семен. Из соседнего села через овраг тоже учиться ребята ходили. Ну, да им не сладко приходилось. Как выйдем — драка. Вздуем их как следует, только держись.

— За что же?

— Так они из другого села. Если бы мы к ним ходили, они нас били бы. Чужими считались. Так испокон веков велось. Темноты еще много в деревне тогда было.

Но тут в скорости с рудников Ракитин приехал. Он у нас комсомол организовал, и я тогда вступил.

— Это который же Ракитин?

— А Никита, председатель сельсовета. Он у нас, ну — прямо вождь был. Бедняк из бедняков. А такую организацию сколотил, что по всей области узнали, что за село Большой Мечек.

У нас вроде районного центра стало. Куст комсомольский в нашем селе. А все Ракитин. Большой работник!

Он потом уже меньше, чем в районном масштабе, не работал.

А в ту пору папа римский войной на нас итти хотел, на КВЖД конфликт был. Я и вступил в комсомол. Сразу меня в члены кустового бюро выбрали. Помогали мы сельсовету по кампаниям. Еще в «легкой кавалерии» я был, потом с пионерами няньчился. Школу уже построили, учились ребятишки.

И тут тридцатый год подоспел. Отца моего деревом в лесу зашибло. Помер отец.

А в селе волнение шло. Никак в колхоз село не желает. Собрались на участке, из райисполкома сам секретарь приехал доклад делать, а никто не слушает. «Не пойдем!» Все-таки сговорились в конце концов. На другой день весь инвентарь и скот на один двор к Ракитину собрали.

— Это к которому же Ракитину?

— А к Григорию Васильичу. Кулаку. Его уже раскулачили. А тогда, как свезли все к Ракитину кулаку на двор, кто-то из кулачья ригу поджег. Все почти и погорело.

Кто ж поджег? Дай, думаю, выясню. И решил в церковь пойти — послушать, что кулаки говорят. Матери с вечера разбудить себя велел:

— В церковь пойду.

Обрадовалась мать.

— Сыночек! Отказался от комсомола...

Прихожу утром в церковь, а они озираются. Что это, мол, с ним, неужели от комсомола отказался...

Постоял, постоял я, а они ни черта не говорят, только бога молят. Плюнул я и ушел. Мать спрашивает:

— Что так рано вернулся?

— Заболел, говорю.

Комсомольцы косо смотреть стали.

— Чего по церквям ходишь?

Но все обошлось.

Работал я по всем кампаниям. Не любило ж меня кулачье! Ударить не смеют — ответишь, так они сынишек-шпингалетов на меня натравили. Хоть маленькие, а с ножами. Порезать могли. Но я не дался. Разбросал их...

Решил меня райком на учебу послать.

А я все это время на рабфак готовился, к Боровских ходил.

— Это который же Боровских?

— А учительница—Александра Васильевна. Егора Егорыча Боровских жена. Хорошо учила... А Егор Егорыч шорник наш, коммунист. Уважали его в селе, авторитет имел.

Тут и кончилась деревенская моя жизнь. Поехал я в Москву. Страшно было сначала. Шумный город, движение. Сегодня идешь, а завтра задавят. В деревне каждый день тянулся, а тут и не заметил, как два с половиной года прошло.

Самый молодой я был на рабфаке, но учился — не отставал.

И вдруг объявляют мобилизацию комсомольцев на метро. А я культпропом в ячейке был. И прикрепляют меня к группе первокурсников разъяснять, что это за метро. Говорю я им про метро, а самому все кажется, что они думают:

— Ишь, умник, пришел нас агитировать, а сам, небось, не идешь...

Но никто ничего мне этого не говорил, даже не думал такого наверное. И итти мне на метро совсем необязательно было. С третьего курса никого не брали. Но очень уж мне неудобно стало.

И решил я пойти. Ячейка не отпускала, но директор поддержал меня. Он вообще здорово помог нам в этом деле. Митинг собрал и такую речь сказал, что за мной еще сразу добровольцы объявились.

На медицинской комиссии кое-кого браковали, а мне говорят:

— Можете хоть под землей, хоть под водой, хоть в стратосфере работать. Пожалуйста...

Осень начиналась, сентябрь тридцать третьего года. Мы на Арбате во дворе копер строили, эстакаду, котельную.

Проходили ствол, подходную штольню шли, потом начали шурфы рыть. Бетонировали свод, расчищали тоннель.

Но работа неинтересная была. Так и запишите, что нисколько мне эта работа не нравилась. Арбатский радиус открытым способом вели, а открытый способ что? Ну, просто работа землекопа. А называют проходчиком. Не настоящая квалификация!

Но ребята подобрались дружные. Родионов, — мой напарник, демобилизованный из армии был, — чуть устанем, сейчас анекдот расскажет — кишки порвешь. Еще Афонька Седых, — ему прозвище «Малышка» было, он самый куцый в бригаде был, — тоже веселый, неутомимый парень. И другие, понятно, ребята.

Инженеры сначала про нас говорили: «Что они знают, да что они умеют?» Верно — крепление на сухом песке трудное было. Но мы инженерам показали, что мы за народ! Здорово работали.

Перевели бригаду нашу на тридцать первую шахту на улицу Коминтерна. И поставили на участок с рогожным знаменем. Дескать, вывозите, ребята. Мы вывезли. Ро-

тожное знамя вскорости сняли, в гору пошел участок. На отделку на эту же станцию ходили, мрамор ставили. Видел ты эту станцию? Очень она мне нравится.

На отделке день и ночь работали. Уставали, понятно, но настроение бодрое было, раз скоро поезда пойдут.

Закончили станцию, всю линию. Тут началось массовое увольнение. Было на шахте что-то тысячи три народу, а оставили семьдесят пять человек. Кого на эксплоатацию перебросили, кого по заводам на работу поставили. Некоторые плакали, когда уходили, девчата особенно.

Сдружились все. Никогда я такого дружного коллектива не видал. Целыми бригадами на заводы поступали.

Я был уверен, что меня не оставят — знали меня на этой шахте мало. Собрался я уезжать в подмосковные шахты или в Донбасс.

А напоследок было собрание. Секретарь комсомольской ячейки прочел список, кто из комсомольцев оставлен вторую очередь строить. Слышу — оставили и меня.

Мне, правда, предлагали раньше на эксплоатацию метро пойти, но я не захотел. Очень уж спокойная работа.

Откровенно сказать, строительство метро — главная моя школа в жизни. Поработать на такой стройке, в таком коллективе, при таких темпах — это что-нибудь да значит!

Ребята как на подбор у нас были, кто — рабфак, кто — семилетку, кто — девятилетку окончил. Малограмотных почти не было.

Пуск, помню, праздновали — каждый день по театрам ходили, постройком билеты давал. Придешь в Большой театр, слушаешь «Садко» или «Снегурочку», в ложе си-

дишь, а на ней дощечка: «Ложа ударников Метростроя». Именные часы я тогда получил, значок Кагановича и значок Моссовета.

Отпраздновали пуск — на вторую очередь работать пошли, на Покровский радиус. Организовал я здесь на ведущем участке комсомольскую бригаду. Выбрали меня секретарем комитета.

На этой шахте не то, что на Арбате, — совсем другая работа. Лето, жара, а в шахту войдешь — замерзнуть можно. Да и мокро. Три насоса больших качают, откачать не могут. Хлещет прямо вода. Там, на Арбате, двенадцать метров вся глубина, а здесь — сорок пять. Условия трудные. Но отказов не было. Работали как следует.

Прошли мы ствол, уже рудничные дворы разрабатывали, вдруг слышим про рекорд Стаханова.

А у нас организация такая была: семнадцать человек в сквозной бригаде, и куда бригадир пошлет, то и делают. Вчера ты забойщик, сегодня крепильщик, а завтра может откатчиком будешь. Спустишься в шахту, и тут уже каждому какую придется работу поручают. Ну, никакой специализации не было!

Прочитали мы о стахановском методе, и сразу собирает нас начальник участка Курепко. Толкуем, что делать. Решили закрепить специальности за людьми, чтобы каждый свое дело знал. Закрепили. Но толку все-таки мало вышло.

От одного «паука» воздухопровода по четыре отбойных молотка работало. То воздуха нехватит, то крепильщики отстанут, помогать им приходится. Словом, не по-стахановски все-таки выходило.

Поехала к Стаханову наша делегация: Терпиторев — начальник шахты, Курепко — начальник участка и Калинин — забойщик наш.

Приезжает делегация и говорит:

— Мы неправильно применяли стахановский метод. Нужно еще изменить.

А мы уже и так на двести процентов норму перевыполняли. Даже неполная специализация помогла. Но если еще раз изменять нужно, давай изменим! Оставили на «пауке» только два молотка. Стали на эти молотки Пимакин, мой напарник, и я.

А перед этим Курепко говорит:

— Имей в виду — Шейхутдинов уже дал по Метрострою двести пятьдесят процентов нормы. Раз на рекорд идешь, ты больше дать должен.

— Хорошо, — отвечаю.

Прихожу на шахту назавтра. Курепко обедать посылает.

— Иди, подкрепись как следует. Я вам тут молотки сам приготовил. И запасный один. Механик сейчас проверит, и возьмешь.

Пошел я, закусил. И спускаюсь в шахту.

А Курепко говорит:

— Где же молоток твой? — и смеется. — Что ж у тебя, ординарец есть — принесет?..

— Ничего, — отвечаю, — будет сейчас молоток.

А я его в вагонетку положил, он следом и приехал.

Подхожу к «пауку», а на нем чужой молоток надет — никак не снять. Крутим, вертим — заело, не снимается. Мой напарник уже работать начал, а я все вожусь. По-

волновался я тогда. Молоток-то он исправный, но чужим — какая работа? Мой молоток номер тридцать один — вот это вещь! Привык я к нему.

Напарник мой работает, а я все кручу. Но освободил шланг, наконец. Пошел работать.

Сделали мы сначала вруб по всей лаве на метр. Вруб в известняке, под пластом мергеля, чтобы мергель потом сам обрушился, а то он твердый, его рубать труднее.

Потом над мергелем стали известняк брать, он легко от мергеля отрывается.

Я как врубился, сразу огромная глыба известняка отвалилась.

— Это хорошо, — говорю.

А какое «хорошо», когда нашего инженера Борисенка чуть этой глыбой не убило!

Борисенок все время около нас был.

А на рудничном дворе народ ждал. Там и из постройкома были, и начальник шахты, и Плисс — секретарь парткома нашего, и из «Ударника Метростроя», и из «Вечерней Москвы» товарищи, и комсомольский секретарь наш Серов.

Не отрывался я от молотка ни на минуту.

Взяли известняк, начали мергель брать по клеважу. Отваливался хорошо. За нами двое крепили, трое породу отвозили. Справлялись ребята.

А инженер Борисенок нам каждые полчаса время сообщал, чтобы знали и смогли силы рассчитать.

Минут за сорок до конца работы следующая смена пришла. Тоже стоит, смотрит. А мы уже лаву подчищаем.

Кончилось наше время.

Маркшейдер замерил — вышло шестнадцать целых семнадцать сотых кубометра на обоих. А норма на двоих три и две десятых кубометра была. В пять раз, значит, перевыполнили норму!

Поздравляли тут нас, руки жали. Говорят, это рекорд не только общепостроечный, но и мировой.

Усталости мы особой не чувствовали. Поздно только было — два часа ночи. Пошли домой спать.

Утром прихожу — опять поздравляют, газеты показывают. И в «Известиях», и в «Вечерней Москве», и в «Ударнике Метростроя» заметки напечатали.

Во двор вхожу — плакат висит, что мы, мол, стахановцы Ракитин и Пимакин, норму в пять раз перевыполнили и за смену по сто шестнадцать рублей вместо одиннадцати заработали. Это — по прогрессивке.

У нас на шахте инженер Жаворонков есть. Он все говорил:

— Стаханов, Стаханов!.. Пусть Стаханов к нам приедет, у нас попробует. Это тебе не Центральная-Ирмино! Здесь не выйдет...

А тут замолчал. Крыть нечем!

И другие проходчики за нами на шахте потянулись, по десять кубометров вдвоем давать начали. Хасаншин и Воронин даже четырнадцать с половиной вынули.

Волна рекордов по шахте пошла. Никита Сергеевич Хрущев, говорят, лично интересовался, как у нас это дело двигается.

Нас, правда, пока никто не догнал. Но догонят, конечно. К этому идет.

Тут слеты стахановские начались. На всех выступать приходилось. А я этого не люблю, мне выступать трудно. Но выступал, конечно, раз надо.

А потом на всесоюзный слет стахановцев попал. Сталина слышал. За сердце он меня взял. Особенно, как сказал, что награждать будут. Вот каменщика Самарина орденом Трудового красного знамени наградили. Простого каменщика!

Ценят у нас труд. Делай, что можешь, работай в полную силу — и будешь герой!

ЦИК СССР 3 апреля 1936 года наградил бригадира-проходчика Метростроя Ф. Д. Ракитина орденом «Знак почета».

Про счастье

Самым светлым воспоминанием ето отца было воспоминание о Курске. Здесь отец отбывал воинскую повинность.

— Вот это город, — говорил он. — Это действительно город!

Курск заметно прикрашивался в отцовских воспоминаниях, утрачивал грязные улицы, ветхие домишки, всю губернскую свою унылость. Он покрывался асфальтом, гладким и блестящим, цвел садами, красивые, веселые, счастливые люди наполняли его улицы. Словом, больше

походил на наши теперешние города, чем на настоящий дореволюционный Курск.

Отец был неутомим в своих воспоминаниях о Курске. Всю жизнь отец прожил в маленьких еврейских местечках Украины, где двухэтажный дом уже пышно именовали зданием, где никогда не высыхали лужи, где не было ни одной незаплатанной крыши.

Отец был мелким служащим. Он всю жизнь энергично стремился к счастью. Он то и дело переходил с одной службы на другую, переезжал с семьей из одного местечка в другое. Иногда ему удавалось добиться трехрублевой прибавки к жалованью. Это и было счастье.

Тусклая жизнь отца тем не менее была полна событиями. Купил сыну Якову рублевые яловочные сапожки — событие. Нашел в траве около крыльца двугривенный — тоже событие.

Яков Юсим помнит деда. Дед был часовым мастером. Сложный механизм часов казался ему очень простым, а жизнь трудной и запутанной. Самым же сложным в жизни было как-нибудь просуществовать с семьей. Над этой задачей дед бился всю жизнь.

Дед учил Якова грамоте и за успехи одаривал заржавленными старыми шестеренками от часов. Деду больше нечего было дарить любимому внуку.

Маленькому Якову дед казался богачом.

— Я хороший дед только для маленьких, — печально шутил старый Юсим. — Им я кажусь богатым. Для них нет на свете ничего ценнее поломанной шестеренки от часов или согнутого гвоздика. Но когда мои внуки вырастут, я стану для них неподходящим дедом. Мне нечего будет им подарить.

Дед, отцовские рассказы о Курске, копеечные семей-

Яков Соломонович Юсим

ные события, сумерки в комнате, обставленной скрипучей дешевой мебелью, — вот детство Якова Юсима.

Он был мечтателем. Он не хотел отцовского счастья. Ему грезились большие города, кипучая жизнь. Яков Юсим родился в 1904 году. Он много учился и много работал. Мир стал другим с 1917 года, и понятие о счастьи изменилось. В этом году собственно и родился Яков Юсим. Он кончил в Одессе вуз, стал инженером. В 1933 году его назначили на завод «Шарикоподшипник» имени Кагановича.

В отделе главного механика Якову Юсиму было скучно.

— Я хотел пощупать машину своими руками, — говорит мне Юсим. — Я занимался проектировочной работой и мучился от того, что деталей, которые вычерчивал на бумаге, не видел в натуре. Меня тянуло в цех, я хотел стать настоящим инженером.

Однажды Юсиму повезло. Его послали во главе бригады слесарей на ремонт тракторов к посевной в село Сапожки Рязанского района. Произошла ошибка: тракторы, оказалось, были уже отремонтированы. Пришлось собирать сложные машины, сноповязалки.

— Я впервые ощутил по-настоящему машины. Я чувствовал себя прекрасно. Эти две недели работы в МТС я вспоминаю с большой радостью. Поймите — я оставил после себя, — ну, как бы это выразиться? — материальный след. А что я пережил, когда машины пошли! Ведь я собирал машины по чертежам. Опыта у меня не было.

Яков Юсим был счастлив в те дни. По вечерам он писал письма родным. Это были письма мечтателя, сча-

стливого человека, первого счастливого человека в нищем роде Юсимов.

— Я даже придумал попа, — говорит он мне застенчиво.

— Не понимаю.

— А так, попа никакого не было. А я написал мужу сестры в письме, что он был и очень удивлялся машинам. Мне казалось, что обязательно должен быть такой поп. Просто случайность, что его не было. Письмо вышло очень хорошим.

Кузнечный цех завода был в хроническом прорыве. По инициативе общественных организаций туда были посланы из управления десять инженеров, чтобы выяснить, в чем суть прорыва, кто виновен в нем — машины или люди. Яков Юсим был в числе посланных. С тех пор он в этом цехе. Сначала работал подручным штамповщика, потом диспетчером, а когда освободилось место мастера смены третьего пролета, занял его.

— С первого дня, как я попал в кузнечный цех, я сразу увидел большие непорядки. В цехе работали три смены. Одна смена наладки и две смены эксплоатационников. Смена наладки не успевала наладить все машины. Поэтому работа эксплоатационников шла вяло, машины то и дело отказывали. Рабочие бродили по часу, по полтора в поисках ключа, отвертки или другого инструмента. Цена этим инструментам — грош, но их было мало. Пролет давал в смену тринадцать—шестнадцать тысяч колец. Это ничтожно. Огромные возможности цеха никак не использовались. Рабочие были раздражены, становились к машинам в отвратительном настроении. Время терялось,

уходило на пустяки. Рабочий не верил в себя, не верил в машину и думал только о том, чтобы поскорее кончилась смена. А кроме того — брак. Я подумал: как скучно здесь! Мы живем в веселой, счастливой стране. Как же можно, чтобы в веселой стране был такой скучный цех? Нет, этого не должно быть!

Начальник цеха Курносов не разделял взглядов Юсима. Курносову казалось, что все обстоит хорошо.

— На мое предложение обеспечить цех необходимыми инструментами я получал резкий отказ. Курносов считал, что инструментов достаточно. «Не напасешься на вас инструментов», — был его ответ.

Юсим понял, что предстоит большая борьба. Надо напрячь все силы. Юсим решил победить.

— Прежде всего надо было подбодрить рабочих. Разлаженные машины, недостаток инструментов, хронический прорыв, — все это действовало на рабочих угнетающе. Надо было переломить настроение. А для этого нужно было узнать каждого рабочего досконально, надо было по-дружески с ним поговорить, выяснить, чего он хочет. Рабочие — народ разный. Есть, например, такой парень. Его надо все время поощрять. Подойти и сказать: «Ничего, Саша, не унывай, сегодня не выполнил норму, завтра обязательно выполнишь». Улыбнешься этому парню, похлопаешь по плечу мимоходом, вскользь отметишь один-другой недостаток — смотришь, назавтра он выполнил норму. А есть другой тип рабочего. Работает неудовлетворительно, но всячески оправдывается. Какие бы причины он ни приводил, даже явно уважительные, соглашаться с ним нельзя. Признай хоть один из его доводов правильным, и парень покатится, станет работать все хуже, из рук вон плохо. Или вот, например, Дегтярев. Способный человек, а все время отстает. Пригляделся я к не-

му и понял его суть. Достал два билета в театр. После смены даю ему. Он удивился. Теперь работает прекрасно, один из лучших. А почему? Парень он очень самолюбивый. Работал плохо, потому что думал, будто никто им не интересуется... У каждого человека свой характер. А руководить — это значит постичь характер каждого, к каждому найти подход. Стал я присматриваться к бригадирам. Нащупал пять дельных ребят. Вижу, они тяготятся своим положением в цехе. Достал места в однодневный дом отдыха, пригласил бригадиров. Провели мы вместе денек, поговорили, ближе узнали друг друга и пришли к общему выводу: надо подымать цех.

В июне одна смена третьего пролета выпускала пятнадцать тысяч колец, в июле — двадцать четыре тысячи. Но Юсим видел, что производительность можно значительно повысить. Он чувствовал, что побеждает, но еще не победил окончательно.

Работая в ночной смене, Юсим тщательно присматривался к работе ковочных машин. Да, дело было в наладке. Ах, если бы удалось наладить машины хоть однажды все сразу. С этой мыслью он под утро ушел домой.

Днем Юсим созвал бригадиров. Было решено в первый же выходной день наладить все машины.

— Завтра будет тридцать тысяч колец, — сказал Юсим бригадирам, когда машины были налажены.

Действительно, на следующий день смена дала эти тридцать тысяч колец. Так был поставлен первый рекорд.

— Я сделал знамя,— говорит Юсим,— знамя из листовой стали. Оно предназначалось победителю. Я постарался сделать знамя как можно красивей. Написал на нем:

«Бригадиру, выполнившему план за пятидневку». Знамя получил бригадир Тютюгин. Его бригада дала тысячу триста пятьдесят колец за смену вместо прежних восьмисот восьмидесяти. Это было большим достижением. После смены я собрал рабочих в коридоре и обратился к ним с речью. Я говорить совсем не умею, вы же видите, что я не оратор. Начал с героев челюскинской эпопеи, потом перешел к Изотову, и вот, говорю, в нашем цехе есть свой герой товарищ Тютюгин. Он только начал, говорю, свой героический путь, но мы уверены, что он пойдет дальше. Моя речь понравилась ребятам. Нескладная, но искренняя. Через два дня бригада Беликова дала сто восемьдесят четыре процента плана. Тут впервые в нашем цехе было произнесено имя Стаханова. Мы назвали Беликова стахановцем. Через три дня бригада Ухловского дала сто девяносто семь процентов плана.

Юсим понимал, что смена идет по пути побед, но это еще не все. Нужно удвоить усилия! Борьба продолжается!

— Как-то раз после работы обхожу пролет со своим помощником Макаровым. Прислушиваемся. Машины стучат хорошо, на душе радостно. Спрашиваю Макарова:

— Как ты думаешь, если бы все так работали, как Тютюгин, Ухловский, Беликов, сколько бы мы могли дать в смену?

Тот подумал, говорит:

— Сорок пять тысяч колец!

— И я так же думаю, — ответил я.

Пришел домой, не выходят у меня из головы эти сорок пять тысяч. Долго не мог уснуть, обдумывал, что делать завтра. Утром созвал бригадиров. Объявили мы поход за сорок пять тысяч колец. Я написал обращение к смене наладки. Товарищи, говорилось там, сме-

на мастера Юсима хочет дать сорок пять тысяч колец. Вы налаживаете для нас машины, вы знаете, что многое зависит от вас. Мы должны совместными усилиями добиться сорока пяти тысяч колец в смену. Мы надеемся, что вы понимаете, как это важно...

Юсим пришёл в цех, когда там работала бригада наладки. Он с радостью увидел, что его обращение возымело действие.

— Мне представилась невиданная доселе картина. Цех был словно перед боем. Гляжу — инженер-инструментальщик взволнован. Торопит наладчиков, проверяет каждого рабочего. Кладовщика, обычно сонного, не узнать. Бегает по цеху, волнуется. Комсомольцы выпустили листовки-молнии. Читаю: «Дело под угрозой. Смена мастера Юсима не даст сорока пяти тысяч колец, если не будет ускорена наладка». Никогда не забуду этого дня!..

Но то, что произошло потом, обрадовало Юсима еще больше.

— Наша смена, — говорит он, — должна была начать работу в двенадцать, а гораздо раньше целиком была уже у ворот. Никто не мог усидеть дома. Целый час ждали у ворот! Гудок был сигналом к бою. Работали все машины. Работали горячо, энергично. Я никогда не слышал, чтобы так стучали машины. А люди! Передать невозможно, какой подъем, какой энтузиазм охватил всех. Вот вам пример. Есть у нас бригадир Филькин. Худой, высокий человек. Сумрачный, медлительный. В нем никогда не было подвижности. Я не узнал его в этот раз. Ему за сорок, а он бегал, как мальчишка. У него всегда какие-то скучные глаза. В этот день он был весел. Да что говорить, это был настоящий день! Мы

дали сорок одну тысячу колец! После смены мы объявили себя стахановцами. Вся смена почувствовала, что имеет право называться стахановской. Говорю Курносову: дай полтораста рублей, купим цветов бригадирам.

— Дал? — спрашиваю.

— Нет. Сказал, что денег на цветы у него не запасено. Директор завода Бодров потом отпустил полторы тысячи рублей на премирование.

Юсим задумывается. Небольшого роста, сухощавый, с глубокими черными глазами, он улыбается как-то виновато. Видимо, ему хочется припомнить еще что-нибудь.

— Ну, в общем все, — говорит он. — С этого момента мы начали работать по-стахановски. Вы, конечно, знаете, что Серго написал письмо заводу. Мы ответили нашему наркому выпуском сорока шести тысяч колец в смену. Вот и все. Работаем теперь по-настоящему. Вспоминаем прошлое — самим не верится!

Неожиданно Юсим улыбается.

— У меня каждый раз захватывает сердце, — медленно говорит он, — когда я вспоминаю, что мне дали орден Ленина. Я никак не ожидал этого. Прибегает в цех Слуцкин, — это из нашей заводской газеты, хороший парень, много нам помог в боях за сорок пять тысяч колец, — подходит и говорит: «Поздравляю, Юсим, с высшей наградой!» Я обмер. Тут подошли другие, тоже с поздравлениями. Гляжу — действительно рады моему счастью. Растерялся, верчу в руках пуансон. Надо бы его отнести, а я побежал телеграфировать матери в Одессу. Старухе-то радость, — представляете?

Юсим провожает меня, пожимает руку.

— Не забудьте отметить наших ребят, — говорит он.

— Мы счастливы, — прибавляет он неожиданно. — Мы счастливый цех. Я вспоминаю маленькое, ничтожное счастье отца и деда. Мне жалко их до слез. Деда, между прочим, убили петлюровцы. Если бы они только могли — мой дед и отец — видеть меня сейчас, видеть мое счастье, видеть нашу жизнь!

Вера Инбер

Та самая Макарова

Одни только часовые механизмы работают точнее, чем этот станок. Часовые механизмы — это первый класс точности. Сверлильно-радиальный станок — второй. И этот второй класс чрезвычайно высок.

Допуск, отклонение в ту или иную сторону, разрешается лишь в пределах двух-трех сотых миллиметра. Иначе получается «перекос», то есть брак.

Этот станок родом из Америки. Еще совсем недавно он переплывал океан и, гордый своим американским пас-

портом, являлся к нам в Союз. Весь цех встречал «дорогого гостя», который стоил тридцать тысяч рублей золотом. Женщин к этому станку не допускали.

Марусе Макаровой, деревенской девочке из-под Можайска, дочери печника, и в голову не приходили ее будущая встреча с американцем и результаты этой встречи.

Маруся приехала в Москву четыре года назад с отцом и братишкой. Мать, Дарья Семеновна, с младшей девочкой осталась в деревне, в колхозе. Печник Макаров, очевидно, не слишком доверял Москве, если решил расколоть семью. «Москва город большой, — вероятно, думал он. — Кто его знает, как здесь повернется жизнь».

Изредка, не часто, семья Макаровых съезжалась в Можайске. За двадцать семь километров приезжала туда мать из колхоза, за сто километров приезжали из Москвы отец с Марусей.

— Как живешь, дочка? — спрашивала мать.

— Работаю, мамаша, — отвечала скупая на слова Маруся.

— А где работаешь-то?

— На фабрике Мострикотажа. Шелковую резину работаем, — холодно, без всякого воодушевления отвечала Маруся.

Действительно, работа не нравилась ей.

Проработав девять месяцев, Маруся ушла оттуда и поступила на 37-й завод.

На очередной встрече в Можайске дочь удивила мать, сказав непривычно быстро:

— Цех просторный, как поле, только под крышей. Станок у меня американский, очень послушный и легкий. Кругом молодежь. Мне там, мамаша, очень нравится.

В один прекрасный день к Дарье Семеновне Макаровой прибежал племянник, избач, с газетой в руке.

Мария Дмитриевна Макарова

— Тетя Даша, — начал он, но тут у него перехватило дыхание, и он помахал газетой.

Услыхав о том, что на слете стахановцев ее Маруся произнесла речь и что ей аплодировал сам Сталин, тетя Даша задрожала и, по правде, плохо поверила племяннику.

Дней через двадцать тот прищел снова. Тетка сразу взволновалась.

— Я опять с газетой, — на этот раз осторожно сказал племянник.— Вы присядьте, тетя Даша. Присядьте, потому что здесь пишут про орден Трудового красного знамени...

— Марусе? Не может быть! — с убеждением воскликнула тетя Даша.

Но потом задумалась, представила себе спокойные серые глаза дочери и то, как она, спокойная и неторопливая, все успевала, и то, как она рассказывала про новый цех. Подумала и сказала:

— А может быть!

Это марусино спокойствие, неторопливость, удивительно плавный ритм ее работы бросаются в глаза каждому, кто подходит к ее станку.

Маруся высокая, чуть полная, сероглазая. Золотистые волосы гладко зачесаны наискось направо. А налево, тоже наискось, туго и гладко повязана косынка. Обязательно наискось, не иначе. И, обрамленное этими двумя симметричными косыми линиями, невозмутимо глядит молодое, свежее лицо.

Макарова во время работы не делает ни одного лишнего движения. Руки движутся от рычага к рычагу, не напрягаясь, не утомляясь. Сверло входит в металл, как в масло, кажется, что каждый так сделает. Такова плавность и легкость марусиной работы.

И спокойствие, спокойствие!

Спокойствие не изменило Марусе и тогда, когда в цехе зажглись яркие лампы, когда защелкали фотоаппараты, снимая орденоноску. Это был час «стахановского урока». Вокруг Макаровой стояли девчата, ее ученицы. У девчат от волнения и жарких ламп вспотели брови, а Маруся — ничего.

— Влюбиться можно в такую работу, — сказал парторг цеха.

— Спокойна, как британский дипломат, — сказал сотрудник газеты «За индустриализацию».

Любопытно сравнить Марусю Макарову с ее сменщицей Ниной Славниковой, тоже стахановкой и тоже награжденной орденом.

Нина Славникова, сменщица Маруси Макаровой, тоже родилась в деревне, только не под Можайском, а в Белоруссии. До приезда в Москву она никогда не видала высоких домов. Увидав их впервые, она подумала, что на высокие эти этажи взбираются по лестницам, приставленным снаружи. И все искала глазами эти лестницы и лезущих людей.

Она тоже начала свою московскую жизнь трикотажной фабрикой и тоже не влюбила ее.

— Меня очень тянуло на завод, — рассказывает она. — Теперь я в совершенстве знаю свой радиально-сверлильный станок Арчдель. Мечтаю об учебе. Хочу стать пилотом. Планерную школу я кончила и считаюсь хорошей планеристкой. Увлекает меня и парашютный спорт. Один раз я уже прыгала.

Славникова темпераментна, горяча, работает так, «что искры сыплются из глаз». В ее работе есть блеск и жар, которых нет у Маруси. Но зато нет и удивительного марусиного ритма.

Стиль их работы обсуждается в цехе так, как, вероятно, в старинных живописных мастерских Италии ученики обсуждали манеру своих учителей-мастеров. Это ремесло, поднятое до уровня искусства.

Славникова и Макарова не похожи друг на друга ни в самом цехе, ни за его пределами.

Славникова — старая комсомолка. Маруся вступила в комсомол только после стахановского слета.

Славникова — оратор. Говорит быстро, горячо, не задумываясь. Она не ищет слов, она их находит сразу, как нужный инструмент. Ее темные глаза блестят. Блеск их виден даже на портрете. Славникова вспыхивает и горит. И зажигает аудиторию.

Маруся Макарова никогда в жизни не выступала до той минуты, когда Серго Орджоникидзе отрекомендовал ее всей стране:

— Слово имеет товарищ Макарова. Это та самая Макарова, которая заработала тысячу триста сорок пять рублей и купила себе молочные туфли.

Оказывается, нарком знал про нее все. И то, как она перевыполнила задание на пятьсот процентов, и как она вместо двух зенкеров (инструмент, определяющий точность отверстия) обходится одним, — так велика точность ее работы. И то, что она заработала столько денег и купила себе туфли.

Маруся не имела никакой ораторской сноровки. Ее сразу выпустили на всесоюзную трибуну. И тут она заволновалась.

Перед ней была аудитория величиной с шестую часть земного шара. И Маруся стала оратором.

— Когда я вернулась из отпуска,—заговорила она,— у нас уже развертывалось стахановское движение. Под-

хожу я к станку товарища Зайцевой, которая работает уже семь лет. Она вырабатывала по тридцать штук деталей. Она мне говорит: «Ты, небось, сорок будешь давать». А я отвечаю: «Это будет мало, не по сорок, а по сто штук будем давать в каждую смену».

Товарищи, когда мы с Ниной Славниковой вступили в соревнование и заработали по сто семьдесят пять рублей, то нас благодарили, собрали митинг в цехе, принесли по букету цветов. Мы рассказали, как мы добились наших результатов. Дирекция нам, конечно, помогла.

Теперь нам контролер говорит: «Вы нас замучили, столько теперь проверять надо». (Смех.) Раньше от нас контролер принимал восемнадцать—двадцать штук, а сейчас восемьдесят — сто штук.

Раньше я зарабатывала сто пятьдесят — двести рублей в месяц, а сейчас я заработала тысячу триста пятьдесят рублей. (Аплодисменты.)

Да, аплодисменты! Сам Сталин, и Серго, и Ворошилов, и весь слет аплодировали Макаровой, той самой, которая заставила станок дать максимум того, что он может дать, а сама не устала нисколько, осталась свежей и уж наверное самой розовой на всем слете.

Недаром сказал начальник третьего цеха:

— Быть стахановцем—это не значит пролить семь потов, а значит выжать из станка все, что он может дать.

Маруся сошла с трибуны совсем другим человеком, чем взошла на нее. Не просто хорошей работницей, а хорошей работницей и комсомолкой.

— Целый год учебы в политкружке,—сказал секретарь парткома 37-го завода,— дает меньше, чем один стахановский слет.

Обе девушки, Маруся и Нина, вернулись на свой завод. У входа в цех на них глядели со стены их собствен-

ные портреты. Славникова с блеском глаз и зубов. И спокойная Маруся в наискосок повязанной косынке. В цехе, «просторном, как поле», их встретило алое полотнище со словами привета. На радиально-сверлильном станке висел красный флажок — знак того, что здесь работают по-стахановски.

Здесь все было обдумано до мельчайших деталей. Как на операционном столе. Справа на стеллаже лежат детали, готовые к операции. Слева на стеллаже — детали после операции. Здесь же, под рукой, наготове — запасные инструменты на случай порчи. И внимательный, как хирург, ходит по цеху инженер Нечаев, так много сил отдавший этому «рабочему месту».

А сама Маруся... Давно ли она, девочка из-под Можайска, боялась «запороть» станок, за «каждым болтиком» бегала к инженеру. Теперь она сама учит других. Теперь к ней приходят за советом.

В час стахановских уроков она объясняет сначала свои приемы у своего станка. Через несколько дней она идет по цеху, проверяя, как работают ее ученицы. Она подходит к станку, такому же, как ее собственный. Разница лишь в том, что ее станок — американец, а этот — советский подданный, рожденный у нас в Союзе, в городе Харькове, на станкостроительном заводе. Совсем молодой по счету станок: № 22.

На нем теперь работают ученицы Маруси Макаровой. И тоже по-стахановски.

Технический директор харьковского завода, приехав в Москву по делам, откровенно говоря, вовсе и не собирался на 37-й завод. Он согласился, и то под давлением, приехать туда «на часок». Но когда он увидал, как работает его станок № 22, как, работая на нем, девушки

достигают американского «потолка», шестисот пятидесяти процентов нормы, ему уже не хотелось уходить. Забыв все свои дела, он долгие часы провел на 37-м заводе. На другой день он приехал туда снова, привезя молодым работницам хризантемы. Пожалуй, это были первые девушки в его жизни, которым он так любовно, так нежно и радостно преподнес цветы.

С особым вниманием он глядел на Макарову. Он знал, что в то время, как в заводской лаборатории, еще только в порядке эксперимента, начали выжимать из радиально-сверлильного станка все его возможности, эта спокойная, смелая девушка по собственной инициативе уже проводила в жизнь то, что там задумали.

Когда Маруся вернулась со слета, к ней вернулось и ее спокойствие. Она осталась все той же Марусей. И все же она изменилась.

— Я хочу учиться. Я очень хочу учиться, — говорит она.

Раньше она этого не говорила и не чувствовала этого.

— Скоро я пойду в среднюю школу, — говорит она.

У нее на новеньком коричневом джемпере (на ней теперь все новое, купленное на «стахановские деньги») висит стахановский значок: на металлическом щитке высокие заводские трубы. Сверху, на соединении цепочек — профиль Сталина. Скоро рядом с этим значком вспыхнет орден.

— Скоро должны нам дать его, — говорит она, розовея. — Это ведь Иосиф Виссарионович предложил.

В те дни, когда про нее все узнали, когда зажглись лампы, защелкали «лейки», навострились вечные перья, загудели автомобили, — в один из таких дней Маруся вдруг увидала, что ее слава отнимает у нее очень много

времени. Что она, Маруся Макарова, «та самая», гордость завода, находится под угрозой снижения нормы.

Это было вечером. День прошел в почестях. Она возвращалась к себе домой с торжественного заседания, где сидела в президиуме в новом крепдешиновом платье и молочных туфлях. И вдруг она сказала шоферу:

— На завод.

И там, на заводе, как была, в нарядных своих туфлях, надев халат на шелковое платье и косо повязав косынкой по-праздничному завитые волосы, она стала к станку.

Леонид Саянский

Большевистская гордость

Это будет рассказ о гордости. О той прекрасной человеческой гордости, которая челюскинцам позволила играть в футбол на тающей в океане льдине, а коллективу Метростроя помогла в два года построить лучшее в мире метро. О большевистской гордости за свой класс, за прекраснейшую страну, им построенную.

I

Двести лет назад поодаль от убогой, деревянной Москвы, среди хвойных глухих чащоб Петр Первый построил бок о бок оружейную фабрику и тюрьму.

Эти толстостенные корпуса-близнецы на исходе прошлого века за бесценок купил текстильщик Шарыгин — делец, инженер и купчина. В мрачных сводчатых камерах он расселил безропотную, лохмотную толпу наемных рабынь, а рядышком, на холмах, построил свою ткацко-прядильную фабрику.

В те поры Москва уже широко расплескалась дымной пеной фабричных окраин. Железная дорога уже протянула на восток стальные параллели. Неподалеку от фабрики уже разбросались поселки и дачи. К началу нашего столетия в списках министерства промышленности значилась строчка:

«Михневская ткацко-прядильная фабрика, что близ Малаховки. Владелец Шарыгин».

Для бездарных имперских времен он был очень неглуп, этот самый «владелец Шарыгин».

Еще в 1912 году, отлично исчислив все выгоды, он переоборудовал свою фабрику выписными автоматами «нортроп». И первой в России его фабрика перешла на невиданные темпы и приемы работы.

Правда, ткачихам от этого было не легче. За работу на двадцати станках они получали от восемнадцати до двадцати рублей. То есть — максимум по целковому со станка за весь месяц. Да, «владелец Шарыгин» был очень неглуп.

С безответными, полуголодными рабочими он играл в

«демократа и свободолюбца» и даже не держал, как многие фабриканты, охраны из ингушей, но...

Но почему-то именно на фабрике он поместил свою знаменитую псовую охоту, а при ней полсотни надежных егерей — вооруженных до зубов усачей и свирепых ёрников. И в памятном пятом году эти самые ухари дружно хлестали забастовавших текстильщиков, не отставая от прискакавших на «беспорядки» казаков.

Все это не помешало владельцу и хитрецу в 1918 году молитвенно клясться перед пролетариями, пришедшими национализировать фабрику, что «он был всегда душою за рабочих».

Впрочем, клятвы не помогли. Предистория фабрики кончилась, а сама фабрика перешла к настоящим своим хозяевам. Среди новых хозяев была и ткачиха Фрося Илларионова — совсем юное существо, с волосами цвета спелой ржи и с ласковыми глазами. Что хозяйкой она станет не плохой, тому было два доказательства:

во-первых, она была потомственной ткачихой, дочерью ткацкой семьи, работавшей здесь же издавна;

во-вторых, Илларионова сама к этому времени легко и свободно справлялась с двадцатью автоматами.

II

— А грамоте меня научили советская власть и партия! — сказала, спустя много лет, ткачиха Илларионова.— И, веришь, хорошо научили!..

Дорога, пройденная ткачихой за семнадцать лет, победна.

Кузнец — нарком, слесарь — маршал, углекоп — орденоносец и мировой рекордсмен. Ткачиха, жмущая руку

Ефросинья Георгиевна Илларионова

вождя. Колхозницы-хлопководки и доярки — в президиуме собрания, рядом с правительством великой страны. Все это необыкновенно с точки зрения не только интуриста, но даже многих признанных мыслителей Европы.

Для нас — это путь миллионов. Ткачиха Илларионова, ныне мировая известность, прошла этим путем, через этапы, подъемы и кручи, какие преодолели и пастушонок Водопьянов, и Каманин, и многие тысячи именитых людей страны.

В 1924 году Илларионова вступила в партию.

Потом шаг за шагом:

Выдвижение и работа в фабкоме.

Учеба в центральной школе профдвижения.

Курсы пропагандистов.

Работа в союзе.

И снова, всегда и повсюду: учеба, учеба, учеба.

Суток нехватало. Дни, недели и месяцы словно ускорили бег. И каждый день расширял кругозор, обострял пробужденную мысль. Каждый день был чреват познаньем и опытом.

Урожай этих дней, этих напряженных лет сберегла и сумела использовать бывшая ткачиха, ставшая крупным профсоюзным работником области.

Днем она посещала текстильные предприятия. Ночами, с трудом отгоняя лишкую сладость сна, вчитывалась в речи, письма, статьи Ленина и Сталина. Динамит, скрытый в их строчках и фразах, взрывал старый, привычный мир представлений.

Новый мир во всей его многогранности и необыкновенные дали будущего открывались перед вчерашней ткачихой.

Воспламененная, она опять набрасывалась на работу, отдавая себя целиком. Она не просто работала. Она брала дело, как крепость, и чем трудней оно было, тем упорней дралась за его освоение эта тихая ржановолосая женщина.

Ткачиху хвалили, премировали. Она удивлялась:

— За что? Я же делаю свое дело. Ведь я — член партии!

В напряженном горении тех лет было множество побед и ошибок, радостей и ударов.

Бывало, приезжая по важному делу на свою старую фабрику, товарищ Илларионова под каким-нибудь предлогом заходила в бывший «свой» цех.

Зажав подмышкой папку с бумагами, она долго стояла у знакомого ряда станков.

Оглушительно грохотали нортропы. Бойкие рычаги, описывая молниеносные зигзаги, тоняли взад-вперед челноки с утком, — три четких удара в секунду. Размеренно качались над основой рейки ремизов, с человеческой ловкостью раздвигая нити основы для пропуска поперечной, уточной. Белые цилиндры готовой ткани толстели и набухали внизу под станком. Ременные струи пассов с шелестом катились вниз. Грохот и лязг отдавались в корнях зубов, давили на уши.

Товарищ Илларионова не замечала этого. Всем существом — слухом, взглядом и обонянием — впитывала она в себя мощный хорал сотен станков, влажность и температуру цеха, перебои в машинах, скольженье человеческих фигур между станками, — весь знакомый сызмальства, привычный мир.

III

В один из таких часов в том же цехе Илларионова, зорко глядя в проходы между станками, заметила то, на что не обращала внимания раньше, когда сама стояла у станка. Былые подружки-ткачихи работали, в сущности, неумело.

Они кидались к зашалившим станкам, торопились и кипятились, ликвидируя обрывы, ставя шпульки в опустевшие сразу барабаны. Потом под мерный гул они распивали чай, собирались кучками, хохотали, шушукались до следующего приступа спешки.

Работа шла лихорадочная, припадками, скачками — от безделья к жестокому напряжению и опять — к болтовне и чаепитию. Об этом и завела речь с подругами Илларионова.

В цехах попрежнему то «гоняли чаи», то бросались, как в атаку, к заброшенным и сразу зашалившим станкам. В кабинетах дирекции тоже «гоняли чаи», рассуждали благодушно:

— Что же? Нормативы мы выполняем. План — тоже!

На стенном календарике была четкая цифра: «1933». Но однажды весь старый цех всколыхнулся. Ткачихи, отрывщицы и зарядчицы зашептались взволнованно:

— Фрося-то! Илларионова-то!..

— Ну?

— Опять к нам... ткачихой!

— Врешь!? Где?

— Вон! Опять на станках!..

Сорок станков стояли железным, стрекочущим каре. По проходам, по очереди склоняясь к станкам, легко и

ловко двигалась знакомая всем ладная фигурка ткачихи Фроси. На графитном фоне рам залотились приметные ржаные волосы.

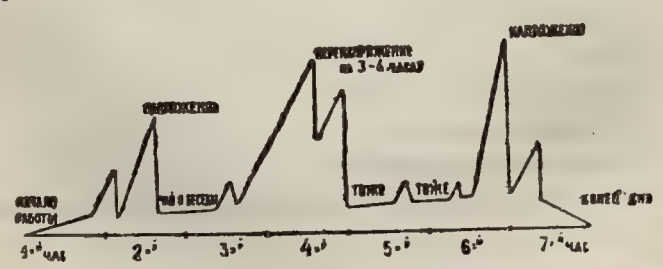
IV

В цехе все было, как прежде. Будто и не было восьми лет перерыва. Влажная теплота, настойчивый, как прибой, гул автоматов, льющийся свист ремней, черно-белый графитный рисунок машин.

Так же легко и уверенно скользила меж станками ткачиха Илларионова.

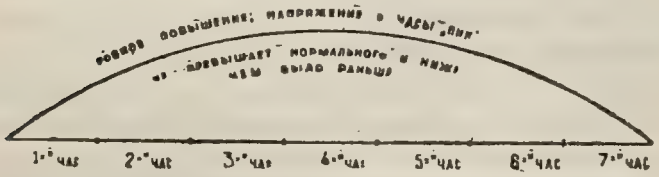
Нет, не так же! Еще легче. Еще увереннее. Восемь лет перерыва, годы учебы и профработы не только не отучили ее от любимого дела, — они дали то, чего ей нехватало когда-то: организованное мышление, серьезность и вдумчивость. Фрося знала теперь цену времени.

Сейчас она уже иначе, зорче, рассчетливее вгляды-валась в расположение станков, она молча подсчитывала шаги, расстояния и секунды. Она видела, что рабочий час разрыхлен и разбросан в неумелых, неэкономных движениях. Она уже мыслила чертежами, представляя себе изломанную кривую рабочего дня. Он графически строился так:



Задача, которую мечтала разрешить Илларионова, была проста, но трудна и почетна.

— Из кривой линии сделать ровную и пологую дугу:



Эту линию ей показал молодой инженер Ициксон, недавно пришедший на старую фабрику.

— Очень важно, — говорил он и привычно, не глядя на бумагу, чертил какие-то хитрые эллипсы и параболы, — очень важно работу поставить так, чтобы и самое сильное напряжение было меньше теперешних нервных бросков. Чтобы оно было ровным, нормальным, не выбивающим из сил. Да, наши нормы далеко отстали от победного марша страны!

Это было обидно, это было непереносно. С карандашами в руках инженер и ткачиха изучали причины отставания норм.

На бумаге — занумерованные «если»:

1) если обеспечить четкую и бесперебойную работу станков,

2) если обеспечить хорошее качество хлопка,

3) если обычный обрыв нити свести к десяти—двенадцати сотым на метр, то...

— Сейчас мы все это детализируем... — сквозь зубы говорил инженер.

Из трех «если» рождались задачи:

1. Хлопок подавать в сортировку только с паспортом.

2. Добиться максимального разрыхления и смешивания хлопка.

3. Эмульсировать смесью олеиновой кислоты, технического глицерина и каустика.

4. Высокое качество прочеса.

5. Увлажнение пряжи перед шлихтовкой, что улучшит проклеивание основы и ее крепость...

— Да, на базе сегодняшней техники мы все это можем сделать! — уверенно заявлял инженер.

Март тридцать пятого года истекал последней голубизной снегов. В перелесках по-весеннему кричали грачи. Шла весна — восемнадцатилетняя и цветущая. Весна шагала в ногу с победами. В городах загорались все новые блестящие витрины. На ворчавших когда-то ткачихах-товарках все чаще появлялись обновы.

Страна по утрам вставала с улыбкой, широко и облегченно вздыхала, расправляя молодые плечи.

Объявлено было всесоюзное соревнование на лучшее обслуживание ткацких автоматов.

V

Воля, плюс опыт, плюс техника — такова была победная формула, открытая знатной ткачихой.

Точнейший расчет, экономия силы, движений, секунд. Спокойное и уверенное внимание, заблаговременная подготовка сырья и заправка машин. Все это, помноженное на любовь к своему делу, было той силой, которая опрокинула отжившие нормы и расчеты.

Шестьдесят станков — как шахматные клетки — перед Илларионовой. На этой доске большой игры разрешала она впервые свой ткацкий гамбит.

Поле битвы расширялось. Скромный мастер превращался в гроссмейстера. К ноябрю у Илларионовой было уже сто пять станков.

И—что самое удивительное для ворчавших и хныкавших товарок! — они сами, увлекаемые пробужденной энергией, — они сами переходили на семьдесят и на девяносто станков. Цех постигал уже простой и гениальный секрет:

— Нужно ценить каждый шаг, каждый взгляд и секунду, сберегая и силы и время. Умело построенные график обхода станков и распределение подсобных сил позволяли это сделать свободно.

Нужно собрать волю в кулак, работать спокойно и равномерно, опираясь на технику и расчет. Тогда неуклонно, без всякого ненормального напряжения растет желанный коэфициент полезного действия.

Внушительная дробь — девяносто одна сотая — таков этот коэфициент на той стороне планеты, в Нью-Йорке, Бостоне.

Но Алексей Стаханов доложил в эти дни своей родине — шестой части планеты — о первой своей победе.

Ткачиха Виноградова перешла на сто сорок четыре станка.

Люди, заводы, города, края и республики соревновались в победах.

В эти дни невиданных рекордов «Правда» сообщала: «Догоняя стахановку Виноградову, работавшую на ста сорока четырех станках, Илларионова 22 ноября перешла на сто двадцать станков, 26 ноября — на сто шестьдесят и 28 ноября — на двести восемь станков».

За ноябрь 1935 года Илларионова «дала двадцать четыре тысячи метров ткани. Неполноценной было всего двадцать четыре метра. 1 декабря Илларионова перешла на двести десять станков».

«Коэфициент полезного использования станка у Илларионовой — девяносто шесть сотых».

На опрятном дубовом столе в новой квартире золотоволосой ткачихи лежали свежие газеты.

Ткачиха читала:

«Поздравляю с мировым рекордом работы на двухстах десяти станках. Только в стране освобожденного труда, где рабочие и работницы сознают свою ответственность перед пролетарским государством и знают, что они работают на себя, на всех трудящихся, возможны такие достижения.

Секретарь МК и МГК Хрущев».

Нарком легкой промышленности писал:

«Ткачихе Илларионовой.

Поздравляю с успехом работы на двухстах десяти станках. Особенно приветствую достижение девяносто шести сотых — коэфициента полезного действия станков.

Любимов».

В грохочущий цех с утра приходили инженеры и цитовцы, изобретатели, газетчики и фотографы. Подолгу и зачарованно смотрели.

Поражало почти до радостного испуга невиданное безлюдье. Двести десять станков деловито беседовали на стальном и гремучем своем языке, как будто предоставленные сами себе.

Лишь в размеренные секунды в проходе мелькали халаты зарядчиц, отрывщиц или фигура помощника мастера — настройщика.

И ровно в намеченные минуты, в намеченном графиком месте появлялась золотоволосая, спокойная женщина с похорошевшим от внимательности лицом. Она бережно и легко наклонялась к станкам, как к ребятам, иногда чуть касалась их пальцами, выправляя нить пряжи.

Наблюдатели быстро записывали:

«Бригада Илларионовой: ткачиха — одна, зарядчиц — пять, отрывщиц — две, подмастеров — два».

Перечитывали и изумлялись сочетанию цифр:

— Двести десять и десять!

В кабинете дирекции шло срочное совещание. Формировали третью смену из рабочих, освободившихся благодаря переходу на стахановский метод работы.

На «той стороне» планеты, в деловых конторах, за ярко желтыми щегольскими бюро в эти самые дни задумчиво сидели плотные, розовощекие, седые джентльмены. Перед ними лежали «Нью-Йорк Геральд», журнал

«Финанстиденде», подробные телеграммы из далекой Москвы. Корреспонденты «Геральда» подтверждали мировой рекорд ткачихи Илларионовой. «Финанстиденде», сдерживая тревогу, писал:

«Стахановская система приводит в самых различных отраслях производства к облегчению работы и повышению производительности труда».

Меланхолично и вежливо отметив, что «в других странах промышленные предприятия, как правило, пользуются повышением производительности, чтобы снижать зарплату рабочих», журнал еще более меланхолично признавал:

«Этого нет при стахановском движении, ибо здесь сумма заработной платы растет вместе с ростом производительности труда...»

У розовощеких седых джентльменов желваками ходили скулы. Раздумье сдвигало брови:

— Невероятно, но факт! В Совьет Унион догоняли, догнали и обогнали Америку.

Дробь девяносто шесть сотых звучала похоронно, гремела над опрокинутыми, когда-то неоспоримыми величинами.

Джентльмены качали седыми пробо́рами. Они не понимали:

— Какие еще запасы скрытой энергии таятся в далекой снежной стране?

— Что за сила позволила неведомой подмосковной ткачихе добиться цифр, рекордных для мира изощреннейшей техники? Что влекло ее все вперед и вперед?

— Миллиардное состояние?

— Звание пэра, сенатора?

— Мировая известность, приносящая семизначный доход?

Джентльмены не понимали, да и не могли понять:

— Ефросинью Георгиевну Илларионову довела до победы ее великолепная, большевистская гордость.

Гордость за свой класс, за партию, ее воспитавшую.

Ибо выше всех званий и титулов ткачиха Илларионова считает одно звание:

— Большевик.

Павел Лин

Творчество мастера

В Лондоне на гранитной набережной Сури-дока я познакомился с грузчиком Гарри Кенеди. Некогда он думал, что грузчик может быть известен портовой конторе, где получил несколько шиллингов за хорошую работу. Грузчика могли еще знать в таверне, куда он заходил, чтобы выпить кружку горького эля. Наконец, помнить его имя могла девушка, с которой он проводил воскресенья в Трафальгар-сквере.

Гарри Кенеди побывал в Стране советов. Это были дни его величия. Оказывается, грузчик, не изменяя своей

профессии, может быть известен всей стране, как первоклассная балерина, чемпион бокса, модный тенор, талантливый художник, знаменитый хирург, великий писатель или премьер-министр!

Вернувшись на родину, Гарри Кенеди вновь, но впервые с такой острой горечью, ощутил себя грузчиком, просто грузчиком, чернорабочим, почти ломовой лошадью.

Плечистый, громоздкий, он шел рядом со мной по набережной и мрачно говорил:

— Вы знаете, сколько груза перенесли мои плечи? На Сури-доке нет такого грузчика, как я. Небу стало бы жарко, если бы я захотел работать на хозяев во всю свою силу! У вас мой бюст выставили бы на аллее Ударников. А в Англии... Чорт меня побери, если я уверен, что у меня всегда будет здесь даже работа!

Темза беспокойно несла мутные свои воды. Низкое, пасмурное небо над городом исходило слякотью. Он поднял воротник и хмуро посмотрел на баржу, груженую хлопком.

— Вот... Я набил грузом эту лохань... Если бы я зарезал своего сына, газеты заработали бы на этой сенсации. Я прогремел бы на всю Британию. Ну, а если я только вожусь с грузами, жизненно необходимыми всей нации, плевать на меня Флит-стриту!

Он торопился на работу, и мы расстались.

В Подмосковном угольном районе я невольно вспомнил этого парня. По обе стороны снежной дороги густо разрослись сады. Когда-то здесь было имение графов Бобринских. Двое советских прохожих грызли яблоки. Я поймал отрывок их разговора:

— Ах, оставь! Уши вянут. Разве их можно сравнить с Бункиным? У Бункина есть спокойствие, этакая уве-

ренность, свой голос, верный глаз, мощь. Бункин знает, чего хочет!

— А ты думаешь, что Долгушин и Осадкин щи лаптями хлебают?

— Нет, почему же... Я этого не говорил... Они тоже очень талантливы... Но, понимаешь... Не тот размах, не та хватка, не та культура! К тому же Бункин еще не развернулся во весь свой рост...

Гарри Кенеди ничего не понял бы в этом споре. Его более образованные соотечественники подумали бы, что речь идет о различных течениях в живописи, представленных в местном зимнем салоне. Но в стране социализма творят и угольщики. Случайные прохожие проявляют удивительную осведомленность и об их творчестве. Сторонник Бункина с жаром продолжал отстаивать свои положения:

— Правда, Долгушин и Осадкин подняли добычу с двадцати до семидесяти восьми тонн угля. Но какой класс показал Бункин! Когда он стал только рубать уголь, освободившись от других работ, ведь дух захватило! Девяносто семь тонн... Сто семнадцать... Сто двадцать одна. А как растет заработная плата? Триста сорок четыре рубля... Четыреста девяносто пять... Шестьсот сорок три рубля... Каково, а?.. Секрет его работы...

Они свернули с дороги, и я не узнал творческих секретов мастера отбойного молотка.

В прежней графской усадьбе я с нетерпением ждал Петра Дмитриевича Бункина. Из широкого окна виден запорошенный снегом лес. Его густые массивы висят над крутизнами, сползают к подножью обрывистой горы. Здесь лениво течет тихий Дон.

В эти месяцы усадьба бывала пустынной. Сиятельный граф приезжал летом. Даже не стряхнув с себя дорожной

Петр Дмитриевич Бункин

пыли, он спешно и усердно принимался за важные дела. Он чертил круги на клозете, стоявшем в лесу. Графский револьвер стрелял по мишени. Вот он уже изрешетил стенки клозета. Тогда рысаки уносили графа из родового поместья.

Я смотрю в окно. Клозет снесен вместе с графом. Особняк превращен в дом отдыха. В лесу разбит парк культуры и отдыха.

Бывший граф, бывший особняк, бывший лес!

Новые дома протлядывают сквозь чащу парка. Шумит муравейник у нового здания школы.

Новый знатный человек, развалившись в санях, промчался мимо графского окна. Вороной рысак, взметнув хлопья снега, остановился у особняка. Петр Дмитриевич Бункин легко выпрыгнул из саней.

Он вошел в комнату, деловито, как столяр, присмотрелся к мебели и сказал шутя:

— Меня сегодня преследует граф. То я разгуливаю по его особняку, то натыкаюсь на его старую шахту. Да-да, рубал новый пласт и заехал в заброшенную графскую шахту. Рабочие ее называли «мышеловкой». Склеп! На подошве — какие-то чудные клинья, поддиры, кувалды. С такими инструментами варежки бы вязать, а ими уголь ломали. Конечно, и коптилку нашли. «Бог на помощь»— звали ее рабочие. Света никакого, а вони сколько угодно. От нее угорали. Она пачкала копотью. Рабочие выходили из шахты черными, как арапы... Посмотрел на все это барахлишко... Думаю, до чего же жуткая была работа!

Я видел эти орудия производства в краеведческом музее — бывшей церкви. Без крестов она стоит на площади. Некогда поп венчал здесь шахтеров. На них были новые суконные пиджаки и скрипучие хромовые сапоги.

Невесты в нарядных платьях выглядели еще богаче. После роскошной свадьбы наступали горькие дни. Муж и жена отрабатывали на пашне кулака взятые у него на прокат свадебные наряды.

Сейчас под сводами церкви читаются научные лекции. Молодые шахтеры с любопытством рассматривают орудия производства графской шахты. Особенно удручающее впечатление производит лампа «бог на помощь». Хозяева выдавали для лампы нефть и растительное масло. Но голодные и нищие шахтеры на масле пекли в поддувалах картофель. А в лампу шла нефть, дававшая ужасную копоть, гарь, смрад. Рабочие задыхались в шахте без вентиляции.

Двенадцать часов кряду шахтеры долбили уголь в забоях. На недели ускользал от них дневной свет. В угарных потемках подземелий проходила их жизнь. Она сгорала дымно, с вонью, как добытый ими уголь. Несколько вагонеток угля были плодом каторжного труда. Эта птичья норма калечила людей. Таковы законы капиталистической шахты.

Я смотрю на Бункина. Трудно предположить, что его руки сегодня выломали из пласта сотню тонн угля. Движения их легки и непринужденны. Ни тени усталости на моложавом его лице, чисто выбритом и свежем. Открытый выпуклый лоб и спокойные глаза.

Он рассказал мне, как впервые познакомился с механизмом отбойного молотка. Падал дождь, осенний, слякотный. Мутные потоки неслись по улицам поселка. Рабочие покидали шахту. По пути они забегали в мастерскую, где промывают и смазывают отбойные молотки. Они сгружали с плеч тяжелую ношу. Они спешили домой. Усталые ноги месили грязь.

Бункин остался в мастерской. Как у ребенка подле витрины, у него разгорались глаза. Они неотрывно следили за руками слесаря. Машины разбирались! В такие торжественные часы исчезает усталость, пропадает аппетит. Мелкие детали разобранных молотков купаются в керосине. Бункин стоит, склонившись над ними. Он изучает взаимодействие частей.

Когда рубят верхний пласт, нижний засыпается углем и становится недосягаемым, если вагонщик не успел вывезти уголь. Забойщики в таких случаях курят и разговаривают. Бункин разбирал молоток, повторяя курс, пройденный в мастерской. Он собрал механизм, но спиральная пружинка оказалась лишней. Ее некуда было всадить. Она никуда не лезла, окаянная!

Молоток затарахтел, как пулемет, шар ударял в пику— молоток работал.

Бункин вдумался в смысл событий. Он отпил глоток холодной воды. Спиральная пружина — не носовой платок. Ей надлежит быть не в кармане, а в автомате. У забойщика торжествующе заблестели глаза. Смекнул! Воздух беспрерывным потоком поступает по шлангу в молоток. И нечем остановить этот поток. И вот как раз пружина по желанию рабочего, ударяя в верхнюю покрышку, закрывает доступ воздуху. Нет воздуха, молоток задыхается. Автомат бездействует.

Пружина попрежнему не входит в молоток, но торжество не отменяется. Законные издержки учебы. Мастер исправит. Зато Бункин изучил молоток! Ему не нужно будет из-за мелкой поломки покидать забой и бегать за километр в мастерскую! Уже на второй день работы — он в числе немногих рабочих, изучивших автомат...

Так он «оседлал технику». Ему давно и кровно близок великий сталинский лозунг. Годы шли, но любовь к машине осталась. Любовь властелина машины, а не покорного ей раба.

Блокнот и карандаш бессменно дежурят в кармане Бункина. Он — врат старой российской кустарщины. Он думает, что вряд ли без карандаша рабочий может значительно увеличить производительность своего труда.

— Это мой второй отбойный молоток, — говорит он с серьезным лицом, размахивая карандашом. — И еще какую он дает выработку! Иной раз начертишь профиль пласта и лучше сообразишь, как его отхватывать. А давеча я записал для памяти, чтобы три новые лампы ввинтили. Десяток лишних тонн угля пошел на-гора. Освещенный забой — шутка ли! А подсчеты чего стоят?

Он перелистал блокнот, открыл страницу и тщательно ее разгладил.

— Вот тут у меня голенькие цифры, своя бухгалтерия расписана. Цифры как цифры, обыкновенные, с закорючками. А кое-что они сделали для развития стахановского движения в Подмосковном бассейне. Раньше у нас в бригаде все были универсалами, все были навалоотбойщиками. Скопом рубали уголь и скопом наваливали его лопатами на решетки, по которым уголь уже сам шел на транспортеры и дальше. Этак хорошо воду в ступе толочь! Я боролся за то, чтобы двоим только рубать, другим только наваливать, третьим за крепильным лесом ходить. Пусть каждый работает по своей квалификации. Консерваторы наши зашевелились: «Разве два забойщика

смогут дать настоящую выработку?» Однако, поработали разок по-моему. Не знаю, что получилось. Нужно подсчитать. Гляжу на кончик карандаша, а сердце от волнения, кажется, на породу выпрыгивает. Подсчитали все-таки. Оказалось, что два забойщика и пять навальщиков по новому способу выработали сто сорок тонн угля. «Ура!»— закричал. Ведь двенадцать рабочих, когда скопом работали, не больше восьмидесяти тонн выдавали на-гора. Раньше на каждого члена бригады приходилось по двести пятьдесят рублей, а ныне по шестьсот. Вот он, золотой подсчет! Да-а... Без карандаша и блокнота не обойдешься. Куда там! Хозяйство у рабочего теперь большое да какое еще сложное! Нужно умеючи к нему подойти...

Я открыл следующую страницу. Густая штриховка легла между извилистыми линиями профиля угольного пласта. Бункин раздумывал над чертежом. Мне показалось, что он заблудился в лабиринте собственных записей. Но в глазах его зажглись огоньки...

— Ага!.. Припоминаю... Тут у меня помечены пласты... Вижу, один юнец рубает сначала верхний пласт, а потом нижний. Если пласт мягкий, его легко срубить, конечно. Давление прекратится, и полегчает твердый нижний пласт. Он видел, что так рубал старый забойщик. Возможно, что тот и правильную линию держал. Однако, у этого молодца верхний пласт самым крепким и был. Значит, здесь нужно было, наоборот, сперва обработать нижний, мягкий пласт. И рубать тебе легко, и тяжелый верхний пласт потом сам в пустоту провалился. Вот рекорд и готов. Забойщик должен понятие иметь. Нет, иной не хочет соображать. Так кто-то рубал, так рубает и он. Так со времен царя Гороха и идут поганые привычки...

Бункин — враг застывших истин, старинки. Он начал свою карьеру с вагонщика — отвозил тот уголь, который

рубал забойщик Николай Петрунин. В то время вводилась механизация. Рабочие встретили ее с недоверием. Петрунин подчинился приказу своеобразно. Брал в забой отбойный молоток, прикреплял к нему шланг, завертывал инструмент в свой пиджак, а рубал обушком.

В свободную минуту вагонщик Бункин пытался орудовать молотком. Очень уж привлекательно, аппетитно выглядел этот чудесный механизм. Но Петрунин зло огрызался:

— Не трожь инструмент! Пущай лежит! Без шума обойдемся...

Странно... Что может быть радостнее шума машины? Сын кузнеца, выходец из шумного фабричного центра, недоумевал. Он не мог примириться с тишиной захолустья. Тишина наводила на него тоску и уныние. Привезенные машины взрывали эту затхлую тишину. Ему хотелось услышать их ритмичный гул. Когда Петрунин заболел, Бункин нажал клавиши чудесного инструмента. Начальник участка дружески похлопал его по плечу:

— Смотри, чтобы хороший вагонщик не стал плохим забойщиком!

Бункин не подкачал.

На следующей странице его блокнота я нашел лаконичную запись: «Бригадные расценки никуда».

— Действительно, моя рука тут... После стахановского движения бригадные расценки полетели вверх тормашками. Они не давали ходу забойщику. Пусть он хоть три нормы вырабатывал, зарплата делилась поровну между всеми бригадниками. Мы в бригаде дружно работаем. Но дружба дружбой, а табачок — врозь.

Секретарь райкома комсомола верит в карандаш Бункина:

— Еще бы! Человек исписывает блокноты, подсчитывает, работает над собой...

За движениями карандаша Бункина внимательно следит весь Донской район.

Я перелистываю блокнот славного отбойщика. Листки испещрены цифрами, чертежами, записями, непонятными и таинственными для стороннего глаза. В них — нормы выработки, графики зарплаты, колонки цифр угледобычи, достижения забойщиков, предложения по рационализации, весь процесс производства, кипучая жизнь — все!

— Начальник моего участка,— рассказывает Бункин,— ученый человек. Спорить с ним трудно. Он сыплет теоремами, аксиомами, предельными нормами... Крыть нечем! Я послушал, послушал, а потом полез в забой и нарубал сто двадцать одну тонну.

Бункин после рекордной добычи угля чувствовал себя превосходно.

— Я готов опять спуститься в забой. Нисколько не устал!

Эти слова Бункина цитировались в Донском районе, как стихи поэта. И это не было злоупотреблением цитатами. Ведь Бункин опроверг теорию предельных норм, опроверг без напряжения, сохранив порох в пороховницах. Ведь Бункин показал, насколько не уплотнен рабочий день в шахтах. Каждый забойщик увидел, что можно сделать в угольном пласте пневматическим молотком.

Сани мчались по крепкому насту. Пушистый снег слепил глаза. Храпел конь, преодолевая сугробы. Нависла

тьма. Бездорожье. Ухабы. Снег. Избушка. Метель. Темень. Ямщик. Ругань.

Старый российский конь! Знакомые былые мотивы! Чудится, едешь в прошлое.

Но с каждым годом все меньше удручает вас такая поездка. Одни радостные новые поселки пропадают, как версты, уже другие стерегут вас впереди. Вы мчитесь к ним, как заблудившийся в поле на огонек.

Конь понес сани на крутой подъем. Замерцали веселые огоньки. Заискрились снежинки. Небосклон раскалился докрасна. Казалось, огонь вышел из недр и уничтожил российскую рухлядь. Бревна не сохранилось от старой избы. Новые дома и громадная шахта стояли в сиянии огней.

Сани остановились. Дом был свеж, молод и чист, как его уборщица с упитанными боками и широкой гостеприимной улыбкой.

— Пожалуйста! — сказала уборщица, приглашая войти.

Я вхожу в общежитие для холостых.

Некоторые слова повергают в уныние. «Рабочая казарма», «общежитие»... Какие тоскливые и унылые слова! «Рабочая казарма» должна пахнуть онучами, отапливаться времянками, кишеть вшами, шуметь примусами.

Неужели этот превосходный дом с коридорной системой, чисто убранный, залитый огнями, — общежитие?

Мы постучались в комнату, где жили три шахтерки. Одна вышивала, другая заводила патефон, третья читала. Молодая шахтерка с энергичным лицом оторвалась от книги и торопливо спросила меня.

— Ну, как?

— Так.

— Все же?

— Да... вот...

Не понимая вопросов, я отвечал автоматически. Мой спутник, секретарь райкома комсомола, меня поправил:

— Мы еще не были в шахте.

Приезжие люди не умеют разгадывать местные ребусы. Шахтерку интересовали последние донесения с угольного фронта. В Донском районе не ждут вопросов, а кричат в телефонную трубку:

— До двух часов поднято на-гора восемьдесят тонн... Нет-нет, простите... Вот мне дают новую сводку... Уже сто двадцать одна тонна...

— Очень приятно. Но мне, видите ли, срочно нужен Тяпов. Его жена рожает.

— Ну, так бы и сказали раньше!

Шахтерка пожертвовала книгой. Я заглянул в страницу. Анна Каренина бросалась под поезд. Силы наших дней оторвали читателя от великой книги.

В некоторых заграничных гостиницах нет комнат под номером тринадцатым. Добропорядочный обыватель не поселится в такой комнате. «Чортова дюжина» принесет убытки хозяину гостиницы. Этот жупел страшен там, где пустует и комната под номером десятым.

Я еду снежной уличкой на советскую шахту № 13.

Перед спуском в забой я хочу переодеться. Меня шутя спрашивают:

— Вам что? Белые туфли и крахмальный воротничок?

Электрический свет заливает штреки. Потоки чистого воздуха промывают легкие. Отбойные молотки сверлят пласты. Решетаки, транспортеры, электровозы увозят уголь. Шахта дает полторы тысячи тонн угля ежесуточно. По научным расчетам, в декабре будущего года шахта должна выдавать на-гора две тысячи триста сорок тонн. Проектная мощность высчитана точно. Цифры пишутся пером. То, что написано пером, не вырубишь топором.

— Топором, действительно, не того... А отбойным молотком можно вырубить! — говорит Бункин.

И вдруг одна смена вырубила восемьсот тонн! Это превышает проектную сменную мощность шахты будущего года. Что под силу было Бункину, то вмоготу смене! Старые нормы... Тень! Ушедшее прошлое. Закрытая страница.

Сани проезжают мимо обрывистой горы. Здесь лениво течет тихий Дон. Могучая река у своих истоков едва дышит и узка, как ручей. Вот-вот ее силы иссякнут, доползет река до ближайшего перелеска и бесследно исчезнет у бурелома, занесенного снегом. Странно выглядит тихий Дон здесь, где шумит такая кипучая жизнь!

А. Крылова

Долюшка женская

Катюша, Катянька, Катерина Васильевна, разумная и пригожая рязанская хозяюшка, золотые руки. Невысокая, да ладная, да полная легкой и пышной полнотой деревенской молодки. Румянец играет во всю щеку — да такой, что еще недавно стеснялась из-за него на собрания ходить. Собрания на втором этаже, взбежит по лестнице и так раскраснеется, что даже стыдно: вдруг подумают, что нарумянилась. От румянца алого волосы еще темней, еще гуще. Губы полные, лукавые. Глаза карие, ласковые, и кажется, что чуть-

чуть раскосые (на самом деле — нет), и оттого, что так кажется, делается она еще милей.

Вот существо простое, преданное и милое, на судьбе которого с особой силой видно могущество нашего времени. Если б не было революции, как бы миновала Катя Фадеева долю горькую, безвестную, обидную — бабью долю? Кто бы знал о ней, кто б о ней песни пел, кто б величал ее на всю страну, куда б определила она ясную голову, к чему бы приложила золотые свои руки?

Рязань — земля тихая, росистая, просторная. Дух березовый, зеленый и томный от рощ и лесов по всей земле идет. И человек, когда бродит по рощам ее и лесам, сам проникается жарким и буйным березовым духом. Так и Катя, Катянька, Катерина Васильевна гуливала в веселой и тихой их зелени, сначала девчонкой босоногой и румяной, потом девушкой застенчивой и лукавой.

Плуталово село было бедное, и годы стояли тогда бедные, двадцатый год. Катюше лет еще не выходило, ей только шестнадцатый шел, а нужда была большая. Она слыла упорной, что задумает — своего добьется, взяла и по сестриным документам (три года ей набежало) на ткацкую фабрику в Зарайск поступила.

На работу она была горячая да спорая. Минуты дома без дела не просидит. За что ни возьмется, все так и кипит у нее в руках. Матери начнут своих девок бранить, или свекрови невесток попрекать, так всегда ее вспомнят:

— Вон у Катяньки Фадеевой руки золотые, а у вас — чисто оглобли. Один порок на девке — бедновата.

Бывало, Катюша дома с утра до ночи все моет, скребет, чистит. Бывало, легче ей недоспать, недоесть, а чтобы уж у них в избе полы были белы да выскоблены, как у иных не выскоблен стол. Рукодельницей тоже слыла она великой, хоть особенно и не в чем было ей руко-

Екатерина Васильевна Фадеева

дельничать: бедновата! Зато все, хоть бедное, да чистое, залатано, замыто — любо-дорого глядеть.

Была Катюша из породы тех русских деревенских женщин, на домовитости и твердости которых держится, бывало, весь дом. Бедность, хоть шаром покати, а ребята у них ходят всегда умытые, причесанные, и горница прибрана каждый день, точно к празднику, хоть и прибирать там нечего, и мужику своему, вконец замученному беспросветной нуждой, никотда не скажет вздорного бабьего слова, ободрит, приголубит и шуткой да лаской отведет от кабака. Может быть, опрятность, рукодельность и прочие домашние их качества были так сильны оттого, что врожденное их искусство и трудолюбие не имели иного выхода? Какие еще поприща, кроме мужниной жены, открывались для деревенской русской девушки, упорной и искусной?

На фабрике Катюшу поставили учиться к ткачихе опытной, ее тоже Катюшей звали. Катюша Фадеева заробела и попятилась. Стоял — вернее, непрестанно двигался — страшный шум, пол уплывал из-под ног, все, казалось ей, ходило ходуном и мельтешилось. Ей почудилось, что все так быстро и беспощадно крутится, что закрутит сейчас и ее. Катя старшая посмеялась над ней и поставила ее к станку. Она кричала ей в самое ухо, а Катюша только моргала и краснела все гуще. Тогда, отчаявшись, Катя старшая стала хлопотать на своем станке, решившись дождаться перерыва, когда поутихнет. Катюша стояла около, вобрав голову в плечи: как бы что сверху не сорвалось да ее не пришибло. Она посматривала наискосок, как Катя старшая привычно пускала станки, заряжала челноки, надвязывала и подвязывала нити. Катюша еще не знала, как все это называется, она видела только ловкие, круглые движения Кати старшей, и ей стало завид-

но: тоже девка на много ль старше, а как управляется. Выждав, когда Катя старшая отошла в сторонку пересмеяться с подмастером, Катюша кинулась к оборвавшейся нитке и, замирая от робости и смелости, ловко ссучила ее, точно ей приходилось заниматься этим каждый день.

В перерыве Катя старшая рассказала ей, что нужно делать, и приставила к одному из своих станков. Когда теперь на нем кончалась нитка и Катя старшая, угадав привычным ухом нарушение ритма, тянулась подвязать, Катюша сердито краснела и мотала головой:

— Сама справлюсь.

Постигла она всю нехитрую ткацкую механику быстро, и про нее завистливо говорили:

— Ишь, Катька какая у вас понятливая.

Катюша внесла в обхождение со станком всю присущую ей искусность, ловкость, спорость, опрятность и ту неутолимую жажду к труду, которую дома пыталась она залить мытьем полов, стиркой и рукоделием. Ткаческое дело очень ей понравилось: тут же сразу видно, как что делается. Были нитки, стала материя. Так и дальше она пойдет, материя. На платья, на простыни станет, никуда не пропадет, не денется. Не то, что полы: только вымоешь — опять наследят. И как ни пройдет заведующий, все видит, что Кате старшей Катюшу учить нечему, так та все сама и шпарит. Подружки ее, вместе с ней поступившие, еще отдергивали, точно от огня, пальцы, когда обрывалась нитка, а ее через две недели (полагалось обучаться месяц) поставили на два станка (полагался один). А еще через месяц определили на четыре, потом на шесть. Стала Катюша заправской ткачихой.

Катюше все нравилось здесь. И когда на престольный или еще какой праздник товарки звали ее погулять в деревню, побродить денек под духовитыми зелеными бе-

резками, уговаривали, что станки все равно за ними остануться (а на фабрике праздник тот не праздновался), Катюша с ними никогда не ходила. И за все время не было у нее самовольного прогула: мороз ли, дождь ли, сушь,— все равно идет после выходного пятнадцать верст из Плуталова в Зарайск.

Подговорила она с фабрики подружек, наняли они вшестером в Зарайске квартиру. Девушки жили тут не все одинаковые, были и неряхи, у которых руки ни к чему не лежат. А Катюша грязи видеть не может и без дела минуты не посидит. Как придет со смены, мигнет сестре, они вдвоем весь сор за всех вынесут, хозяйке дров натаскают, выпросят два лишних поленца, печка трещит, тепло, тихо, сидят до сна, чулки вяжут, мережки делают, чтоб ни минуты без дела не быть. Только рукоделием и занимались, парней у них и духа не было, за это хозяйка сильно их уважала.

А на фабрику придет — кажется, всю душу в работу вкладывает. Будто только одно это утешенье и есть у нее, одно утешенье, одна радость. Что бы у нее на песню или на ласку пошло, она — все сюда. Никого и ничего, кажется ей, на всем свете нет, одна работа любимая. План она всегда выполняла, что бы там ни было. Начнут ее хвалить, — она покраснеет только и скажет:

— А как же?

Премии тогда только появились, так ее два раза премировали. То деньгами, а то пятнадцать метров мадаполама дали (его тогда нигде не достать), нежный, что твой батист.

Выбрали ее тут в женделегатки. Была она очень стеснительная (еще от деревни осталось), на собрания всегда приходила за час, первая, чтоб никто не видал, как придет, как сядет, и никогда не высказывалась, хоть

всем интересовалась, — положительная, хоть и молодая, задумчивая, работящая. Так жила она, работала и грустила, но глаза ее все шире открывались на мир, и путь ей был уготован большой, путь женщины нашей страны.

В партию звали ее давно. По робости она уклонялась от великой этой чести, робела она искать свое счастье. Но она видела, как все счастливей, все уверенней становилась страна (шел тридцать первый год): тогда заканчивались Магнитострой и Нижегородский автозавод, был уже пущен Сталинградский тракторный, и волна коллективизации омывала все новые пространства. И ей захотелось не сидеть сложа руки для общего этого счастья, не быть к нему безучастной, захотелось доказать свою преданность ему. Она подала заявление в партию.

Катюшу в партию приняли, и сознание принадлежности к великому и всесильному целому, теплота сомкнутых в ряду плеч незримо присутствовала теперь в каждой ее мысли, каждом поступке. Это ощущение не позволяло ей больше стоять на одном месте, ибо это целое, эти ряды непрестанно двигались. И она уже меньше робела всего, потому что у нее было больше опоры. Разве раньше рискнула бы она учиться? Ей бы все казалось, что ее засмеют, станут показывать пальцем: на что, мол, пошла плуталовская девка! А сейчас с легким сердцем поехала она в егорьевскую совпартшколу. Мир раскрылся перед ней в книгах и лекциях, хоть и знакомый, но совершенно новый, более ясный, более доступный, ничуть не страшный. Многое передумала и переоценила она, прошедшее осветилось узнанным ею. Поняла, что счастье доступно у нас каждому, надо только стремиться к нему. Поняла, что чем счастливей страна, тем и она, Катюша, счастливей, и чем счастливей будет она, тем, значит, счастливей и страна. Ей захотелось начать новую жизнь. Посо-

ветовавшись с секретарем ячейки, она поехала в Москву, на Трехгорку.

Трехгорная, ранее Прохоровская, мануфактура [1]. Российский капитализм отличался своей молодостью, но качество это никак не было положительным. Эта молодость сказывалась в отсутствии лоска, наводимого на Западе на отношения между эксплоататорами и эксплоатируемыми. Фирма Прохоровых просуществовала сто восемнадцать лет, три поколенья. Прохоровы, у которых отец (для старших) и дед (для младших) вышли из деревенских кулаков-мироедов, ловчились еще по мелочи, откровенно надувая рабочих не только на фабрике, но и в лавочке. Они грабили еще без всякого расчета, по старинной мироедской привычке «урвать и удрать», точно разбойники с большой дороги. Они заставляли рабочих работать по девятнадцать часов в сутки, имея к тому же в обычае «заработанных денег без нужды не выдавать». В 1850 году женщины получали на всякой работе три рубля сорок три копейки в месяц, причем отсюда удерживались стоимость харчей — три рубля — и штрафы. Тогда же, как рассказывает «История Прохоровской мануфактуры», «особого помещения для ткачей не полагалось; получив себе стан, ткач расстилал на нем войлок и больше ни в чем не нуждался: ему и тепло, и сухо, и просторно».

Господа коммерсанты Прохоровы были еще сами «неумытыми рылами». По непривычке они еще не знали, как распоряжаться своим богачеством, так лестно и бесхлопотно дававшимся им в руки, стоило только попри-

---

[1] Приведенные ниже факты из истории Прохоровской мануфактуры заимствованы нами из книги С. Лапицкой «Быт рабочих Трехгорной мануфактуры».

жать до писка народ. То они покупают для украшенья собственной «фатеры» канарейку и два горшка с геранью, то приобретают впервые сюртук, то платят «за песни в трактире у Бабкина». За тридцать лет просвещенными капиталистами было куплено «три учебника и одна книжка законов».

Рабочие Прохоровской мануфактуры жили так плохо, что жизнь их даже страшно себе представить. Заменяя лошадей, они возили на себе десятипудовые валы. В ткацкой стояла дикая пыль, «ткачих всегда можно было узнать по их бледным, малокровным лицам, худобе; многие из них были туберкулезные», в красильне у людей шла пена изо рта. Рабочий день начинался в четыре утра и кончался в восемь вечера. Ткачихи вставали еще раньше и убирались по хозяйству и с детьми. Спали в казармах вповалку, на сплошных нарах. Мясо ели на пасху да на рождество, остальное время — черный хлеб.

Так жили люди. Разве могли они любить труд? А ведь они тоже имели право на счастливую, полную жизнь. У них тоже были способности, нуждавшиеся в развитии, были таланты к труду, которые могли создать многое. И все это сгинуло в Прохоровской мануфактуре, пошло ни за что. Были там и женщины, такие же искусные, трудолюбивые и старательные, как Катюша Фадеева, но стояло тогда тяжелое, дурное время, и не нашли они своего счастья.

А Катюша Фадеева живет в такое время, когда самый раз человеку расцветать. В этом времени и нашла она свое счастье. Сейчас живет она такой яркой жизнью, какую можно только пожелать каждому. И вся полнота ее теперешней жизни — от творческого труда. В нем-то и нашлось ее счастье. И на Трехгорке теперь говорят про Катюшу, что такой счастливой специально родиться надо.

А в Плуталове теперь идут в ее честь митинги, и, чего доброго, пожалуй, еще село именем ее назовут.

На Трехгорке, когда приехала Катюша в Москву, поставили ее работать на «каретку». Тут ее еще никто не знал, и все нужно было начинать ей заново. Она все мечтала о жаккарде и страшно завидовала ткачихам, имевшим эту квалификацию. Она не могла уже теперь успокоиться тем, что хорошо работает на каретке. Ведь она была в рядах, которые непрестанно двигались вперед, — должна была двигаться и она. И она все время учится по своей специальности, посещает кружки и технические занятия, сдает техминимум на «отлично»; и чем больше узнает свое дело, тем больше привязывается к нему.

Молодая, красивая, жизнерадостная, она живет очень чистой, очень трудовой жизнью. Она много и хорошо работает, много учится, на фабрике все ее любят, но прежняя милая, девическая ее застенчивость все еще сопутствует ей и она стыдится пышного своего румянца. Ее знают по всей ткацкой, она редактор цеховой стенгазеты, и девчата вечно осаждают ее просьбами о советах:

— Кать, у меня такой случай случился, куда мне итти, к директору иль к Северьяновой?

— Кать, ко мне мастер отнесся, помоги заметку написать.

— Кать, я хочу с парнем с одним расписаться пойти, что про это скажешь?

— Ну, в этих делах я не советчица, — скажет Катя и покраснеет.

Может, из той же застенчивости Катя не первая вошла в стахановское движение. Только в конце сентября, когда на Трехгорке были уже свои героини-стахановки, она собрала свою бригаду, и решили с шести платтовских станков перейти на восемь. Работали они на восьми станках

хорошо. Но вокруг уже переходили на десять станков, и Кате стало опять так же завидно, как когда она работала на каретке, а другие на жаккарде. Подумав хорошенько, она пошла к начальнику цеха и сказала, что хочет стать на двенадцать. Он согласился, но предложил пятидневку подождать, пока станки отремонтируют.

— Уж если ремонтировать, — сказала Катя и закраснелась, — тогда уж весь ряд, тогда уж я на шестнадцать стану.

И сразу ей стало очень стыдно. Не то, чтоб она сомневалась в своих силах. Нет, она была робка-робка, а технику знала на-зубок, и свои способности знала, и уверена была вполне, что справится. Ей стыдно стало, — это были остатки того плуталовского стыда, — что про нее люди подумают. Скажут, что хвастается. И, правда, кое-кто из товарок в столовой поговаривал, что ничего у нее не выйдет, едва успеет станки пускать да челноки заряжать, а кто нити заводить будет и за браком смотреть...

Катюша слушала, улыбаясь от смущенья и краснея, на другой день даже не пошла в столовую, но чувствовала себя правой, и ничто не могло остановить ее.

Двадцать третьего октября она пришла на смену. Шестнадцать станков ждали ее. Замирая от робости и смелости, как тогда, в первый день ее на зарайской фабрике, Катя двинулась по придуманному ею маршруту, пуская расположенные по обеим сторонам станки. Обратно она шла по скалам одного ряда. Потом опять между станками, заряжая челноки. Опять по скалам. Потом маршрут возобновился. Она не бегала, не суетилась, она делала все быстро, но спокойно, в порядке очереди. Если обрывалась нить, когда она заряжала челнок, она кончала зарядку, намеченную в плане маршрута, и только

тогда подвязывала нить. Если обрывалось больше пяти нитей основы, она звала бригадира: это было уже его дело. Щетка для чистки всегда была возле нее. На четырнадцати станках у нее шел эпонж, на двух — маклино. Она дала за смену норму по всем станкам, выткала двести девяносто два метра, обслужила двадцать пять тысяч основных нитей. Щеки ее пылали. Может, первый раз за всю жизнь ощутила она себя совершенно счастливой.

Она так и сказала потом, на приеме московских стахановцев у Хрущева, что со стахановского движения началась ее жизнь, что в нем нашла она полное свое счастье, расцвет всех своих способностей. А впереди ждала ее еще огромная радость, о которой даже не мечтала она, хотя у нас можно обо всем мечтать и всего достигнуть, а эта радость была даже выше самой высшей ее мечты. Впереди ждал ее орден Трудового красного знамени.

Вот женщина, простая, преданная и милая, на судьбе которой с особой силой видно могущество нашего времени!

М. Залка

Валя Сергеева

На Тихвинской улице девчата раньше росли бойкие и озорные. Жила тут до революции извозчичья беднота. Бутырки, застава — окраина. Девчата росли в уличной пыли, обкуренные с самого раннего детства мужицким похабством, омытые собственными слезами. А слезы лились от обиды — не от радостей.

Девчата шли по разным путям: кто замуж, кто в мастеровщину, кто на бульвар.

Валя Сергеева выросла на Тихвинской и рано приложила руки к работе. Профессию ей выбрала жизнь. В

одиннадцать лет пошла она вышивать ризы. Церковный товар, поповские украшения. Золотые нитки, грошовый толк.

Смешно вспоминать!.. Смешно и чуть-чуть грустно. Иголка мелькала, гнулась молодая спина, под руками блестела пестрая мишура — церковная роскошь.

Но вот постучался в московские ворота Октябрь.

Была Валя крепкой, ловкой, работоспособной девчонкой. Со взрослыми застенчива, с подругами озорная, боевая. Здесь она чувствовала свое превосходство.

О революции думала мало.

— Конец войне, — говорили кругом, — и то слава богу. Но что дальше будет? Большевики взяли власть, сдержали слово насчет войны, но что-то дальше будет?

А дальше большевики Бутырского района взяли и отделили от тюрьмы большой четырехэтажный корпус, отгородили его от дома заключения и основали швейную фабрику № 3.

Сергеева поступила туда в день основания. Шили в то время что было нужнее всего. Шили из бязи красноармейское белье, телотрейки, фуфайки. Шили настоящие гимнастерки, шаровары, лихие суконные галифе. Шинелей нашивали — три армии одеть, и то останется.

Шла гражданская война. Тюрьма рядом была набита контрой. Машинки в те времена шли от ножной педали. Работали больше вручную, о моторе еще думать было рано. Но работалось во-всю. Рабочие швейной фабрики чувствовали себя непосредственным тылом Красной армии, обозом боевого распорядка. Ведь они одевали армию, они одевали вооруженный народ!

Обломки, осколки тех, с кем боролась на фронтах революция, глядели на них сквозь решетки окон Бутырок

злобными глазами, осыпая отчаянной похабной руганью все живое, красное. А они были красные. Красные швейники. Мосшвейпром № 3.

Сергеева забыла о золотых нитках. Нитки менялись. Шли белые на рубахи и кальсоны, черные на галифе, шли серые на шинели и защитные на лихие командирские френчи. Всякие нитки были. Но эти нитки оказались прочными. Они навсегда связали судьбу Сергеевой с революцией.

Сергеева приобретала квалификацию. Шила белье, шила и брюки, гладила, утюжила, пришивала пуговицы, обметывала петли. Была и приемщицей и браковщицей. Не то чтобы сама за все бралась, — жизнь заставляла, работа требовала.

И так шли годы, менялся товар, менялись фасоны. Во времена нэпа перешли с шинелей на пальто, с рубах на блузки, на юбки, на костюмы. С тюремным соседством было покончено. Трест выстроил в 1931 году в конце Масловки, в Петровско-Разумовском проезде, шестиэтажный светлый корпус, и сюда переселилась фабрика. Набрали новичков, учеников и учениц, и все пошло по-новому.

Все пошло по-новому, потому что фабрика перешла на моторные машинки, на новые модели быстрых, сложных машин. То, над чем раньше портниха часами гнула спину, от чего темнело в глазах к концу смены, машина пробегала в несколько секунд.

Возьмите, например, «модель № 7». Это крохотная машинка, но как она работает! Она стегает лацканы с дьявольской быстротой. А «класс 81»? В одну секунду проделывает получасовую работу, обметывая край, чтобы он не вытрепывался при носке. А вот «класс № 71 и 99» — это уже целые фабрики: они режут, они же и

Валентина Георгиевна Сергеева

шьют, и петли обметывают. А простая строчная машинка, когда ее пустишь на полный оборот!.. Ни один пулемет не сравнится с ней по быстроте: тысяча восемьсот оборотов и более.

Умные бывают машины!

Новая фабрика оборудовалась по-новому. Паровые прессы, механические утюги и конвейерная система. В годы фабричной практики Сергеева прошла все эти агрегаты, все модели и освоила их.

Но много было и трудностей. Сперва применяли вертикальный способ. На фабрике царила сутолока. Постоянная беготня по лестницам. Одна операция на третьем этаже, другая — на шестом, следующая — на четвертом и так далее. Это был нелепый, технически неграмотный конвейер. Потом перешли на горизонтальный способ. Нынче каждый этаж-цех заканчивает процесс работы в целом. Это улучшает качество, ускоряет работу. На каждом этаже-цехе полный хозрасчет.

В тридцать втором году Сергеева решила вступить в партию. Подала заявление, ее приняли. Приняли и поговорили по душам.

— Ну, Валя, ты теперь партийка, должна подавать пример. Присматривайся внимательнее к делу, разбирайся глубже.

Началось ударничество.

Валя стала ударницей. Работала за двоих. Работать она всегда умела, но не всегда разбиралась в сложных обстоятельствах текущей политики, и поэтому бывали у нее и срывы. Но партком терпеливо и настойчиво учил, критиковал и дружески наставлял Сергееву. И эта выучка сказалась. Сергеева изучает и историю партии и обще-

образовательные предметы. Упорно накопляет она знания и большевистскую выдержку. И в театр чаще стала ходить, книги Горького читает, и дочь, отличницу учебы, пионерку, воспитывает!

И вот растет человек на глазах. Хорошая женщина, хорошая работница.

Новая светлая фабрика весело гудит. Она уже хорошо освоена. Давно преодолен вертикальный «конвейер». Прекратилась беготня по лестницам, сутолоки и следа нет. Операция идет за операцией, из рук в руки, по горизонтальному конвейеру. Дальше, дальше... из материального склада через руки рабочих в склад готовых изделий.

И в цехах нет сутолоки. Диспетчеры на месте, вывешивают сигналы. Раз-раз. Начальника цеха вызывают к такому-то. Где-то задержка. К прессу вызывают монтера, что-то надо исправить. Никто не бежит за начальником цеха, никто не мчится за монтером. Сигнал, телефон. Без шума, два слова, номер и точка.

Хорошо! Это — техника. Техника, которая освоена. Величайшее удобство в работе.

Начальство все свое. Директор — портной, председатель профкома — портной, секретарь парткома — работница, участница чапаевских походов. Есть с кем поговорить, есть куда обратиться. Справедливость — это тоже удобство.

Лето в прошлом году было дождливое. К концу августа дожди утихли, погода прояснилась, и в первых числах сентября наступило лето.

В такую пору хорошо работать в утренней смене. В ясное утро тянет на улицу. Приятно выходить чуть-чуть раньше, чтобы до работы подышать чистым, свежим воз-

духом. До трамвая пять минут ходьбы, да и того меньше, и Тихвинская улица в ранний утренний час кажется совсем деревней.

— Стаханов, Стаханов!..

Вчера в парткоме было много разговоров о Стаханове. Вот парень, донецкий шахтер, показал класс! Это не просто ударничество, не только соревнование, это гораздо больше.

Думая о слышанном и прочитанном, Сергеева ощутила какое-то беспокойство, беспокойство не тревожное, а приятно волнующее, возбуждающее.

— Ты, Валя, смело можешь стать стахановкой, — сказала секретарь парткома. — Ты энергичная, инициативная женщина, машины знаешь хорошо и технику, можно сказать, в своем мизинце носишь.

Сергеева покраснела.

— Может быть, и верно?

Утро было сырое, от тротуара тянуло свежестью, чуть-чуть знобило. Сергеева прибавила шаг.

— Не просто соревнование, не просто ударничество, а техника, освоение техники... рекорд... И не только рекорд...

Волнение не проходило, а подступало все ближе и ближе к сердцу.

Сергеевой овладело приподнятое настроение. Захотелось поскорее попасть на фабрику, подняться на лифте на шестой этаж, стать к своему столу, включить электрический утюг...

В то время Сергеева работала на утюжке бортов дамских пальто, на утюг перевели ее недавно с мотора. На утюге работа шла хорошо, но все же не так, как надо. Валя работает ровно, точно. Утюг в ее руке скользит

быстро, уверенно. И где ее утюг прошел, там гладко, крепко, дотлажки не требуется. Свою операцию она делает вдвое скорее, чем другие. Даже мужчины отстают от нее. Раньше приходилось часто стоять, ждать, пока подползет по конвейеру очередное пальто. Теперь Сергеева организовала работу так, что простоям конец.

И вот в это утро у Сергеевой родилась идея: попросить к утюжке еще одну операцию. Ну, скажем, соединить утюжку с обрезкой борта. Вместо одной — две операции. И тут же, в трамвае, по дороге на фабрику, она прикинула:

— Сумею ли? Хватит ли сил и времени?

— Хватит! Должно хватить. Надо попробовать. Надо, как Стаханов, взяться как следует и ударить техникой. Ладно! Как только приду, попрошу начальника цеха. Если он заупрямится, позвоню в партком.

Перед ней ясно встала цель: испытать себя, показать пример и подтянуть остальных. Потянуло к работе. Так сильно, неудержимо, как тянет к отдыху после тяжелой смены. Решение ее было твердо.

Начальник цеха не возражал. Можно попробовать. Вот только стол надо будет немного расширить для поворота пальто.

В это утро Сергеева вместо одной операции взялась за две. Многие в цехе это заметили, подходили, смотрели, как она справляется. Сергеева работала сосредоточенно, размеренно. Рядом с утюгом у нее лежали большие бортовые ножницы, обращение с которыми требует особого уменья. Пальто приходили к ее столу одно за другим, но не скоплялись, не задерживались. Сергеева работала, и операции шли уверенно, точно, без остановок.

Подружки удивленно переглядывались.

— Ата! Валя в стахановки метит.

Начальник цеха то и дело останавливался у валиного стола, смотрел, подсчитывал. Улыбался и качал головой. Перед второй половиной смены Сергеева пригласила его к себе. Не прерывая операции, сказала через плечо:

— Ты устрой так, чтобы у меня грелось два утюга сразу, а то один может испортиться, и тогда выйдет задержка.

Начальник цеха быстро ушел, и во второй половине смены перед Сергеевой уже стояли два утюга.

В этот день Сергеева превысила свою норму на двести процентов.

В цех к Сергеевой пришел директор фабрики товарищ Никулин, пришел его заместитель Козлов, пришла секретарь парткома, пришли из фабкома. Все подходили, смотрели, не отрывая от работы, тихо переговаривались между собой.

Тем временем Сергеева следила только за одним: чтобы не скоплялось продукции, чтобы операции не задерживались и работа по качеству была не хуже, а может быть и лучше.

В ее руках мелькала картонная форма борта, мел уверенно скользил по материи, потом сверкали тяжелые ножницы. Чик-чик, готово! Выплывал горячий утюг и проходил по материи. Раз-два-три. Приемы рук быстрые, осмысленные, энергичные. И так всю смену, без устали. Когда после смены Сергееву пригласили в партком, то первым делом задали вопрос:

— Ну, как, Валя, очень устала?

— Да нет же, — сказала она и покраснела. Она видела устремленные на нее восхищенные, ободряющие взгляды и почувствовала какую-то особую теплоту.

Сергеева не собиралась стать героиней, она хотела испытать свои силы, свое умение и нашла ту радость,

какую дает подлинный благородный героизм, героизм социалистического труда. Но сейчас же возникло беспокойство.

— Как остальные, как подружки, как товарки? Что они скажут? Как воспримут?

— Их надо подтянуть, надо увлечь за собой, надо им разъяснить смысл работы по-новому.

Но не все далось сразу. Подружки воспринимали почин Сергеевой по-разному.

— Зачем норму перерабатываешь? — открыто ворчали некоторые.

Сергеева слышала эти упреки, и ее одолевали сомнения. Но другие товарищи смотрели на нее ласково:

— Молодец, Валя. За тобой, пожалуй, не угонишься.

И в фабкоме говорили:

— Не робей, товарищ Сергеева, объясняй: за превышение нормы платим особо, превышение нормы не влечет за собой понижения зарплаты других.

Валя чувствовала себя увереннее, сомнения ее рассеивались.

Потом нашлись подражатели среди работниц и рабочих.

Собирали летучки, разъясняли смысл стахановского движения: личное и общественное дополняют друг друга. Но лучше всего разъяснила получка. Раньше Валя получала сто сорок рублей за полмесяца, а в этот раз получила двести десять.

Митинги стали многолюднее, в цехах появились красные флажки с надписями:

«Работаем по-стахановски».

Валя начала, остальные подхватили, перекрыли, поставили новые рекорды и искренно поздравляли друг друга — дело общее. Цехи загудели. Все у станков, у машин, работа идет сосредоточенно, общим темпом, под общим контролем. Всякому лестно вступить в бригаду, которая объявила себя приверженкой стахановских темпов.

А потом произошло то, чего никто не ожидал. К столу Сергеевой подошел сам директор и сказал:

— Валентина Георгиевна, бросай, милая, работу, поедем.

— Куда?

— В Кремль, на слет.

Сергеева ушла. На ее место поставили сначала одного рабочего, но он не справился. Вокруг него сгрудились горой пальто. Тогда поставили на подмогу другого. Взялись вдвоем и еле-еле справились. Шуткам и смеху конца не было. Одну женщину двое мужчин заменить не могут! Ха-ха-ха! Вот что значит стахановка! Но весь агрегат работал с большим подъемом. Все ликовали: их Сергеева приглашена в Кремль, поехала вместе с директором. Раскрасневшаяся, взволнованная простилась с товарками.

— Смотри, все подмечай, после нам расскажешь.

Сергеева — в Кремле. Белый дворец — мрамор. Президиум, как на фотографии, только все живые, разговаривают, смеются. Вот он, любимый Сталин. А вот и Ворошилов с Кагановичем, подходит Молотов... Орджоникидзе... Хрущев...

На скамейках народ, большинство молодежь. Рослые, крепкие. Который из них Стаханов? Где Бусыгин, Кривонос, Виноградова?

Один за другим выступают ораторы. Их приветствуют

горячими, бурными овациями, каких никогда не бывает в театрах.

Какие похвалы, какие теплые, сердечные слова! В какой тишине говорили вожди!..

— Я многое поняла и чувствовала настоящую радость, — рассказывает Сергеева. — Это был праздник нашего успешного труда. Нас чествовали. Но, конечно, сразу всего не поймешь.

А в конце говорил товарищ Сталин. Я следила за ним, ждала, что он скажет. И он сказал то, чего мы от него ждали. Так ясно, так просто, как будто беседуя с нами. Говорит товарищ Сталин не спеша, после каждой фразы останавливается, поэтому его легко понимать.

И вот поняла я из его речи, что мы, стахановцы, работая по-социалистически, должны пополнять свои знания и не останавливаться на достигнутом.

Я поняла, что стала передовой работницей, но не останусь ею, если не поведу за собой остальных, помогая им своим примером и опытом. Мы сделали почин. Это я поняла из заключительных слов вождя:

«Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?» *(Сталин)*.

Мы продолжаем беседу с Сергеевой.

— Я вот еще что хотела сказать. Насчет Хрущева Никиты Сергеевича. Собрал он нас — швейников, ткачей,

шоферов, слесарей, железнодорожников. Говорил он с нами не так долго. Только не пойму я — вроде он на всех фабриках Москвы каждый день бывает, до того работу каждого знает точно.

— Вы, — говорит он нам, швейникам, — плохо пуговицы пришиваете. Да и шьете вы еще не всегда складно. А надо ведь так шить, что если у кого-нибудь от природы фитура неважная — так его одеть, чтобы на него смотреть приятно было.

— Вот так произошло это у нас, — говорит мне один из руководителей фабрики. — Почему Сергеева? На это я не смогу вам ответить. Сергеева была хорошей пролетаркой, прекрасной работницей, но разве у нас мало таких? Никто бы не угадал в Сергеевой героини. Она была всегда застенчивой, молчаливой и числилась у нас малоактивной. На собраниях никогда не выступала. Ее бойкая натура сказывалась только среди подружек. С ними попеть, пошутить она всегда была непрочь. И вдруг она раскрылась перед нами удивительным, неожиданным сюрпризом.

Как будто подменили человека. В несколько дней она выдвинулась у нас в передовые работницы трехтысячного коллектива.

Она растет на глазах. Выступает. Раньше всегда отмахивалась: «Не умею я говорить». А после слета сделала доклад перед сменами, и так складно, осмысленно, такими правильно построенными фразами полилась ее речь, что, слушая ее, мы только удивлялись.

Мало того, она стала у нас организатором всего стахановского движения. Заботится она и о повышении своей квалификации, посещает курсы усовершенствования. Она

учится на мастера и будет мастером незаурядным, — это ясно.

Она толково рассуждает и политически правильно формулирует свои мысли. Мы уже привыкли и не удивляемся. Мы ждем. Завтра в нашем кругу появится еще кто-нибудь, о ком и не думаем.

Татьяна Тэсс

Происхождение мастерства

На строительство в Кузнецке приехал из Америки каменщик по фамилии Ланге. Это был человек знаменитый. Он прославился в Кузнецке как удивительный мастер своего дела. Точность и быстрота его движений поражали. Кладка его была безукоризненна, он работал легко, спокойно, — тяжелое напряжение труда в нем было заменено какой-то сухой и деловитой внутренней сосредоточенностью.

Учиться у него было не просто, настолько своеобразной была вся его рабочая ухватка. Труд его оплачивался на

Кузнецкстрое по очень высокой цене: расчет с ним производился в золотой валюте. Он получал зарплату золотом так же, как приглашенные на строительство известные американские проектировщики, с их богатством точного воображения, с их опытом, знаниями и талантом безупречного расчета. У простого каменщика был свой талант — у него были талантливые руки. Его труд стоял на очень высокой ступени.

Каменщики молодого строительства глядели на американца во все глаза. Он перекрывал в два, а то и в три раза все обычные рабочие нормы. Азарт соревнования пробуждался в строителях, но вступить в борьбу с американцем было трудно. Слишком разной была техника труда. И вот здесь-то начинается рассказ об американце Ланге и советском каменщике Самарине.

Рассказ очень прост. Вероятно, на любом нашем строительстве происходили события схожие с этими. Мы привыкли бороться и побеждать, это не вызывает в нас удивленья. И случай этот интересен и важен не для биографии строительства, не для большой и торжественной летописи о создании завода. Событие это интересно для биографии Самарина, простого каменщика нашей страны.

У Самарина была своя слава. Среди каменщиков он слыл мастером дела. Он был уверен в собственных силах и вызвал американца на проверку, нимало не волнуясь. Ланге не привык к подобным соревнованиям, такой трудовой азарт показался ему излишне романтичным. Тем не менее, он вызов принял. И он обогнал советского каменщика, как хотел, уложив шесть тысяч кирпичей за восемь часов, оставив далеко позади красного, потного, уязвленного соперника.

Это не было позором, но это было очень неприятное пораженье. Поразмыслив, Самарин упрекнул себя в излиш-

Петр Куприянович Самарин

ней самоуверенности. Он рассчитал только силы, — расчет был слишком груб. Американец владел особой техникой, драгоценным и мудрым расчетом движений. Их силы были равны, — не равны были опыт и уменье.

Самарин попробовал работать иначе. Он тренировался, как боксер перед состязаньем. Ежедневно после работы он ходил в лабораторию строительства и воспитывал в себе новую манеру движений, новую рабочую повадку. Он искал формулу своего труда, точную и решающую. Он определял кратчайший путь для каждого движения, проверяя свой расчет. Хронометражист стоял рядом с ним, отмечая сроки всех процессов.

И, наконец, наступил день, когда Самарин вновь вызвал американца на соревнованье.

Это уже не было рядовой встречей двух мастеров, — это было почти торжественное состязание. В дальнейшей жизни Самарина это событие сыграло серьезную роль. Дело было не в победе, хотя он и ждал и требовал ее от себя с замиранием сердца. Основное было в том, что труд — смысл и устремленье его жизни — начал обогащаться культурой, возмужал, окреп, вооружался новой, созданной и осмысленной им самим техникой. Она была еще несовершенна, но это было уже начало нового пути.

И вот соревнование началось.

Самарин и Ланге вышли на строительную площадку, трое подручных стояли за спиною каждого. Кирпичи и ящики с раствором были возле них, шнур обозначал место, где должна была вырасти стена соревнованья. Внимательная аудитория окружала соревнующихся. Поглядеть на их работу пришли начальник строительства, секретарь райкома, инженеры, техники, иностранные специалисты, мастера, каменщики. Противники стояли ря-

дом, с великолепным спокойствием оглядывая мир. И, наконец, взглянув на часы, они начали работать.

Американец работал, как машина. Сухой и свежий, он с чудовищной методичностью и быстротой клал кирпичи. Трое подручных еле успевали за ним. Он работал спокойно, четко, с удивительным хладнокровием.

Самарин горячился. Он быстро покраснел, на лице его выступил крупный пот. Он работал нервно, волненье расхищало его силы, в движеньях была излишняя порывистость. Искоса он поглядел на американца. Тот стоял свежий и розовый.

«С чего это я так кидаюсь? — подумал Самарин (так он рассказывал нам потом). — А ну, давай спокойней... А ну, давай с холодком...»

Он вытеснил из своих движений суетливость, не потревожив в них быстроты. Силы стали расходоваться экономней, он почувствовал себя уверенней. И это было последнее, что он перенял у американца, — хладнокровие.

Через восемь часов специальная комиссия принимала работу. Здесь выяснилось:

Американец Ланге уложил за восемь часов шестнадцать тысяч четыреста кирпичей.

Советский каменщик Самарин уложил за это же время семнадцать тысяч триста два кирпича, перекрыв американца почти на тысячу штук.

...Был тысяча девятьсот тридцать третий год.

Часто один поступок определяет дальнейший путь человека. Как складывалась вначале жизнь Самарина? К

ней стоит вернуться, если мы хотим дать краткую историю его труда.

В начале войны 1914 года в Москву приехал старик-каменщик с сыном. Сын был самый младший, было ему в ту пору лет пятнадцать. Отец определился на строительство Рязанского вокзала. Люди были нужны, — у отца спросили, не может ли работать с ним сын.

— Да, пожалуй, внутри может, — сказал старик, подумав. — А с фасаду еще нет, никак.

Так и начал сын работать. Он был каменщик по происхождению, по воспитанию. Потомственный строитель.

Со своей работой он освоился быстро. События сложились так, что отцу скоро пришлось вернуться в деревню. Сын остался в Москве один. В шестнадцать лет ему довелось узнать простую и горькую вещь — одиночество в большом городе. На всех огромных и чужих улицах у него было только одно родное место: строительство. К кирпичам, к строительной пыли, к перестуку молотков он шел, как в свой дом. Здесь он уже знал, что к чему. Наконец, знакомый подрядчик взял его на строительство Александро-невского собора. Он работал без денег, за обед и чай. Он рос, работа спорилась у него все лучше. Но на третьем году его жизни в Москве с ним произошло несчастье.

Уже было возведено четыре этажа нового дома, он работал на самом верху, укладывая арку, в которую должно было войти и засиять окно. Неловко повернувшись, он сорвался с карниза. Слабо ахнув, он полетел вниз, растопырив руки, сгибаясь и ворочаясь в воздухе, как кошка. На секунду ему показалось, что это сон, знакомое всем с детства страшное и томительное паденье во сне. Потом вдруг раздался удар такой силы, что он потерял сознанье.

На высоте второго этажа выдавалась вперед железная балка. Падая, Самарин зацепился за нее одеждой и повис. Он летел вниз уже с такой скоростью, что сопротивленье балки как бы вытянуло его всего, сдвинув с места все суставы. Его свезли в больницу, он пробыл там шесть месяцев, один, как щенок. Его никто не проведал, хозяин не дал ему ни копейки на леченье. Веселый каменщик, певун и задира, он одиноко ползал по больничному саду на костылях. Так он узнал, что такое обида и ожесточенье.

Став на ноги, он уехал в деревню. Уже грянула революция, — он не узнал своего села. Его сверстники и товарищи шли в партизанские отряды. Он ушел вместе с ними.

Это была новая его судьба — драться за революцию. Он прошел много путей в этой борьбе. Он прятался в лесу, он лежал под мостом, стреляя из отбитого у противника пулемета. Он бился с Махно. Он узнал поля Украины и леса Гомеля. Из партизанского отряда он перешел в регулярную Красную армию. Он воевал под командой Гая, был бойцом первой восточной армии, шел на Колчака, был ранен в бою под городом Орском.

Гражданская война была первым серьезным его воспитателем. Мир определился, туманные очертания приобрели точность. Самарин уже знал, кто друг и кто враг, он знал цену крови, тяжело стекающей на жесткую от копоти траву. Строитель, он научился страшному искусству разрушенья. Он видел дома, лопающиеся от взрывов, стены, взлетающие вверх, слышал грохот разрушаемого камня.

Но война кончилась.

Первая трава сердобольно прикрыла нищету земли. Оглядевшись, он увидел мир, который надо было строить.

Руки каменщика были изъедены порохом, черный дым сражений пропитал их. Он поставил в угол винтовку и отер пот. Начиналось великое время строительства.

Вместе с ним в деревню вернулись его соратники и товарищи. Он договорился с ними и собрал первый рабочий отряд каменщиков-бойцов. Пора было строить. Он почувствовал с удивленьем, как сильно в нем влеченье к старому своему делу. Он не отвык ни от кладки, ни от строительной сноровки. Вместе с ребятами он двинулся в Москву. Шел тысяча девятьсот двадцать третий год.

Если расспросить его, то увидишь, что он говорит о Москве, как хозяин. Сколько зданий он здесь выстроил! Он строил завод имени Сталина, и Велозавод, и Авиоинститут, и завод «Геофизика», и «Динамо». Он строил большие жилые дома, в которых сейчас теплеют огни, смеются дети и люди сидят за вечерним чаем. Он по-хозяйски входит в огромный дом «Известий» и, деловито озираясь, идет по длинным, сияющим коридорам, — он знает каждый камень, который был здесь уложен, трудную кладку оконных амбразур, отделку углов и фасада. Он — строитель Москвы,— шутка сказать! И, наконец, он прослышал о великом и удивительном строительстве в Кузнецке. Он загорелся желаньем попасть туда, поехал и пробыл там два года. Тут и произошла его знаменательная встреча с американским каменщиком.

Так вот, вернемся к этому случаю.

Сила Самарина была не в том, что он победил американца. Самарин знал цену штурмовой работе и непрочным рекордам. Он понимал, что это не система, что систематически так работать невозможно. Сила этого события была в том, что оно заставило Самарина впервые иначе отнестись к своему труду, пересмотреть свой опыт,

сноровку, продумать систему работы. Пожалуй, это был первый росток того движения, которое много позже, сформировавшись, развившись и окрепнув, получило название стахановского. Это был первый шаг к подлинному овладению техникой своего труда, к созданию новых рабочих норм, построенных на новой технике.

В конце 1934 года Самарин вернулся с Кузнецкстроя в Москву. Его направили на работу в трест Заводострой.

— А, Самарин! — встретили его там. — Это ты кладешь по семнадцать тысяч?

Слух о нем пропел, он приехал в Москву уже с какой-то своей славой. Пожалуй, он был в своем роде знаменит, — знаменитый каменщик. Это была не случайная слава, ее подтверждал полновесный труд.

— Давайте дело! — ворчал он. Дела всегда было ему мало. Он выстроил гараж Заводостроя в такой короткий срок, что его премировали месячным окладом. В нем копился новый опыт, новое уменье. И в это время он впервые услышал о Стаханове.

В чем одна из характерных черт стахановского движения? Оно разнеслось по стране не постепенно, а с невиданной быстротой. Забойщик во много раз поднял норму добычи угля. Кузнец сделал то же на автомобильном заводе. Вслед за ними пошли ткачихи, обувщики, машинисты, — работники всех видов промышленности. Было, оказывается, достаточно бросить спичку, чтобы вспыхнуло большое пламя, которое охватило всю страну. Это произошло потому, что стахановское движение было делом вполне назревшим.

«Только движение, которое вполне назрело и ждет толчка для того, чтобы вырваться на волю, — только

такое движение могло распространиться так быстро...» (Сталин).

Это движение помогло Самарину оформить, ускорить и развить тот процесс, который созрел в нем. Самарин включился в это движение со всей свойственной ему горячностью. Он работал не механически, он был сознательным участником производственного процесса. В профессии его были свои особенности. Он не работал на станках, количество которых он мог бы увеличить. У него был один станок — его рука, которой он клал кирпич. Тогда он обучил работе вторую руку, он научился класть кирпичи двумя руками сразу — уменье, которым не владел ни один каменщик рядом с ним. Он закрепил в себе точную, скупую систему движений, наиболее выгодную для экономии времени: наружную кладку он вел слева направо, внутреннюю — справа налево. Он требовал от десятников и прорабов подготовки рабочего места, он с вечера определял, где должны ему положить кирпичи, где поставить ящики для раствора. И если он приходил утром и видел пустые леса, он по-хозяйски орал и требовал, он ругал на чем свет стоит всех, кто мешал ему работать лучше, быстрее, замечательней.

Дела всегда было ему мало, он требовал новой работы. Окончив постройку гаража, он пошел к управляющему трестом Борисенко за новым назначеньем. В тресте ему сказали, что Борисенко уехал на строительство академии. Самарин тоже поехал туда. Борисенко стоял в саду академии и разговаривал с профессором Капицей. Строительство института было уже закончено, сейчас шла речь о постройке жилого дома для Капицы, небольшого коттеджа вблизи института. Самарин подошел к ним. Борисенко представил его Капице, — знаменитого каменщика знаменитому ученому.

— Вот, Самарин, — сказал Борисенко, — профессору нужно быстро построить жилой дом.

— Ну что ж, построим! — сказал Самарин.

— А в какой срок? — спросил Капица.

Подумав, Самарин назвал срок. Профессор поднял брови. За время строительства своего института он научился основательно разбираться в вопросах стройки.

— Успеете ли? — спросил он недоверчиво. — Зима, на теплом растворе строить труднее...

— Успеем! — сказал Самарин.

В первый день своей работы он положил семь с половиной тысяч кирпичей. Капица пришел на стройку и увидел, что дом его уже подымается над землей. На следующий день знаменитый ученый пришел с фотоаппаратом. Он стоял возле стройки и глядел, как работает каменщик, как мягко хлопают кирпичи, ложась на раствор, как растет стена, какой точностью и красотой полно каждое движение мастера.

— Это не труд, — сказал профессор подумав. — Это уже почти творчество.

Пригнувшись, он поглядел на каменщика в видоискатель «лейки». Он увидел его на фоне серого зимнего неба, косо склоненного к стене, он увидел крепкое, костистое его лицо и большие руки, кладущие кирпич легко и быстро. Внимательно нахмурившись, он щелкнул затвором. На следующий день Самарин получил от профессора Капицы в подарок свой собственный портрет.

На снимке лицо было измазано раствором и костюм непраздничный. Самарину не понравилось.

Дом был кончен в срок.

На соревновании в Кузнецке Самарин уложил семнадцать тысяч триста два кирпича. Он не собирался равняться на свой собственный рекорд. Это была работа одного дня, патетическая и изнурительная. Обычная, старая техническая норма равнялась тысяче двумстам штукам. Средняя норма, которую он сейчас установил для себя, — шесть тысяч семьсот кирпичей.

Он работает с подручным, молодым татарином Ибрагимовым. До работы с Самариным Ибрагимов зарабатывал пять рублей в день, сейчас он зарабатывает двадцать. Самарин учит его кладке, способу и сноровке своего мастерства. Они отлично сработались, найдя для себя соотношение всех движений. Подручный кладет раствор и готовит кирпичи. В то время, когда Самарин укладывает кирпичи в стену, уже готов слой раствора, — вязкий, ровный, длинный. В каждом кирпиче четыре кило веса. Поднять и положить около семи тысяч таких штук за восемь часов!.. С невольным уважением смотришь на эти руки, на красные, крепкие и сильные эти пальцы, на отличное мастерство, которым они владеют.

За высокое качество своего труда Самарин получил высокую награду — орден Трудового красного знамени. Он дважды встретился с товарищем Сталиным — на совещании стахановцев и на совещании строителей. Награда озарила его жизнь, он глубоко понял, что жизнь свою он складывал правильно, что полновесный его труд увидела и отметила вся страна.

С каким великолепным достоинством говорит этот человек о своем труде! Он уважает его, как большое искусство. Он работает двумя руками сразу, — это его повадка, отличающая его от других мастеров. У него есть свой, особый стиль работы, как у писателя, как у художника, как у всякого человека творчества. Обеими ру-

ками он строит, воздвигая здания будущего. Манера его работы по-своему знаменита, ее знают многие каменщики. Не без гордости он говорит:

— Рассказывают, на Урале есть сейчас молодой каменщик, тоже обеими руками начал работать. Вот бы приехал сюда потягаться...

Рабочий день его уплотнен. Он хочет расти вместе со страною, у него есть жадность к знанию. Каждое четное число к нему приходит на три часа педагог. Он занимается с каменщиком математикой, черчением, русским языком. Уложив шесть тысяч кирпичей, Самарин приходит домой не утомившись, с ясной головой, со стремленьем к учебе. Он работает с уваженьем к себе, к своему труду, как экономный и рачительный хозяин, не расточая сил зря.

Жизнь его полна. Несколько дней назад у него родился сын. В доме дышит ребенок, который увидит счастливое и необычайное будущее.

Так сложилась жизнь каменщика Самарина. Вот краткая история его труда. Труд стал настоящим творчеством. Это тот путь, на который благодаря стахановскому движению вступили многие люди нашей замечательной страны.

Кирилл Левин

Партийный подход

Весной Бережки заливало. Двести лет здесь был один, не меняющийся пейзаж: низкий, грязный берег, позеленевшие от времени деревянные домишки, груды гниющих отбросов и справа, за излучиной Москва-реки, купола Новодевичьего монастыря, а за ним зеленые резные вершины Воробьевых гор.

Река текла широко, мелко и лениво,— по-российски. Тяжелые, неповоротливые баржи зимовали у берегов. В дни наводнений жители спасались на крышах и чердаках и подъезжали к своим домам на лодках. Тягуче звонили

монастырские колокола, художники приходили рисовать красивые виды, завод на другом берегу спускал в реку радужные, маслянистые отходы, бабы полоскали с мостков серое белье. На Потылиху — деревню, расположенную за мостом, — после работы возвращались с завода рабочие. Лица у них были синие, ноги устало гнулись в коленях.

В последние годы Бережки перестало заливать. Реку взяли в гранит. Огромные ярославские пятитонки привозили тяжелые каменные плиты. Массивный барьер навсегда преградил мутным, неорганизованным водам реки доступ на Бережковскую набережную. Автобус и трамвай связали Потылиху с городом. На берегу вырастали новые здания. Летом музыка доносилась из открытых окон, украшенных цветами и занавесками. Огромный завод в Бережках становился еще больше. По окончании работы целые отряды людей выходили из заводских ворот на набережную.

Вместе с другими выходил и Кошелев, крупный, неторопливый в движениях человек с добрыми серыми глазами на рябоватом лице. Он редко бывал один. Всегда с ним шли двое, трое людей, и он оживленно разговаривал с ними. Он курил, внимательно слушал и говорил негромко и спокойно. Он был парторгом корпуса № 11 и в то же время мастером и начальником смены — должность, которую обычно занимают инженеры. Обе эти работы — производственная и партийная — так тесно переплелись в его сознании, что ему трудно было отделить их заметными гранями. Он организовал рабочих, помогал им лучше работать и лучше жить, и часто мастер был парторгом и парторг — мастером. Сейчас он шел с Селивестровой, молодой женщиной с темными глазами, повя-

занной платком. Селивестрова, смеясь, рассказывала Кошелеву:

— Никто, понимаешь, ну никто не верит мне, Борис Андреич. Еще, знаешь, поиздеваться надо мной непрочь. Показываю им выработку за первую шестидневку декабря — тысяча сто сорок семь процентов нормы, а они только головами на меня качают — не могут поверить!..

Кошелев кивал головой, с любопытством поглядывая на женщину. Вся ее история проходила перед его глазами. У нее были семейные неурядицы. Она осталась одна с ребенком, нервничала, часто бывала печальной, и все это отражалось на ее работе. Кошелев понемногу присматривался к ней, потом как-то подошел во время работы и заговорил. Он узнал, что мучило и тревожило ее, он решил вмешаться в ее жизнь. Сталинские слова о кадрах были для него живыми словами, он хорошо знал, как оживают приласканные люди, и личная жизнь всех людей его смены была прекрасно ему знакома. Он побывал у Селивестровой, через завком стал хлопотать об устройстве ее ребенка, посоветовал женщине учиться. Она сначала дичилась и, казалось, плохо верила в свои силы. Пришлось отдать ей много внимания, осторожно вовлекать ее в учебу и в общественную жизнь, доказывать ей, что она добьется своего. Первым успехом была сдача экзамена по гостехминимуму. Селивестрова сразу ожила; блестящими глазами посматривая вокруг, она принимала поздравления товарищей. Она работала на вакуум-сушилках и на нутче — большом чане, где фильтруются красители, и за ноябрь дала почти триста процентов нормы. Новый заработок показался ей таким огромным, что она не сразу могла решить, на что его истратить.

Кошелев иногда физически ощущал всю свою смену,

как свое разветвление, как продолжение самого себя. Когда он прочитал в газетах о Стаханове и его методе работы, он решил, что это как раз то, о чем он уже давно думал. Толчок был дан, и Кошелев стал просиживать вечера с огрызком карандаша, вычисляя и подсчитывая. Маленькие неустроенности в работе, крошечные прорывчики, неверная расстановка людей, неточная температура при фильтрации и многие другие мелочи, мимо которых проходили, не замечая их, и он и его товарищи — рабочие, мастера и инженеры — теперь зазияли перед ним, как открытые раны. Он еще и еще проверял свои расчеты, удивляясь, как такие простые вещи до сих пор не приходили ему в голову. В своем корпусе, где он был парторгом, он собрал рабочих и изложил им свои взгляды. Опытность старого мастера помогла ему. Он предложил конкретный план новых методов работы и просил товарищей высказаться.

По натуре Кошелев был прямой, искренний человек, он любил учиться и не боялся признаваться в своих ошибках или в неумении до конца довести операцию, если так изредка случалось. Он тогда звонил начальнику корпуса инженеру Симакову, которого ценил и любил за простоту и хорошие знания, и советовался с ним. Когда Симаков пришел на работу в одиннадцатый корпус, он знакомился с людьми при помощи Кошелева, быстро оценив рабочие достоинства этого плотного, спокойного и немногословного человека в рыжей, покрытой пятнами кепке. Симакова назначили в цех, чтобы поднять выработку аурамина — красителя, который импортировался к нам из-за границы. Кошелев крепко сжал руку молодого, худенького инженера, тряхнул ее и сказал:

— Дмитрий Николаевич, давайте наладим скорее. Вот увидите, как у нас дело пойдет. Ребята чудесные, хоро-

Борис Андреевич Кошелев

шие у нас ребята в цехе, будет не хуже, чем за границный. Поработаем, эх, поработаем с вами, Дмитрий Николаевич!

Они стали работать. Симаков с любопытством присматривался к Кошелеву. Этот рябоватый тридцатипятилетний человек, одетый в прозодежду, покрытую цветными пятнами красителей, все больше привлекал и удивлял его. Было интересно наблюдать его, еще интереснее изучать его работу, его отношение к рабочим.

Работа — цеховая работа в корпусе — составляла лишь часть того, что делал Кошелев, чтобы поднять производство. Еще прежде чем изменить процесс и провести его рационализацию, Кошелев начал изменять людей — переучивать их. Несомненно, что он был бы неплохим командиром. Он тщательно подготовлял участок боя, расставлял людей, сосредоточивал их на ударных местах и посылал помощь в слабые пункты. Еще до начала боя он заготовлял резервы для того, чтобы ни одной лишней секунды не было потеряно в горячие моменты атаки. Он знал силу каждого отдельного бойца и ставил его на такой участок, который был ему по силам. Он не уставал, трудная, сложная операция спорилась у него, проходила без тяжелой надсады, ровно и ритмично — как песня.

Собственно говоря, работа начиналась еще до того, как заступала кошелевская смена. Живая пятиминутка, похожая на стычку перед сражением, сплачивала людей, давала им указания и зарядку. Потом шла планировка работы. Точный график, составленный Кошелевым, расчленял весь процесс на отдельные фазы, и каждому аппаратчику, каждому участнику смены было точнейшим образом указано, в какое время он должен был справиться со своей операцией. Сырье заранее заготовлялось у мест работы. Кошелев, легкий и большой, носился по корпусу,

подходил к каждому аппарату и осматривал его, как летчик осматривает свой самолет перед полетом, — тщательно, не упуская ни одной самой малюсенькой мелочи. Смена вступала стройно, как оркестр, и дирижер ни на минуту не выпускал палочки из руки. Все, что надо было обеспечить до начала работы, было уже обеспечено Кошелевым. Он осматривал вентиляцию, зная, что плохое ее действие может оставить в цехе сероводород. Он проверял моторы, заглядывал в лабораторию, смотрел, хорошо ли пропарено дерево и полотно в том месте, где шла фильтрация. Вся смена должна была находиться в действенной связи между собой для того, чтобы не было ни одной мертвой секунды и процессы шли гладко, дополняя один другой. Иногда, стоя наверху, как на капитанском мостике, наклонившись через железные перила, Кошелев вдруг бежал вниз, сменял аппаратчика, который вел пассивное наблюдение, то есть следил за температурой, становился на его место, а аппаратчика посылал на помощь товарищу. И тут же, наблюдая за операцией, придумывал, где бы можно было еще сэкономить во времени. На коротком пятиминутном совещании смены после работы подводился итог дня, делались необходимые выводы на завтра. Кошелев никогда не забывал об аурамине. Воочию видел он, как закупали за границей этот нужный нам препарат, как платили за него полновесным золотом. Сибирское и уральское золото уходило за границу. Это происходило потому, что Дорогомиловский химический завод, на котором работал он, Борис Андреевич Кошелев, старый мастер и коммунист, давал слишком мало аурамина.

Кошелев хорошо помнит тот вечер, когда в «Правде» он прочитал про рекорд Стаханова. Сто две тонны вместо семи — пятнадцать норм выполнил этот человек, и

в первую минуту Кошелеву показалось, что здесь произошла какая-то случайность, что, может быть, Стаханов попал на легкий пласт. Но потом, когда стахановский рекорд был несколько раз перекрыт и Кошелев прочитал описание стахановского метода работы, его точно ударило. Ведь это было то самое, о чем он сам смутно мечтал! Это была рационализация рабочего процесса, чудесный и простой метод, доступный каждому советскому пролетарию, который хочет работать по-новому. Он был взволнован и удивлен — как все это просто! Почему же до сих пор никто не додумался до этого? Выступление Сталина на стахановском совещании все разъяснило ему. Стахановское движение — это борьба за лучшую, счастливую жизнь, и стало оно возможным оттого, что страна вооружилась новой техникой, и оттого, что стало лучше жить.

Он вспомнил свою жизнь — долгие годы лишений, шлепки, подневольщину, плохое свое развитие, узкие, кургузые мыслишки... Прежняя жизнь пронеслась перед ним.

Ему одиннадцать лет. Его привезли в Москву из родной Ногиновки и отдали в мальчики. Он спит на столе в задней комнате конторы, подложив под голову руку и укрывшись рваной курткой. В шесть часов утра он вскакивает и начинает убирать контору, моет пол, вытирает окна. Потом пешком — на трамвай не давали — бежит по гостиницам: узнавать, кто приехал из возможных заказчиков. Весь день он бегал по Москве, ел всухую, что придется, чаще всего черный хлеб с соленым огурцом, а в девять часов вечера, когда все уходили, усталый домертва ложился на стол. Через два года его повысили — дали темный угол под лестницей и положили пять рублей жалованья. Потом он сделался упаковщиком,

но тут началась мировая война, и Гельцке как немца разгромили.

Пришла революция. Кошелев подрос. В девятнадцатом году он вступает в Красную армию. В Ельце попадает в плен к Мамонтову, убегает и участвует в ликвидации банд атамана Огольцова. Банды были ликвидированы, он поехал в свою деревню и застал обгорелые развалины. Потом была работа на Докторовском химическом заводе в Москве и затем два года жизни в родной деревне в должности председателя сельсовета. Кошелев организует семенник культурных трав и получает премию на районной выставке. Вторую премию он получает за организацию машинного товарищества. Но тянуло обратно на завод, и он вернулся в Москву. Стал работать аппаратчиком. В 1930 году вступил в партию. Год был кандидатом, потом перевели его в члены партии. Последние пять лет — пять лет в партии — во многом переделали его. Проходя чистку и подводя итоги и проверку себе как человеку и партийцу, он сказал со спокойной искренностью:

— Крепче я стал, товарищи. Расхлябанности во мне меньше осталось. Научился дисциплине, стало мне легче владеть собой, лучше я стал понимать, что и как надо делать. Крепче меня партия сделала, товарищи.

Да, партия перевоспитала Кошелева. Хороший человеческий материал попал в хорошие условия и дал ценные результаты. Партийность ощущалась Кошелевым прежде всего как метод в работе и в жизни, как великолепный рычаг для целеустремленного действия. Партийность научила его понимать силу товарищеского коллектива. Партийность побудила его все время учиться и совершенствоваться, расширила его горизонт. Партийность была для него, как путь вперед, как уходящая в величественную

даль дорога. Вот почему стахановское движение он воспринял как движение, соответствующее его партийным чувствам: оно двигало вперед.

Он не был инженером. Он не мог изменить химический процесс производства. Но технология операции была в его руках, он властвовал над нею и мог добиться лучшей расстановки сил. Он ясно представлял себе Стаханова, рубавшего уголь. Стаханов не крепил забоя. Он действовал только отбойным молотком, и все время, таким образом, уходило у него производительно. Но этого мало. Стаханов удлинил ступени пласта, уменьшил число их. Он показал путь, ведущий вперед.

Вспоминая свою недавнюю работу, Кошелев усмехался: столько дыр было перед глазами, а он не замечал их. Взять хотя бы фильтрацию, важнейшую часть операции. Фильтрация отнимала от четырех до шести часов. Кошелев стал приглядываться к процессу. Процесс казался ему чрезмерно длительным. Он отметил, что фильтрация замедляется оттого, что плохо прочищена решетка нутчи — большого чана, где фильтруются материалы. Отметил, что плохо промыто полотно, сквозь которое идет фильтрация. Установил, что при температуре в семьдесят градусов фильтрация и экстракция проходят гораздо быстрее.

Но всего этого казалось ему мало. Он продолжал изучать все системы операции, выискивая слабые, не учтенные им точки. Он давно уже знал, что на стенках трубопровода происходит выкристаллизование красителя, отчего уменьшался диаметр труб и соответственно замедлялся проход жидкости. Видели несколько раз, как, глубоко задумавшись, он стоял у трубопровода, постукивал по трубам, приседал на корточки, что-то записывал. Самая простая и как будто очевидная мысль не сразу приходит в

голову. Кошелев думал о том, что нельзя давать красителю кристаллизоваться на стенках труб, и это уже была половина решения задачи. Вторую половину решения он отыскал не сразу. Она пришла к нему внезапно, когда он увидел горячий пар, с шипением вырывавшийся из крана. Он не удержался, подпрыгнул и хлопнул себя по лбу:

— Ну, как же такая штука могла ускользнуть от меня! Пар, горячий пар, который был под рукой, должен помочь делу. Надо прогреть весь трубопровод, и тогда на горячих стенках прекратится кристаллизация красителя.

Опыт удался блестяще. Когда в первый раз пустили краситель по горячим трубам и с часами в руках подсчитали время, вся смена, инженер и сам Кошелев недоверчиво переглянулись.

То, что получилось, казалось невероятным. Весь процесс фильтрации, длившийся прежде от четырех до шести часов, закончился в двадцать пять минут. Они испытывали такое чувство, точно сейчас на их глазах произошла революция.

В одиннадцатый корпус приходили рабочие и инженеры из других корпусов. Результаты кошелевской работы сказались в ближайшие дни. Прежде корпус давал за сутки полторы операции, то есть полтора раза аппараты давали выход красителя из сырья. За октябрь кошелевский метод позволил увеличить продукцию аурамина в два с половиной раза — дал двести пятьдесят процентов нормы. За сутки одиннадцатый корпус давал три и три четверти операции — невиданная никогда здесь выработка!

...Если посмотреть извне, то как будто ничего не изме-

нилось. Так же спокойно и деловито работала смена, люди стояли у аппаратов, в помятой и рыжей своей кепке ходил Кошелев, останавливался, негромко давал указания и в самые ответственные моменты, когда оканчивалось запекание, шло подкисление, разварка и фильтрация, вел строгое контролирование процесса и определял момент окончания его фаз.

Сорок производственных рабочих работало в одиннадцатом корпусе. Работа велась в три смены. Кошелев не считал свою задачу выполненной. Он не отделял себя от смены, от корпуса, от всего заводского коллектива. Первый стахановец завода знал, что в движение должен постепенно включиться весь завод, что путь показан для того, чтобы масса двинулась по нему, завоевывая новые достижения. Он начал со своего корпуса. Несмотря на то, что он был загружен работой, он находил время выступать на коротких бригадных собраниях, вербовать новых стахановцев, убеждать, что ничего трудного не заключается в этом методе работы. В корпусе вскоре насчитывалось уже пятнадцать стахановцев. К их работе присматривался весь завод. То, что происходило в одиннадцатом корпусе, напоминало большое весеннее половодье. В корпусе был вывешен точный график выработки каждого рабочего. По окончании рабочего дня каждый мог узнать, сколько он выработал, насколько превысил норму. Это зажигало людей, работа их становилась как бы общественным соревнованием, их труд, вынесенный на показ и обсуждение всего коллектива, дававший им высокое признание, воочию становился делом доблести и славы. На их глазах, на их собственном опыте воплощались в жизнь сталинские слова.

Огромный заводский коллектив видел, как в его среде

растет новое, стахановское племя, передовое, крепкое, веселое и энергичное. Племя работало и училось.

Учился Кошелев, окончивший еще раньше курсы мастеров.

Учился аппаратчик Щербаков, двадцативосьмилетний парень. Он сдал гостехминимум, а теперь посещал производственно-технические курсы.

Учился Суянин. Он недавно пришел из Красной армии, где был уже командиром отделения. Армейская дисциплина много помогла ему.

Третий работник кошелевской бригады, Семенченок тоже недавно вернулся из Красной армии. Еще недавно он был в смене подсобным рабочим, а теперь Кошелев выдвинул его на должность венулетчика (работа у сушильных аппаратов). После работы Семенченок быстро моется и, захватив уже приготовленный сверток с книгами и тетрадями, рысью бежит на производственные курсы.

Четвертый — Воробьев, самый молодой из смены. Ему двадцать лет. Прежде он работал вяло, без души, с трудом выполнял норму. Его считали никудышным работником, часто перебрасывали из бригады в бригаду. Кошелев взял его к себе, перевел на другую работу, уговорил поступить на курсы. Воробьева точно подменили — он стал другим. Перевыполняет норму, прекрасно учится, прежняя его вялость исчезла без следа.

О Селивестровой мы уже говорили. В начале декабря она показала невиданные темпы, перевыполнив норму в одиннадцать раз. Она стала веселей, счастливее. Намного увеличился ее заработок, она учится, перед нею раскрылись большие перспективы.

Слесарь Ивашнев, горячий и смелый работник, решил не отставать от смены. Он взялся за семь дней один про-

извести капитальный ремонт барабана. Инструментов не было на складе, он сам все нашел и за семь дней, как обещал, выполнил работу, которую обычно делали двое рабочих за четырнадцать дней.

Индивидуальная сдельщина давала каждому полную возможность показать свою силу и умение. Кошелевская смена наступала боевой фалангой, а за ней рвались вперед и остальные.

Когда Кошелеву дали орден Трудового красного знамени, в одиннадцатом корпусе собрался летучий митинг. Вечерело. В помещении красного уголка, отделенном от цеха перегородкой, было тесно. Преобладала молодежь, но были и старые рабочие. Пришел директор завода Марьясин, смуглый черноглазый человек с молодым лицом и седыми волосами, секретарь парткома Пильщиков, инженер Симаков, пришли рабочие из других корпусов завода. Кошелев, только что сдавший смену, сидел сбоку за столом и курил. Лицо у него было спокойно, только чуть больше обычного блестели глаза.

Было много выступлений. Молодежь говорила о том, какой ласковый и чуткий человек Кошелев. Он знает каждого рабочего, бывает у многих дома, помогает жить, работать, учиться. Марьясин рассказал, в чем сила Кошелева. Эта сила заключается в оперативности, в умелом распределении рабочей силы, в горячем порыве, в высокой квалификации. В лице Кошелева получили награду весь корпус, весь завод.

Кошелев молча слушал. Он испытывал чувство удивления, чувство глубокой, сдержанной радости. Не слишком ли высоко оценили его работу? В сущности, он делал то, что должен был делать каждый рабочий, каждый большевик. И так хорошо, что скоро можно будет обходиться без заграничного аурамина... Как обрадуется же-

на, наверное она уже прочитала в «Правде» о его награждении. Сейчас окончится митинг, и надо будет ехать в Московский комитет партии, где у Никиты Сергеича Хрущева состоится прием награжденных стахановцев.

Он вдруг беспокойно шевельнулся. Хорошо ли был протрет трубопровод при сдаче смены? Точно ли была температура семьдесят градусов? Надо сейчас же пройти в цех и проверить. Если остальные смены дадут за декабрь увеличенную выработку аурамина... Он, задумавшись, высчитывал на бумажке, писал цифры огрызком карандаша и не сразу услышал, как хлопали ему, требуя его выступления.

Он поспешно записал последнюю цифру, поднялся и стал говорить.

А. Кронгауз

Составитель поездов

Любой человек на узких улицах Лосинки укажет вам дом прославленного составителя поездов Андрея Ивановича Пузанова.

Вы пройдете меж старых елей, свернете направо и через несколько секунд увидите этого человека. Внешность его на первый взгляд обычна. Средний рост, худощавое лицо с очень живыми светлыми глазами, едва уловимая нервность движений. Он охотно отвечает на вопросы о своей работе, и тогда выражение его лица, голос, жесты резко меняются.

Необычайный человек, остро мыслящий и непоколебимый, возникает перед вами.

Андрей Иванович стал знаменит с тех пор, как распутал сложно завязанный узел сортировочного вагонного парка. Рекорд забойщика Алексея Стаханова помог ему дерзко нарушить железнодорожные традиции.

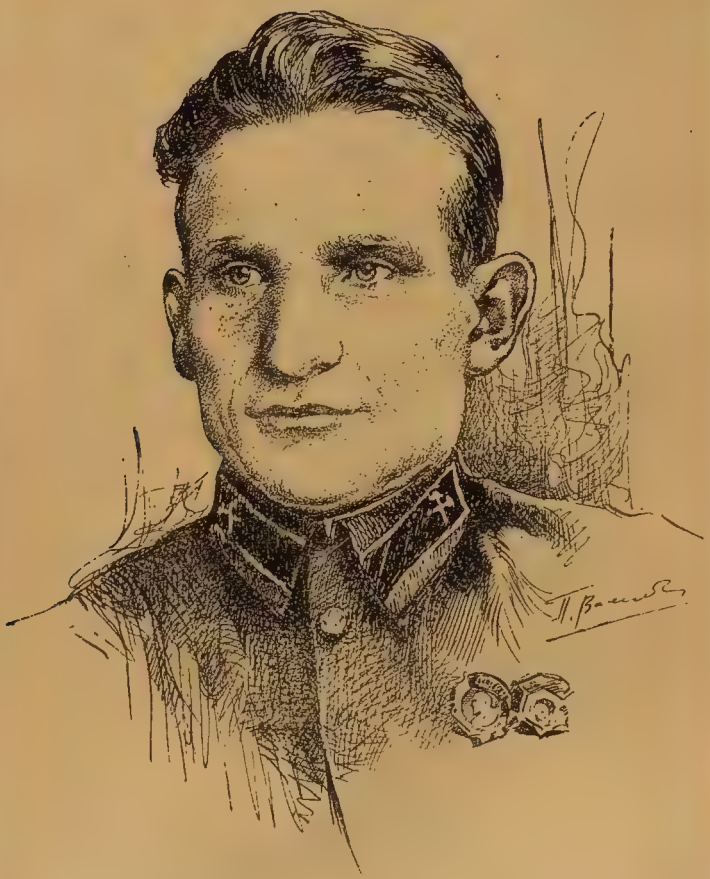
Вместо того чтобы с огромным напряжением составить триста вагонов, Андрей Иванович легко составил шестьсот шестьдесят. Вместо обычных двухсот восьмидесяти рублей — он заработал шестьсот.

Ему сейчас тридцать пять лет. Третью часть своей жизни он провел на станции Лосинка. Работал здесь стрелочником, сцепщиком, подавал уголь на паровозы, чистил и ремонтировал пути. Сын многосемейного бедняка (одни валенки на десять человек), Андрей Иванович с детства привык к напряженной работе.

В юности он дрался с басмачами и перенес настороженность и тонкий расчет борьбы в новую свою жизнь. Он научился двигаться вперед, преодолевая любые препятствия. Он закалил свою волю и поборол страх. Он привык вглядываться в незаметные, на первый взгляд, вещи и узнавать их скрытое значение. Он приучил себя не тратить патронов попусту, а стрелять наверняка по ясной цели. Красная армия дала ему устойчивость в жизни и объяснила смысл борьбы.

На производство он пришел после демобилизации в 1923 году. А в 1930 году кулаки сожгли дом его пятидесятилетней матери. Тогда Андрей Иванович забрал всю семью к себе в Лосинку.

Живут вместе с ним жена и двое сыновей — Боря, одиннадцати лет, и Валя, семи лет. Андрей Иванович находит время, чтобы пойти с женой в театр, поговорить с матерью о разных делах, расспросить старшего сына об уроках, почитать вместе с ним «Как закалялась сталь» Островского.



Андрей Иванович Пузанов

Боря отлично успевает в математике. Иной раз даже хочется отцу обратиться к нему за помощью в своих производственных расчетах. Но просить помощи у малолетнего сына как-то неудобно.

До последнего времени Андрей Иванович усердно работал в кружке по изучению ленинизма. Сейчас взялся также за математику и технику эксплоатации. Ходит к Пузанову на дом учитель. Трудна математика. Не учился ведь с тринадцати лет. В технике эксплоатации тоже трудно разобраться. Но учится Андрей Иванович так же упорно и увлеченно, как работает. Он не сомневается, что освоит и математику и технику эксплоатации.

Андрей Иванович установил для себя непоколебимый режим труда и с особенной тщательностью организует свою ночную работу. Она чрезвычайно ответственна и напряженна.

В четыре часа дня (если работать надо с вечера) он ложится спать и ровно в семь просыпается. Неторопливо умывается, съедает горячий ужин, пьет чай.

К восьми Андрей Иванович приходит в свой парк. На шестнадцати блестящих путях стоят сотни вагонов. Неопытному глазу они все кажутся одинаковыми. Но для Андрея Ивановича у каждого вагона свое лицо.

Вагоны перетасованы, словно карты: тяжеловесные вперемежку с легковесными, цистерны рядом с платформами. Они прикатились сюда с «горки», с разных путей, из многих составов. В этом хаосе надо разобраться. Все это надо распутать и в кратчайшее время сгруппировать вагоны так, чтобы тяжеловесные попали в голову составов, а легковесные — в хвост. Вагон с ручными тормозами — через пятнадцать обычных. Все вагоны надо разделить по группам направления. Таких групп еще и

сейчас немало. Но еще совсем недавно только на Кировск полагалось четыре группы вагонов!

Придя в свой парк, на свой фронт, Андрей Иванович немедленно производит стратегический расчет. Он быстро идет вдоль путей и пристально вглядывается в меловые пометки на красных досках. Он звонит к диспетчеру. Он определяет, что нужно делать каждому человеку из его производственной группы.

За десять минут до начала рабочего дня или рабочей ночи каждый помощник Пузанова (помощниками можно считать и стрелочника, и сцепщика, и машиниста) знает, сколько вагонов находится в парке приема, сколько идет на север, сколько за время дежурства прогонят через горку, сколько стоит на путях сортировочного парка. Главное—Пузанов и его помощники отчетливо представляют себе, что и где надо делать.

С поста составителю передают задание. Трубит рожок, вспыхивает цветной сигнал. Летит, словно птица, зеленый флаг. Теперь Андрей Иванович знает, с какого состава начать формирование. Он заранее отправляет сцепщика с паровозом к составам, а сам идет пешком, проверяя, как расположены группы, где вагоны сцеплены, а где разрознены, сколько тормозов ручных, сколько воздушных...

К прибытию маневрового паровоза осмотр закончен. Машинист без промедления получает от составителя приказ.

И через несколько секунд паровоз, громко дыша, уже тащит вагоны. Вагоны отцепляют и прицепляют, гремит сталь, не умолкают свистки. Составитель регулирует действия людей и движение вагонов.

Андрей Иванович всегда работает с увлечением. Он не теряет времени впустую. Он не терпит, когда кто-нибудь разбазаривает рабочее время.

В сортировочном парке работало два паровоза. Они подчинялись дежурному по путям. Ни составители, ни машинисты не знали, что им придется делать через пятнадцать минут. Оба паровоза формировали составы. Оба составителя подчинялись дежурному по путям. Дежурный поминутно давал противоречивые приказы то одному, то другому составителю.

— Надо отбросить бракованные платформы.

— Поставить один вагон под выгрузку.

— Отодвинуть три вагона в тупик.

Один паровоз, выполняя задание, загораживал путь другому. Через некоторое время паровоз пропускали к составу, он начинал таскать вагоны. Теперь дожидался работы первый паровоз. Выходило, что каждая смена теряла таким образом до трех часов рабочего времени.

Экипировка и чистка паровоза также отнимали у бригады часа полтора. Ведь замены паровозу не полагалось.

Деление вагонов на многочисленные группы тормозило работу. Норма — триста двадцать семь вагонов в смену — казалась поэтому многим составителям почти недостижимой мечтой.

Составитель Андрей Иванович Пузанов выполнял норму с большим напряжением, да и то не всегда. Его, как тиски, держали простои. Полная зависимость составителя от дежурного по путям не давала ему возможности целесообразно распределить свою работу. Инженеры и техники, к которым обращался Пузанов, сочувствовали ему, но объясняли, что лучшей системы работы пока никто не выдумал и не так все это легко и просто, как кажется некоторым рабочим.

Эти ответы не могли удовлетворить Пузанова. После боевого приказа Лазаря Моисеевича Кагановича о безаварийной работе железнодорожного транспорта, состави-

тели Лосинки не могли работать по-старому. В бригаде Пузанова не было аварий, но в производственной его группе много еще надо было поработать, чтобы навсегда освободиться от аварий. И Андрей Иванович отдал много сил этой работе. Он изучал каждую деталь, каждую незаметную на первый взгляд мелочь, чтобы устранить всякую возможность аварий. Свой огромный опыт безаварийной работы он неизменно передавал товарищам. И работа парков действительно стала безаварийной.

Андрей Иванович упорно думал об этих делах, многое критиковал на совещаниях, о многом мечтал, но не знал, поймут ли его инженеры, найдет ли он у них техническую помощь.

Андрея Ивановича вызвали на совещание стахановцев-железнодорожников в Москву. Сильная, убежденная речь Лазаря Моисеевича вдохновила Пузанова, помогла ему проанализировать причины отдельных неудач, развернуть смелые планы дальнейшей своей жизни.

По возвращении в парк Пузанов рассказал рабочим о ярком выступлении Лазаря Моисеевича, о подвигах Стаханова и Кривоноса. Несколько дней он работал приглядываясь, подсчитывая, записывая в промасленную карманную книжку. После этого вместе с несколькими другими рабочими пришел в партийный комитет, чтобы рассказать о своих думах и просить поддержки.

Их принял секретарь парткома Бобков. Последние дни и его не оставляла мысль о достижениях Стаханова и Кривоноса.

— Говори, — сказал секретарь, — знаю, что плохого не скажешь!

— Полагаю так, — сразу начал Андрей Иванович, — что паровозы надо к паркам прикрепить. Один пусть формирует, другой доставляет в свой парк для отправ-

ления. Тогда не придется стоять в тупике по два часа, друг дружку дожидаться. Перестанем мешать друг другу.

— Верно говоришь, Андрей Иванович, — подбодрил Бобков и сделал у себя на листке несколько пометок.

Андрей Иванович продолжал:

— Дежурный по путям не нужен составителям. От него только неразбериха получается, требует от кого попало, отрывает от работы, не дает своим делом располагать по собственному понятию, и простой от всего этого получается. Когда я сам себе хозяин, я мелкую работу между делом проверну, не стану за каждым вагончиком бегать, как угорелый.

Вслед за Андреем Ивановичем заговорили другие рабочие. К его предложениям они добавили новые — изменить специализацию вагонов, уменьшить число групп направления.

— Да, товарищ Бобков, — говорили все в один голос, — хватит с нас одного дежурного по посту, а остальное составителям можно доверить. Сами они время распределят.

Андрей Иванович, наконец, получил поддержку. С первого же дня его понял дежурный по посту Юферов. Но дежурный по путям Свинин сказал представителям парткома:

— Не вам меня учить. Поучитесь и поработайте с мое, а потом поговорим.

Свинин распоряжался составителем Форес. Несмотря на специальное предупреждение, дежурный продолжал «дергать» составителя. Тот никак не мог выйти за обычную свою норму, попрежнему сидел в тупике, дожидаясь, пока его пропустят к месту работы.

Андрей Иванович добился от Свинина улучшения ра-

боты. После этого Форес начал всерьез соревноваться с лучшим составителем.

Инженер по анализу движения Спиридонов не выступал открыто против стахановцев, но вредил им своим равнодушием. Он был уволен.

В парке без всякого сговора люди стали работать сосредоточеннее, начали ревнивей относиться к промахам отдельных товарищей. Люди стремились итти в ногу с Пузановым.

Андрей Иванович помог не только Форесу. Он пришел к отставшему составителю Савосину, подробно рассказал, как можно вдвое ускорить работу. Савосин пожаловался ему на неумелого дежурного по посту. Андрей Иванович сказал:

— С твоим Уструговым я сам попробую поработать. Увидишь, все пойдет, как полагается. А ты к моему Юферову переходи.

Так и сделали. Сейчас Савосин работает хорошо. Он завоевывает почетное звание стахановца.

Андрей Иванович Пузанов — парторг смены. У него хорошо организована партийная учеба, он отлично знает каждого из своих людей. Стрелочнику Пескареву он достал книгу «Чапаев». Для Савосина добился в горсовете новой квартиры. Составитель Вечорка, благодаря длительным стараниям Пузанова, не должен сейчас ездить на работу за тридцать километров.

Андрей Иванович слышал слова Сталина о героических железнодорожниках. Эти слова влекут его вперед. Орден Ленина, которым наградили Андрея Ивановича, вдохновил его на новую борьбу.

Через несколько дней после выступления Сталина бригада Пузанова показала, что и в пургу, в ледяной ветер выработка остается стахановской.

А. Воронцов

По-чапаевски

В Москве, на Кропоткинской улице, в главном зале немецкой школы-десятилетки имени Карла Либкнехта, на видном месте стоит скульптурная фигура человека с маленькой треугольной лопаткой в правой руке. Этот человек в кепке и кургузом пиджаке так весело, так подкупающе смотрит, он так добродушно, по-свойски улыбается.

Школьники на переменах с шумом и смехом возятся подле него. У них нет перед ним ни капельки робости. Откуда бы ей взяться? Гипсовый человек нисколько не

похож на суровую статую, от которой веет музейным холодком и которую обычно разглядывают молча и так же молча уважают.

Наоборот, он располагает к себе. Так и подмывает дружески потрогать его за рукав, вскарабкаться и повязать ему вокруг шеи пионерский галстук.

Вовсе неважно, что он из камня. В камне он, как живой. Неугомонный. Его быстрые и лукавые глаза отражают напряженную работу мысли. Он хочет что-то сделать. Что? Его руки умеют многое. Ими наверное можно ворочать и ворочать. Только начни, только поддавай. Они будут, как рычаги. Как рычаги, точно, размеренно, ритмично, в одном спокойном, хорошо рассчитанном темпе делать свое дело. Такие руки не бывают безвольными, вялыми, они никогда не опускаются. Всегда чем-нибудь заняты. Озабочены, как бы лучше и больше сработать. И это обязательно им должно удаться. Гипсовый человек усмехается.

— Ну, конечно, удастся.

Дети утвердительно кивают головами:

— Удастся! Еще бы не удалось! — Они говорят с уважением: — Он все умеет. Все!

Его маленькая волшебная лопаточка! Этой лопаточкой он построил их школу. Он! Живой, всамделишный, настоящий. Этот, из глины и гипса — лишь портрет, изображение, копия. Двойник. Его вылепил по просьбе ребят, мечтавших его видеть всегда перед собой, один венгерский скульптор, товарищ Массарагис. Скульптору тоже очень понравился их друг, и он страшно волновался, когда работал резцом.

Этот каменщик, строивший немецкую школу, очень старался. Он, Петр Семенович Орлов, «директор» самой зна-

Петр Семенович Орлов

менитой в Москве бригады строителей, — он лично выкладывал за те же часы, что и другие, до шести тысяч кирпичей. Нет, он вовсе не напрягался, не выбивался из сил, не изматывал себя. Никакой лишней нагрузки на нервы. Никакой преувеличенной ставки на мускулы. Ему просто незачем было надрываться. Он придумал свой способ — «метод Орлова», как больше и лучше уложить кирпичей в меньший срок.

Он знал, что стройка отстала от прочих на семнадцать суток. Огромный разрыв. Но он знал также, что должен оставить их всех позади. Он обещал это руководителю московских большевиков Никите Сергеевичу Хрущеву. Он строит ведь не просто одну из школ. Эта школа, где будут учиться дети героев — шуцбундовцев. Немецкие, австрийские, венгерские дети. Дети политэмигрантов. Он может заверить товарища Хрущева: все четыре этажа, как один, будут уложены до срока. Орлов знает, на кого работает.

Конечно, если вспомнить... Немцы ему порядком насолили. На целых пять с половиной лет его упрятали за колючую проволоку. Он насмотрелся у них всего. Нанюхался. Этот лагерь для военнопленных — та же тюрьма...

Пять с половиной лет! С ними обращались, как со скотом. Такое не забывается, остается на всю жизнь. Разумеется, он имеет в виду не забитую народную массу. Ей пришлось тоже немало натерпеться от этих гнид. Он против нации не возражает. Но те, что затеяли свалку, те, что науськивали, — те враги. Тогда... Тогда ему еще и в голову не приходило искать где-то виноватых — они были перед глазами. Немец — значит враг. Он не делал различия...

Позже, уже вернувшись из плена. он расценил все иначе. Он понял: что в Германии, что в прежней России у рабочих один враг — эксплоататор. Его и сшибать, его и давить, иначе нельзя. В Германии — не раздавили вовремя, он и сегодня держится. Но, понятно, ненадолго. Раздавят!

На митинге, созванном школой перед началом работы, он сказал:

— Дорогие немецкие пионеры. Мы, советские рабочие, мы, каменщики, мы знаем ваше положение и очень сочувствуем вам. Я сам был в Германии пленным пять с половиной лет. Очень плохая у вас там жизнь. Schlecht [1]. Вы и мы хлебали горе из одного горшка. Но сейчас у вас и того хуже. Чума!.. Товарищи, мы солидарны с вами. Нам, орловцам, большая честь и доверие оказаны — строить вашу школу. Мы ее сделаем быстро и крепко. А вы учитесь. Вот наш с вами уговор. Орловцы не обманывают...

Утром 2 апреля Орлов с бригадой приступили к работе. У ворот их встретили барабаны и флейты. Это был школьный оркестр. Дети играли для них:

— Нас утро встречало прохладой...

У юных музыкантов были напряженные, торжественные лица. Орловцы немного смутились. Они никак не ожидали музыки...

Кто-то из школьников схватил бригадира за руку и крикнул:

— Fröhliches Fest! [2]

Орлов улыбнулся.

---

[1] Плохо.
[2] С праздником!

— Поздравляет, — объяснил он. — С праздником, говорит.

Догадин заметил:

— Раньше молебен служили.

— Д-да! Без водички никуда. Это обязательно — водичка на первом плане была.

— Кропили. Монету закапывали.

— А строили? Строили как! Над лабазом, самым паршивым, над плюгавым домишком — карлик, смотреть не на что! — бывало, целые годы сидим.

— Верно... Не спешили.

— Куда спешить?

— Мы-то? Мы-то знаем, куда. Мы не задерживаемся. Некогда!..

Бригадир посмотрел на часы. Засмеялся.

— Некогда, говоришь? Раз некогда, начнем. Спешить надо. Ковыряться времени нет. Дали слово Никите Сергеевичу, надо держать. Девятьсот тысяч уложить в четыре недели. Почти по этажу в шестидневку.

Он испытующе поглядел на людей. Остался доволен. По всему было видно, что они готовы, вполне готовы и отлично настроены. Можно не сомневаться: они возьмут и эту норму.

Он крикнул шутливо:

— Шагом марш!

Бригада двинулась к площадке.

Это было 2 апреля 1935 года.

В этот день там, на Западе, в стране, пораженной немотой кладбища, человеческие ублюдки в судейских мантиях послали на виселицу очередную пачку людей. То была привычная, налаженная работа равнодушных профессиональных убийц.

В утренних газетах писали:

«Вчера германский суд приговорил к смертной казни безработную Юнеман, обвиненную «в убийстве трех своих детей»... Дети этой безработной умерли от голода. Мать, лишенная каких-либо средств к жизни, ушла из дома, чтобы не видеть, как медленно умирают ее дети. Хотя это точно было установлено на суде, смертный приговор был вынесен».

Фашистская Германия! Капиталистическая Европа!

Как легко дышится в этот солнечный весенний день у нас, в справедливейшей стране мира, обетованной земле всех угнетенных. Какими чистыми, ослепительными красками сверкает небо нашей родины!

Немецкие дети, которых в империи коричневых выродков ожидала страшная участь медленного угасания от голода, эти дети у нас счастливы. Они у себя дома. Им строят большое, светлое, красивое здание — школу, где они будут учиться на родном языке. Русские товарищи считают за честь выстроить ее как можно скорее.

Орлов стоял на подмостьях и критически, с чувством некоторого беспокойства поглядывал на строительную площадку. Как будто все на месте. Материалы, инструменты, оборудование. Кирпич в штабелях, лесу хватает. Мости сколько надо! Растворомешалки, тачки, носилки, ковши, ящики — все завезено. Столики... Подъемник для кирпича... Что еще? Бут? Да, его вчера нехватало. Без бута всю смену сидели. Позор! Пионеры в стенновке так и написали:

«Позор! Где бут? Почему нет бута? Бут срывает работу орловцев».

Правильно. Но сегодня бут есть.

Люди? Да, люди. В этом все. Он их расставил, как

обычно, по захваткам. К каждой рабочей зоне прикреплены свои рабочие. Они у механизмов. На кладке везде есть пары — мастер и его помощник. Помощник снабжает, мастер укладывает. Все должно итти как следует...

Однако дело не ладится. В первый день 2 апреля пришло полгруппы, 3-го шел дождь, 4-го были все, но каменщики работали без должной нагрузки, ждали раствора.

С раствором — беда, это верно. Подносчики копаются. У растворомешалок все скопом, как на базаре, а потом сразу на один участок бегут, толкают друг друга. Придется кое-кого сменить...

Он набрал порядочно новичков. Главным образом для подноски и на другие подсобные работы. У него правило: время от времени частично освежать бригаду. Пускай учатся. Он любит это дело — показывать. Самым упрямым, самым недоверчивым, тем, кто привык работать по-старинке, с «червячка».

Прежде укладчик разрывался на части. Раствор приготовь, принеси. Кирпич — приволоки. Известку и воду — тоже. Леса — замащивай. За каждым кирпичиком нагнись, обмажь его и положи. Никакого разделения подсобных работ и производства. Никакой подготовки рабочего места и материалов. Тысячи ненужных, бессмысленных, изнуряющих движений. Нагибаться и разгибаться. Египетская работа!

Так клали кирпич при Петре. Так клали при Николае. Никто не задумывался над тем, что можно и нужно по-другому, разумнее расставить людей, с учетом их опыта, скорости, ловкости, физической силы.

Вот делали высокие подмостья — они страшно неудобны. Терпели... Удобства при куриных масштабах и темпах старых сооружений в расчет не принимались, на скорость спроса не было. Строили и строили.

Нам работать надо по-иному. Не с «червячка»—по кирпичику одному мажь и мажь, а «с прижимом». «С прижимом» — это проверенный, оправдавший себя способ кладки. Кирпичи кладутся под ряд, без задержки. Они мелькают с немыслимой при «червячной» системе молниеносностью.

К Орлову приходили старые немецкие каменщики из шульбундовцев и удивлялись. Американцы, артисты по части кладки, пожимали плечами, таращили глаза. Со многих строек, из разных городов, из Ленинграда, Харькова, Горького, приезжали инженеры, техники, рабочие позаимствовать опыт. Он говорил:

— Пожалуйста, смотрите. Никаких секретов у меня нет.

Его приглашали на консультации, для инструктажа. Он выезжал. Демонстрировал перед специалистами и товарищами по профессии свой метод. Число последователей и учеников росло непрерывно.

А вот здесь, — идут пятые сутки, — «орловская» норма еще не показана. Немцы ходят на субботники. Профессора, учительницы, ребятишки таскают доски, кирпичи. Оркестр играет марши... Вчера пионеры повесили ему на шею галстук.

— Ты, говорят, дядя Орлов, герой, почетный человек в нашей школе. Мы слыхали о тебе много! Равняемся на тебя. У нас есть решение — каждый школьник должен учиться по-орловски. Мы вызываем тебя и твоих помощников на соревнование.

Он покосился на галстук, добродушно усмехнулся.

— Пионер... Чудно!.. Прежде завоевателей, полководцев славили. Теперь каменщиков.

Чтобы постичь его метод,— он не хитрый! — никакого «нахрапа» не требуется. Это факт... Вникнуть надо, со-

образительность иметь, любить свое дело. И все. В этом он убеждался не раз. Он работает каменщиком с малых лет. Его родина — село Порецкое, бывшей Владимирской губернии. Говорили: «порецкие — тыща душ, все — каменщики». Его дед в Москве строил особняки для князей, отец и дядья — купеческие дома и лабазы, он сам на той же работе с десяти лет.

Он вспоминает — у них в Порецком мало кто занимался сельским хозяйством. Одна лошадь на двадцать дворов приходилась. Поручали кому-нибудь пахать для всех. Он и ковырялся. Хлеба никогда не было ни у кого. Как уберут, так и съедят. По тридцати соток на едока!.. Шли на заработки в Москву.

Учиться ему нельзя было — лишний рот. Три класса сельской школы всего и кончил. В девяносто девятом году дядя взял в Москву.

В Москве он попал в артель. С артелью жил в бараке на окраине города. Спал на нарах. Его поставили судомойкой при кашеваре. Он мыл посуду, варил кашу, бегал за водкой, чистил сапоги, был «прислугой за все». Это была «школа» мрачная и жестокая, которую проходили тысячи таких же «мальчиков», как он, — вся рабочая детвора русских промышленных городов. Он получал харчи и затрещины и редко — теплое слово, улыбку. Когда однажды он отказался везти тачку с непосильным для него грузом, пьяный десятник зверски избил его.

Какое его ожидало будущее? Казалось:

Камни бьем, чтобы жить на свете,
И живем — чтобы бить...
Горе тем, кто ныне дети,
Тем, кто должен быть.

Так думали, так рассуждали многие.

Горе тем, кто свеж и молод,
Здесь, в тюрьме земной!

С детских лет он привык иметь дело не с игрушечными, а с настоящими домами. Он следил за движениями и приемами взрослых, копировал эти приемы в своих тайных, ведомых только ему, фантастических сооружениях Он старался не упустить ничего из того, что имело какое-либо касательство к занимавшему его воображение ремеслу, — от технических мелочей до сложных расчетов. Так он учился. Так «доходил до полного сознания ремесла».

За несколько лет он до того натаскался и пообык, что его поставили на самостоятельное дело — внутренним каменщиком. Ему было тогда пятнадцать лет. Дядя, с которым он работал, удивлялся:

— Ну, и Петр... Полтыщи махает... Талант!

Вместе с дядей укладывал кирпичи молодой, юркий паренек Мишка. Орлов подружился с ним. Они устраивали состязания на быстроту и ловкость. Дядя подзадоривал, смеялся:

— Кровь каменщицкая!

Они давали по тому времени и для своего возраста очень высокую выработку — шестьсот кирпичей. Платил же им подрядчик за целую неделю по пяти рублей. Оба они наравне со взрослыми работали. Взрослые выбивались из сил. Нет-нет, кто-нибудь сорвется, убьется, покалечится. Пострадавшего «спасали» испытанным средством — соткой. Сотка, — ее таскал всегда десятник в кармане, — была «аптечкой первой помощи». Какая бы неприятность ни приключалась на стройке, у подрядчика и десятника было одно лечение: «водку в глотку». Если

каменщик разбивался на-смерть, семье давали кое-какую подачку на похороны. Инвалид же ничего не получал.

Так жили. Так работали. Один дом строили по нескольку лет...

Эта жизнь, медленная и сонливая, как их «червячная» работа, жизнь одуряющая и бесцельная, отошла, истлела. От нее осталась гниющая ветошь, которая мешает жить, строить. Сколько уж лет, как он взялся снова за свое каменщицкое ремесло, — двенадцать! — а эти корешки, эта труха еще кое-где торчит на стройках. Нет, все должно быть по-другому. Все, как он наметил и как делает эти годы. Линии своей он не изменит.

С той поры, как он вернулся к специальности, его занимала мысль:

— Нельзя ли придумать, как попроще и разумнее, как полегче да поскорее и лучше по качеству вести кирпичную кладку?

Он строил дом за домом. У него была своя бригада. Его считали неплохим каменщиком. На конкурсах и соревнованиях, когда нужно было показать сноровку и ловкость, он не уступал никому. Но это были «червячные» рекорды. «Червяк» и «коза» — они сохранились в нетронутом виде. Все та же бестолочь. Он толкался среди каменщиков, смотрел, как они работают, слушал их расчеты, беседовал с прорабами и инженерами. У него понемногу зрел план реформы.

Однажды ему попала на глаза книжка, которая еще больше разожгла его и укрепила в мысли — взорвать, сломать, уничтожить эту заплесневелую, рутинную систему работы. В книжке рассказывалось о человеке из народа, неустрашимом полководце, умевшем, несмотря ни на что, добиваться поставленной цели.

Он любил такие описания. Вечерами, время от време-

ни, он например раскрывал издавна занимавшую его книгу по истории древних веков. В ней было собрано множество любопытных фактов. Они говорили о великих битвах народов и классов. Это было как раз то, что его всегда остро волновало. Борьба! Он и сейчас почитывает исторические книги, помнит отлично, где какое сражение происходило, из-за чего оно разгоралось, какие знаменитые полководцы участвовали в нем.

Но в этой, другой книге речь шла не о давнем. Тут все еще дышало и жило, все было близкое, виденное, знакомое. Этот человек затрагивал его, в нем он различал что-то родственное, что-то похожее.

Чапаев! Василий Иванович Чапаев! Так звали человека, изображенного в книжке.

«Вот, — думал Орлов, — какими должны быть люди, если они хотят чего-либо достичь в жизни. Голову сломал, но добился».

Он тоже должен все растормошить и по-чапаевски, без задержек, сразу навести порядок. Быть Чапаевым в своей специальности — на кирпичной кладке.

Эта мысль пробудила в нем желание действовать, немедленно действовать.

И вот как-то, — это было на Извозной улице, что в Дорогомилове, на кладке четвертого корпуса, — он решил попробовать. Посадил мальчишку-ученика рассыпать раствор, двух женщин поставил на подноску, сам с шурином Кузнецовым стал на кладку. Вышло неплохо. Женщины не успевали подавать. Инженеры сказали ему:

— Получается здорово, товарищ Орлов. Пока главное — количество, а качество придет. Важно привыкнуть, в норму войти.

Качество ему долго не давалось. Он ломал голову. После тщательной проверки всех звеньев пришел, нако-

нец, к выводу: втроем в одном месте нельзя. Хватит двоих — мастера и подсобного. Он поставил пары. Результат получился сразу. Кладка стала прочной, аккуратной. С повышением выработки и качества рос заработок. Об орловцах заговорили по всей Москве. Они выставляли на домах свои визитные карточки. Из выбеленного кирпича выкладывали на стене надписи:

«Орловцы. Месяц и год такой-то».

Знакомые каменщики пробовали подшучивать:

— Что, Петр Семенович, колдуешь все?

Он отвечал просто и серьезно:

— Смейтесь. Полторы тыщи кладем! А вы?

Он научил бригаду не известному до того новому способу выкладки вертикального поперечного шва. Их работа «с прижимом» прогремела на всех стройках. У него подбирались отличные ребята, виртуозы своего дела. Новички, попав в бригаду, не терялись, потому что их подпирали и тянули опытные соседи. На кладке углов, на зачалке бичевки, — это самые трудные точки, — стояли такие артисты, как Леонтьев, Парилов, Соколов, Макаров, Догадин, Горев, Мезонов. Они раззадорили всю Усачевку.

Каменщики из других бригад входили в азарт.

— Орловцам все почести!

Они пытались перекрыть рекорды его бригады. Это не вышло. Орловцы, как любимый герой из книжки «Чапаев», как Василий Иванович, шли и шли, не зная удержа.

Сколько домов построил Орлов! Почти полсотни. Но главные его сооружения сделаны за двенадцать лет, при советской власти. Тридцать восемь сооружений! Фабрики, учреждения, жилые корпуса... Такой дом, как по проекту архитектора Жолтовского, на Моховой, его бригада выложила в пятьдесят пять дней. Все думали:

— Тут наверное три смены работают, пропасть людей. А их было только двадцать пять. Полтора миллиона кирпичей! Прежде их клали полтора года. Однажды какой-то иностранец подошел к их постройке, долго стоял, с интересом наблюдал работу Орлова и сказал с вежливой улыбкой:

— Разрешите снять шляпу перед вашей работой. То, что сделали вы, непостижимо. Изумительно!

После работы Орлов собирает бригаду.

— Надо обсудить положение. Мы тут пятые сутки, а еще ни одного этажа. Конечно, на подноске новенькие,— говорит он. — Но все-таки у орловцев такого еще не было. Предлагаю высказаться.

Он слушает, что говорят.

— Две с половиной тыщи давали.

— Три!

— Петр Семенович, укладчики ни при чем.

— Нам давай раствор и кирпич, три с половиной будем класть!

— Немецкие товарищи смотрят. Нехорошо.

— Обещали, ясно.

— Этак знамя другие возьмут.

Орлов сердито машет рукой.

— Ну, знамя будет наше... Только отстаем мы. Это плохо. Дело в подносчиках. У растворомешалок базар. Рвут друг у друга. Мечутся. Распределение неравномерное, — вот укладчики нормы и не могут дать. У орловцев — порядок. У орловцев — конвейер! Звено к звену! Четкость. Все по местам. От соседа к соседу. Люди, машины, материал — все расставлено. Зевать, в носу ковырять не приходится. Это не с «червячком» работать!

Он предлагает убавить число подносчиков. Меньше, а сделают больше. Базара не будет. С утра он все проверит.

К нему подходят пионеры.

— Товарищ Орлов, — говорит один из них, постарше. — Товарищ бригадир! У вас запачкан галстук. Это не годится. Вы — наш почетный пионер. Если у вас будет грязный галстук, это будет очень плохой пример. Мы принесли вам другой галстук.

Орлов растерянно смотрит на делегацию.

— Видали? — укоризненно обращается он к бригаде. — Видали? Чистый галстук! Правильно! И кладка... И кладка наша — тоже должна быть такая... Чистая! Как галстук!

С утра, еще до начала работы, Орлов обследует «тыл». «Тыл» — это там, где готовят раствор, где лежит кирпич, где инвентарь и инструмент для переброски необходимых материалов к месту укладки. Если тыл обеспечен, можно расставлять людей по захваткам.

Он осматривает все механизмы, проверяет, достаточно ли цемента, бута, извести, хватает ли рамок для кирпича, пробует, как работает под'емник. Он прикидывает, кому какой инструмент дать. От личных привычек и особенностей иногда зависит очень многое. Только убедившись, что все готово и в исправности, он дает сигнал. Люди занимают места по его указаниям. Сегодня к растворомешалкам вместо семнадцати он прикрепил только восемь подносчиков. Он учел и рассчитал. Эти восемь обернутся быстрее. Пары он подбирает особенно тщательно. Надо показать в первый же день всю силу организации, все значение порядка на площадке. Догадин, Леонтьев, Пери-

лов, его брат Василий, Макаров и другие — это костяк, надежный народ. Дай им в помощь подходящих людей, и они станут делать три с половиной, а то и все четыре тысячи.

Все пошло точно, как он задумал. От растворомешалок, от штабелей двигалась ритмичная, правильная цепочка. Укладчики не могли пожаловаться на подноску. Подносчики, получив от бригадира подробный инструктаж, работали с азартом, но без толкучки.

День принес отличный счет. Все нормы были перекрыты. Средняя производительность каждого рабочего в бригаде дошла до четырех тысяч кирпичей в день. Орлов же, работавший с какой-то свирепой сосредоточенностью, показал неожиданный даже для самого себя результат. Он уложил за урочные часы шесть тысяч.

— Его в шутку называют колдуном, — директор школы Целаско с сияющим видом указал на пожилого человека, что с непостижимой ловкостью жонглировал красными кирпичами на лесах строящегося дома.

Люди внизу, — они пришли на субботник, — с веселым любопытством посматривали наверх.

— Это Орлов, бригадир, лучший в Москве каменщик, — представил его директор собравшейся публике. — У него великолепная недюжинная сметка. Он дает непонятные на первый взгляд рекорды. Шесть тысяч таких красных штучек за рабочий день — это феноменально. И всего этого он добился правильной организацией дела!

На стройке немецкой школы это было особенно разительно. Другие бригадиры по сравнению с ним имели семнадцать суток форы. Кроме того у них было больше рабочих. Школу завода имени Фрунзе строили пятьде-

сят два каменщика. Орловцев же было всего девятнадцать.

Им нужно было, не нервничая, без паники, сохраняя до мелочей свой принцип и методы работы, не только догнать, но и значительно опередить семьдесят одну стройку.

Для этого Орлов и его бригада должны были каждую шестидневку сдавать по этажу.

Ибо их срок, их финиш был очень далек от официального. У них существовал неписаный договор с директором школы товарищем Целаско: покончить со всеми кирпичными укладочными работами за месяц и уже в начале мая пустить в дом кровельщиков.

За тем, как орловцы справляются со своей задачей, за их выработкой и за всем ходом строительства напряженно следили полторы тысячи глаз. Это были глаза детей, глаза, в которых мелькали тревога, гордость, уверенность, удрученность, радостное удивление, восторг, обожание. Они с волнением впивались в очередные сводки, которые публиковала стенновка школы на площадке. Рекорд, поставленный кем-нибудь из каменщиков, становился общим достоянием. Мальчики и девочки знали в лицо всех рабочих. Они говорили между собой:

— Сегодня Догадин уложил две тысячи восемьсот.

— Этот Леонтьев отлично кладет шов.

— Перилов наверно завтра даст три с половиной тысячи.

Перед весенними зачетами ребята начали состязание: кто лучший орловец в учебе? Пионеры рассказали об этом Орлову. Тот одобрительно захохотал.

— Что ж, валяйте, ребятки. Когда я слезу отсюда, то приду к вам в класс и проверю, что вы знаете по физике.

Эта шуточная угроза всполошила всю школу. Все только и повторяли пущенную кем-то фразу:

— Ничего, Орлов проверит!

— Этот русский каменщик, — говорил директор, — не только даровитый организатор, но и своего рода «моральный нерв» его бригады. Посмотрите, они уже доделывают последний этаж! Это потому, что Орлову удалось «психологически мобилизовать» своих товарищей. Он так и сказал мне: «Мы, орловцы, очень польщены тем, что из всех каменщиков именно нам партия и советская власть оказали такое доверие — строить школу для пролетарских детей Германии». Вот с каким чувством они взяли в руки кирпичи.

Немецкая школа в Москве, десятилетка имени Карла Либкнехта, что на Кропоткинской улице, построена в двадцать семь дней девятнадцатью каменщиками бригады Орлова. Начав работу 2 апреля 1935 года, они к 29 апреля уложили девятьсот тысяч кирпичей, выведя под крышу четыре этажа. Возглавлявший рабочих бригадир, знаменитый московский каменщик, инициатор нового метода кирпичной кладки, стахановец Петр Семенович Орлов дал рекордный результат, превысив во много раз существующие официальные нормы. Его бригада в соревновании семидесяти двух школьных строек столицы заняла первое место и завоевала переходящее красное знамя. Благодарная немецкая школа в память об исключительных заслугах каменщика Орлова установила у себя в главном зале его скульптурную фигуру во весь рост.

Сегодня каменщик Орлов работает с бригадой в Дорогомилове, на Извозной, на той самой улице, где шесть

лет назад он сделал первую попытку «взорвать» ветхую, омертвелую технику. Как это почти всегда бывает у него, он совершенно поглощен делом. Он строит дом... для себя. Огромный многоэтажный дом со множеством комнат. Отлично оборудованный, добротный, солидный дом. Таких домов, по решению Московского совета, будет семнадцать. Их сооружают в самом срочном порядке, они должны быть готовы к марту 1936 года. Эти дома — для каменщиков, для строителей, для их семей—«для себя»...

Об этом доме, что строит «для себя», Орлов говорит как-то особенно весело:

— Вот строим дом. Громадина... Ничего?

Он явно взволнован:

— Строили, но никогда не жили. Выкладывали особняки и хоромы, но ходить мимо них нам было запрещено. Каменщику, строителю не разрешалось появляться на центральных улицах. Мы спали на четырех ветрах—в бараках. На нарах... А недавно... Недавно я, Петр Орлов, был приглашен в Кремль. Я заседал вместе со Сталиным. В зале сидели такие же, как я, рабочие люди. Это самые умелые люди в нашей стране. Они, каждый в своей специальности, сделали переворот. Их называют стахановцами. И я был среди них. Я слышал, как просто наши вожди говорили с рабочими. Я слышал Сталина. Это было в самом центре столицы!

---

3 апреля 1936 года ЦИК СССР наградил П. С. Орлова орденом Ленина.

Леонид Саянский

Сила соревнования

I

Дрогнул звонок, и в квартиру вошли гости. Трехлетний Вовка шариком выкатился в переднюю, всплеснул пухлыми ручонками:

— Опять к нам? Ох, сколько много гостей!

Худенькая женщина выбежала следом, подхватила ребенка, застенчиво улыбнулась:

— Уж извините... Просто беда, до чего он у нас отчаянный!..

Василий Александрович Бобков

В светлом прямоугольнике распахнувшейся комнатной двери выросла массивная фигура хозяина — русой головою под самую притолоку.

Гостей было трое. Один — сразу видно — свой. В помятой мосторговской кепке, с бывалым портфелем под локтем. Двое других — в мягких, толстых пальто, в тугих шляпах, белейших воротничках. Видать заграницу!

— Мистер Бобкоу? — сказал крупнолицый, золотозубый гость и угловато раскланялся.

— Герр Бобкофф? — повторил поклон второй, низенький, круглощекий.

— Товарищ Бобков, а мы к вам! — пояснил третий, в кепке. — Это иностранные корреспонденты...

— Извиняюсь, малость у нас не прибрано. Только я встал. В ночной смене работаю... — сказал хозяин, впуская гостей.

Они чинно уселись за квадратный стол.

Новый стул по другую сторону стола сдержанно крякнул под Бобковым. Тяжелые, как весла, руки осторожно улеглись на скатерть.

Гости молча разглядывали знаменитого рабочего.

Он был прост, этот большущий человек с широким носом и светлыми бровями.

Взъерошенные подушкой волосы и маленькие ясные голубые глаза придавали его лицу детскую мягкость. Чуть уловимая усталость была в этих глазах, когда он сказал, помолчав:

— Ну, что же... спрашивайте.

Целлулоидовые странички «бесконечных блокнотов» покрывались записями. Нью-йоркский гость старательно выговаривал русские слова:

— Когда именно мистер Бобкоу имел поставить свой замечательный рекорд?

— Двенадцатого октября 1935 года, — так же четко ответил хозяин.

— Какой есть вес вашего молота?

— Двенадцать тысяч английских фунтов.

— Сколько много коленчатый вал делать по норме и сколько вы?

— Норма двести сорок пять в смену, а я делаю пятьсот. Вовка, не лезь к дяде!

— Пятьсот? Impossible! Astonishing![1]

— Kolossal![2]

— Сколько... ээ... money... ээ... деньги имеет вы на месяц?

— Монет, что ли? До стахановского похода, в сентябре, триста пятьдесят монет. В октябре, когда перешел на стахановский метод, девятьсот заработал, а в декабре. например, тысячу двести сорок пять рублей... Нинка, уйди ты со своей куклой!.. И Юрку с Вовкой возьми... Ма-ать! Да убери же ребят, не дают поговорить с Европой!..

Гости долго и подробно расспрашивали, как расставлены силы в бригаде, сколько ударов приходится на штамповку. Записывали. Зорко оглядывали комнату.

Смутно поблескивал никель кровати. Диван щеголял новизной. На этажерке в углу — книги. Опрокинутый мак абажура над еще ни разу не стираной узорчатой скатертью. На подоконнике — «кривоносовский сверхсостав» из вагончиков и спичечных коробок. Впереди — сверхмощный локомотив с ватным дымом, засунутым в трубу. Суконный медведка мечтательно пялил пуговичные глаза на снежный простор за окном. В квартире было тихо. Мирный, обжитой уют семьи!

---

[1] По-английски: невероятно, поразительно.

[2] По-немецки: колоссально.

Хозяин отвечал с машинальной готовностью, поглядывая по сторонам. Москвич заметил:

— А вижу я, товарищ Бобков, частенько вам приходится объяснять? Много, видно, народа ходит?

— Да ведь дело понятное... Интересуются все. Бывает, с утра приезжают. Обязан я рассказать...

— Noch eine kleine Frage [1], — сказал немец. — Где вы родились, герр Бобкофф?

— В селе Сапкове, бывшей Рязанской губернии. Раньше звали нас знаете как? Ря-зань косо-пузая! — ответил хозяин, и детская улыбка тронула его крупные, мягкие губы.

— It is impossible [2], — повторил Нью-Йорк.

— O, ja, kolossal! [3] — поддакнул Берлин.

И оба поднялись, как по команде.

— Thank you [4], мистер Бобкоу!

— Danke schön [4], герр Бобкофф!

— Пока! — ответил хозяин. — Ма-ать! Не пускай ребят в прихожую, дует!..

Русский остался за столом.

Европейцы чинно спускались по еще малохоженой лестнице щеголеватого дома. В блокнотах — интервью с «чемпионом из Рязани Бобковым, кузнецом завода имени Сталина».

II

Задолго до визита милостивых государей из Европы Василий Александрович Бобков, восемнадцати лет, из

---

[1] По-немецки: еще вопросик.

[2] Это невероятно.

[3] Да, колоссально!

[4] По-английски и по-немецки: спасибо, благодарю вас.

крестьян села Сапкова, старший сын малоземельного мужика, белокурый и долговязый парень, ушел из села. Провожали Васютку все восемь душ. Девятый рот — Василий Бобков — из-под убогой крыши уходил искать себе долю в дымный, гулкий, обожженный войной, голодом и морозом город.

Мечта парня была очень скромна. Бобков хотел изучить «рукомесло» и стать заправским деревенским кователем.

По восемь часов махал он пудовой кувалдой в ручной кузне Мосстроя, щуря воспаленные глаза, ежась от жгучих искр, шипевших в продымленных волосах. Он работал с остервенением, упрямый рязанец с телом борца и лицом подростка. Он торопился подставить плечо семье, сменить слабеющего отца.

Город, пошатываясь, вставал на ноги после разрухи, зажигал огни на расчищенных бульварах, прихорашивал изъязвленные пулями фасады.

Отмахав в кузне три года, Бобков ушел в армию и попал в мотополк. Обстановка ошеломила его. Невиданные и многочисленные машины сначала пугали. Вокруг них — люди, одинаково одетые, четко работающие, быстрые. Но вот — слово «акселератор» стало произносимым.

Когда же в ответ на первый робкий нажим на педаль тяжелая зеленая машина послушно рванулась вперед, когда, подчиняясь легчайшему движению «баранки», стопудовый бенц на всем ходу вписался в извилистую кривую дороги,—тогда ведший машину Бобков впервые постиг радость победы над пространством и временем.

И так же упрямо, как некогда в кузнице, парень взялся за дело. Он решил войти в дружбу с чудесными механизмами.

Полк учил Бобкова грамоте, подтягивал его волю, воспитывал дисциплину, вырабатывал четкость и легкость движений. И все послушнее становились машины. Полк был сейчас молотом, а Василий Бобков — куском отличного и ковкого металла.

Через два года из полка вышел в новую жизнь уже не робкий деревенский парнишка, не только сгусток мускулов, а сроднившийся с машиной человек.

По Москве, крякая, завывая и ухая, а то и обвораживая шелковым шелестом, проносились машины всех форм и марок — от видавшего на фронте виды помятого оппеля или мерседеса до паккардов, бьюиков и ройсов.

Кривые улицы, наивные церквушки доживали последние дни. Новые, сверкающие проспекты уже пролегли на толстых ватманах и кальках строителей. Уже клубилась кирпичная пыль. Веселый грохот стоял над сносимыми кварталами. Новые улицы ждали своих машин.

Под соснами Тюфелевой рощи, где матерые ловкачи-банкиры когда-то для вида построили кустарные бараки АМО, поднимался великан ЗИС — завод имени Сталина.

В двадцать шестом году молотобоец Василий Бобков пришел на АМО. Через два года он стал мастером на большом новом молоте и накрепко связал свою судьбу со строившимся гигантом.

Нестерпимым жаром дышали нагревательные печи. Длинные клещи с хирургической точностью выхватывали из дверец четырехпудовую отливку и ловко бросали под нависший штамп молота.

Мастер Бобков, сжимая зубы, захватывал клещами огромный кусок розовевшего чугуна и, нажав педаль, обрушивал потрясающий пятитонный удар. Гром сжимал сердце. Пол вздрагивал. Испуганно подпрыгивала кружка на баке с водой.

Кузнец работал. Веселый фейерверк цветных искр праздновал победу над раскаленной материей. Под двенадцатым ударом она покорялась, превращаясь в коленчатый вал, в переднюю ось будущего трехтонного зисовца.

Помощники быстро перебрасывали поковку под пресс. С чудовищной, молчаливой силой пресс давил, обрезая заусеницы, по-кузнецкому — «зузенцы». Потом эти шестьдесят шесть кило едва сформированной стали попадали под меньший, ковочный молот. Он сыпал на деталь громоносную очередь ударов, пробивая флянцы. Четвертым залпом правочный стан выправлял последние неточности.

Человек двенадцать снайперов индустрии неустанно воевали в пролете, гоняя раскаленные глыбы со станка на станок, вынимая поковки из сияющих жерл печей.

Бригада работала молча, понимая друг друга по быстрому взгляду, кивку, по беззвучному движению губ.

К концу смены из пролета катились тележки, вывозя двести — двести двадцать новых валов. Норма в двести сорок пять валов никак не давалась.

Дни шатали, размеренные и гулкие. Кончив смену, рабочие одинаковым жестом снимали спецовки, принимали душ.

Намолчавшись в цехе, говорили оживленно, излишне громко. Им казалось, что их не слышно...

Кузнец Бобков быстро обедал и уходил на учебу, на цеховые вечерние курсы. Очень трудно давалось черчение. Составы сплавов, микроструктура металла запоминались легче. Металл понятен и близок, а строки технических формул кажутся еще чужими. Кузнец с благодарностью вспоминает полк, свою первую школу...

III

В тот памятный вечер Василий Бобков пришел домой поздно и, чем-то взволнованный, коротко сказал:

— Мать, а мать! Уложи-ка ребят, мне подумать надо...

— Задержался-то где?

— Митинг был на заводе... Стахановцев вызывают. Убирай со стола, я сяду и подумаю. А ты ложись!

За широким окном спал в октябрьской стылой ночи заводский жилой городок.

Дети сладко посапывали. В шлепанцах кузнец бесшумно бродил по комнате, шарил на этажерке и снова присаживался к столу. Чертил что-то на вырванном из тетрадки листке. Карандаш казался спичкой в тугих и больших пальцах. Кузнец расчертил план своего пролета. Двенадцать крестиков отмечали рабочие места. Пунктиры — движенье людей меж станками. Кузнец шептал цифры, делил, умножал, вычитал. Юрка во сне взметнул ручонкой, забормотал:

— Лови-лови-лови-лови!..

Ему снился мячик, игра.

— Поймаю! — ухмыльнувшись, тихо сказал кузнец.

Добродушный рот подобрался, лицо стало тверже. В потемневших глазах загорелись острые, светлые точки. Кузнец зажал горячую голову в огромных, жестких ладонях, дышал густо и сильно.

— Н-ну, а... ежели так? — спросил он, поднимая глаза к абажуру.

Абажур молчал.

Часы на стене были вежливее. Они ответили:

— Так-и-так, так-и-так!

— Конечно, так! — облегченно сказал Бобков. — Завтра же и попробуем!

— Как работать-то будешь, полуношник? — проворчала жена, — не кури-ка ты на ночь... Ложись скоренько, ну?

Кузнец выключил свет, откинулся на подушку. Молчал долго. Вздохнул и сказал в темноту:

— Эх, кабы мне да учебы побольше!..

— А ведь просто!.. Удивительно просто!.. И как раньше никто до этого не додумался?.. — говорили, собравшись в пролете, мастера, техники, соседи по цехам.

Бобков сдавал смену бригаде Хромилина. Слегка растерянная детская улыбка еще не сошла с замазанного гарью лица Бобкова. Он сам не ожидал такого эффекта своих замыслов. Сегодня они сделали триста семь валов, на шестьдесят два больше технической нормы.

— Шестьдесят два-а? — переспросил Хромилин, быстрый, маленький, сухой парень, моложе Бобкова. — Шестьдесят два!.. — Он задорно тряхнул головой. — А ну, ладно! Увидим, кто больше! Только должен ты нам объяснить досконально, в чем секрет твой.

— Правильно! — подхватили хромилинцы. — На то ты и стахановцем себя вчера объявил!.. Достигнул — обязан показывать...

— Я ж не прячу... — ответил Бобков. — Дело, верно, очень простое.

В две нагревательных печи входило сорок болванок. По обычаю их закладывали сразу целой партией и ждали нагрева первой болванки. Потом по очереди ковали, пока не кончалась вся партия. Тогда снова сообща заряжали печи новой партией болванок.

За рабочий день заряжать приходилось пять-шесть раз.

И пять-шесть раз стояли станки, теряя драгоценные минуты.

Бобков дерзко нарушил правила. Он снял с одного из станков человека и поставил его на зарядку к печам, чтобы он беспрерывно закладывал новые болванки на место вынимаемых под молот. Зарядка пошла «конвейером», без остановки, без отрыва бригады от станков. Как только из жерла выхватывали нагретую деталь, рабочий мгновенно закидывал туда новую.

Незаметное, казалось бы, упрощение операции уплотнило ее чрезвычайно. Разбрасываемые незаметно человеко-минуты были найдены, собраны и дали целый человеко-час. А этот час дал шестьдесят две лишних поковки.

IV

Ранним утром, — хмурый, слезливый рассвет еще боролся с зимней ночью, — в цех прибежали Некрасов и Карамазин — профорг и парторг.

Запыхавшись, в одно слово они спросили:

— Ну?

Усталый, но сияющий Хромилин раздельно, едва сдерживая волнение, вымолвил:

— Триста двадцать шесть! В-во!!

Парторг и профорг кинулись в цехком. Через десять минут в пролете появился наспех сделанный плакат:

«Кузнец Хромилин в ночную смену отковал триста двадцать шесть валов. Привет стахановцам ЗИС! Что ответит Хромилину смена Бобкова?»

Умытый и причесанный Хромилин тоголем встретил сменщиков:

— Ну, что, старички? Сдаетесь?

Он был не на много моложе Бобкова, этот задорный и

быстрый мастер, но у Бобкова в смене, действительно, было несколько людей пожилых.

— Триста двадцать шесть? Слыхали вы?.. — озадаченно бормотал кузнец. — Что же это? Выходит, что нам «наклепали», ребята?

— На-кле-па-ли... — сердито передразнил натревальщик Ванин, — ну, а мы им наклеплем!..

— Уступать не приходится... — поддержал старик Боскалевич. — Старики? Мы? Ладно, посмотрим, чья возьмет!

Бобков еще раз проверил расстояние между станками. Эту ночь он опять долго сидел над измятым уже чертежом.

— Да... Конечно, много значит движение!.. Пойдешь вот этак, глядишь — пять шагов... Спрямишь линию, не сделаешь лишнего поворота, будет три. А в шаге-то секунда, а с тяжестью больше... Удалить все кривые, упростить, сжать движения, сэкономить за день две-три сотни вот этих шагов и поворотов — это значит найти внутри дня несколько лишних минут на человека...

Бригада слушала молча. И молча же разошлась по местам.

В эту смену в соседних пролетах многозначительно переглядывались.

— Бобковцы свирепствуют!.. Подсмолил их Хромилин!..

К концу дня разошлись в улыбку плотно сжатые губы Бобкова, посветлели лица рабочих бригады, покрытые копотью. Экономия на кривых сказалась. Время сделалось гуще, плотнее и благодарно платило человеку — превращалось в вещи, в новые и новые поковки.

— Триста сорок!

Огромная красная цифра на свежем плакате словно ударила Хромилина по лбу. Но еще более задевала его едва видимая внизу приписка, сделанная дрожавшим в усталой руке карандашом:

— Ну-ка вы, молодые!

Хромилинцы нажали.

В заводской редакции спешно верстали ударные полосы о яростной и почетной схватке двух стахановских отрядов. Их борьбою жил уже весь завод.

Утром на плакате хромилинской смены появилась новая цифра:

— Триста шестьдесят!

Под текстом еле виднелась совсем неофициальная, но победоносная, в отместку «старикам», приписка:

— На-ко-ся!

В столовой уборщицы, по собственной инициативе, все цветы переставили на столы именитых бригад. Заводоуправление и завком чествовали бойцов отменным обедом.

В цехах молодежь делилась на «бобковцев» и «хромилинцев». Все новые добровольцы стахановской армии, захваченные радостным пафосом, являлись в цехкомы, в партком, объявляли:

— Повышаю на десять! На двадцать! На сто!!

Цеховые парторганизации и цехкомы формировали новые звенья, бригады стахановцев. Великолепная ярость соревнования все сильнее разжигала людей.

В этот ноябрьский день весь завод ждал конца утренней смены. Наконец, осторожные стрелки на множестве циферблатов заводских часов показали четыре.

Из соседних пролетов, цехов, корпусов в кузню бежали люди. Ровно в четыре звенящая тишина, такая не-

обыкновенная после семичасового грома, упала над цехом.

Мастер Бобков снял занемевшую ногу с педали. Чумазая бригада была счастлива.

Бобков схватил за руки Карамазина и Некрасова:

— Триста... восемьдесят!.. — прерывисто сказал он.

— Вот это... — начал кто-то и замолк, не найдя подходящего слова.

Последняя ночь показалась необыкновенно короткой. В пролет не на шутку освирепевших хромилинцев то и дело забегали соседи. Возвращаясь сообщали:

— Двести семьдесят пять! Двести девяносто! Триста пять! Триста пятьдесят!

Двенадцать голосов ровно в восемь прокричали:

— Ура! Триста восемьдесят пять!

Кузнец Бобков пришел хмурый. Ночь он провел плохо, — просыпался, вскакивал, глотал воду... В утомленной голове теснились мысли.

— Нет, одним напором не возьмешь!.. Нажим — дело простое!.. Скоро выдохнешься... Надо, значит, еще что-то найти!.. Дирекция обещала дать тали для подноса поковок, но покамест их нет... А если бы нам тали! Ого! С талями я до полтысячи догоню...

Бобков еще и еще продумывал каждый шаг, упрощал подход к печи, сокращал, стискивал время до предела. При особом внимании число ударов большого молота можно было сократить до десяти...

На плакат с цифрой «триста восемьдесят пять» поглядел равнодушно.

Старался не волноваться.

Двигался скупо, с какой-то волчьей легкостью.

Напряженная донельзя воля пружинила тело.

Кузнец понимал отлично, хотя может быть не сумел бы как следует сформулировать эту мысль:

— Это не только соревнование его и Хромилина. И не только соревнование бригад. Это жестокая схватка со старым, закосневшим миром.

Это была настоящая война. И воевал уже не кузнец Бобков, а весь завод, вся построившая его страна.

Вот почему заморский двенадцатитысячный молот не просто тремел, грохотал и ревел, — нет, сегодня этот грохот сливался в торжественную мелодию, в марш победы над мерою времени. И, завершая бой, знаменем выглядел плакат:

«Бригада товарища Бобкова сегодня, 12 ноября 1935 года, поставила рекорд поковок, выдав !!!четыреста десять!!! коленчатых валов».

V

Вчерашние яростные соперники, как ни в чем не бывало, крепко жали друг другу твердейшие руки.

— Не угонишься за тобой! — сказал Хромилин. — Я на что молот знаю, но ты...

— А ты карандашик возьми, карандашик! — ответил Бобков. — Он, карандашик-то, сильнее молота!

Через несколько дней в пролет неожиданно зашел невысокий и плотный человек с лицом, знакомым по множеству портретов. Живые глаза пытливо смотрели из-за стекол пенсне.

Рязанский коваль, сойдя с молота, пожал руку главе правительства. Сначала робея, потом все тверже, Бобков рассказал ему о своей схватке с европейскими нормами.

И просил помочь: дать бригаде новую печь, с постепенным нагревом, избавляющую людей от страшного жара, сберегающую силы и здоровье. Тогда, он ручался, бригада будет давать регулярно пятьсот.

— Печь нужна. Лихачев, печь ему надо поставить!— сказал председатель Совнаркома товарищ Молотов.

— Будет к концу декабря! — твердо ответил директор завода.

Печь поставили, и Бобков перекрыл свое обещание — стал давать по пятьсот пятьдесят шесть коленчатых валов.

Суконный медведка проводил европейских гостей своим равнодушным пуговичным взглядом. Ранний январский вечер тонкой просинью тронул широкое окно.

Ребятишки, вырвавшись из материнского плена, забежали в комнату. Отец все еще разговаривал с гостем.

— Что ж, неужели пешком ходишь на завод? Ведь тебя и машиной премировали,— сказал засидевшийся посетитель.

— Для полировки кровей пройтись по снежку-то не мешает,— ответил хозяин, натягивая рубаху. Округлые мышцы играли под белыми рукавами. — Помахай с мое!..

Кузнец засмеялся и вдруг стал серьезен.

— Вот, брат, дело какое... Руками теперь не особо возьмешь! Ну, сегодня, я, значит, герой, награжден орденом. Рекорды ставлю и все такое. Ну, а завтра?

— Что именно, Василий Александрович?

— Завтра что, говорю я. Наша жизнь теперь в чем? Чего я сегодня достиг — завтра вчерашним станет. Так,

значит, надо все дальше шагать. А образование ведь у меня пустяковое.

— Ну, ты еще молод. Что за годы — тридцать три. Учись!

— Ну, вот, то же самое я и думаю! — обрадованно сказал хозяин и совсем по-ребячьи заулыбался. — За учебу берусь теперь вот как! А то эти (он кивнул на ребят) подрастут, не заметишь, как на печку посадят. Правильно я говорю?

— Безусловно! — ответил гость.

Товарищ Бобков подошел к зеркалу, поправил галстук, надел пиджак. Он собирался на работу.

О. Фомина

Стахановская школа

Степан Иванович Яшин вернулся домой с большим свертком бумаги и пачкой каких-то овальных, неправильной формы выкроек.

От чая он отказался. Попросил жену поскорее убрать со стола и попробовал разостлать на нем принесенный лист.

Бумага на столе не умещалась.

Тогда Степан Иванович расстелил ее прямо на пол, присел возле нее на корточки и задумался.

Степан Иванович Яшин

Сынишка Яшина вернулся домой с катка и удивился. Отец лежал на полу и с увлечением раскладывал по огромному листу овальные бумажки.

— Ты, папа, что это? Плакат делать хочешь? — быстро сообразил сын. — Так разве так можно? Ты сначала бумагу ровно обрежь, а то она у тебя нескладная-пренескладная, кривая и с одного бока словно рваная. — И он схватил было ножницы, чтобы подравнять бумагу.

Но отец торопливо задержал его руку.

— Не тронь! Мне такая бумага и нужна.

Сын обиделся.

— Не умеешь ты, папа, плакаты делать. Вон у нас в школе плакаты — так это плакаты! Красота. Мы и сегодня один сделали. Насчет Стаханова.

— Вот и я тоже насчет Стаханова,— улыбнулся Степан Иванович и снова стал раскладывать свои бумажки. Сын с сомнением покачал головой и заявил:

— Ничего у тебя этак, папа, не выйдет. Не хочешь опытного человека послушать — возись сам. Не буду тебе помогать.

И отправился спать.

Поздно ночью Степан Иванович встал с пола и с довольной улыбкой свернул свой плакат. На белом листе так и не появилось ни одной буквы, но автор этого странного произведения был повидимому очень доволен своей работой.

На другой день Яшин пришел в цех раньше обычного — не за тридцать минут, а почти за час до начала смены.

В «штамповке» было пусто и непривычно тихо. Вдоль окон выстроились в ряд тяжелые чугунные прессы «революцион», на которых вырубаются из толстой кожи стельки, подошвы, набойки для каблуков. В противоположном

конце цеха сгрудились станки для обработки рантовой стельки, для вскрытия рисса резиновой подошвы и для других операций, связанных с подготовкой нижнего обувного материала.

Между машинами застыли высокие вагонетки с полочками. В цехе тесно, непривычному человеку здесь пришлось бы пробираться точно в лабиринте, все время рискуя попасть в тупик между сдвинутыми вагонетками.

Но Степан Иванович быстро и уверенно прошел к своему месту. Свой цех он знал не хуже, чем свою комнату. Не заблудился бы в нем даже в кромешной темноте.

Достав масленку, он начал неторопливо и методически смазывать свою машину. Щедро налил масла в одном месте, осторожно по каплям отмерил в другом. Потом тщательно обтер чугунные части мягкой тряпкой и попробовал рукой каждую гайку — не ослабло ли где крепление. Деревянную колоду, на которой идет самая рубка, тоже промаслил. Проверил угольником, ровно ли лежит металлическая доска, на которую кладется кожа.

Доска эта должна быть совершенно горизонтальной, иначе штанцы — формы с острыми краями, при помощи которых вырезается деталь, — одной стороной будут вминаться в дерево колоды, а другой плотного чепрака не прорубят.

В цех постепенно сходились рабочие.

Большинство ласково здоровалось с Яшиным. Только несколько человек прошли мимо него с шуточками:

— Что, говоришь — тебе все норма мала?

Зарокотали тележки. Подсобницы начали развозить по рабочим местам тяжелые желтые кожи.

Пересмеиваясь с рабочими, быстро складывают девушки громоздкие кожи.

— Вам, ударнички, — смеются они над давешними остряками, — небось поменьше чепрака класть? Подвозить не придется, не справитесь!

Гудок. Тронулись и зашелестели трансмиссии. Рабочий день начался. Яшин взял кожу. Несколько секунд на нее смотрел. Потом сделал две-три отметки мелом. Одним движением забросил чепрак на колоду. Еще раз оглядел штанцы, аккуратно расставленные на приполке у пресса. Взял средний размер и быстро начал накладывать его «елочкой» вдоль правой стороны чепрака. Носок — внутрь. Пятка — наружу, к краю, где кожа слабее. В пяточной части кожу накроет каблук, здесь прочность не так важна, как в носке и во всей передней половине.

Тесно одну к другой вырубает Яшин подошвы. Ни один дециметр кожи не должен пропасть зря. Крупного рогатого скота у нас еще мало.

Степан Иванович помнит, как писали ему из колхоза старики-родители слезные письма о безобразном убое скота в ранние годы первой пятилетки.

Поголовье скота растет год от года. За колхозными стадами смотрят пастухи-ударники, прошедшие пастушьи семинары и ветеринарные техминимумы.

А когда-то Степка Яшин пас общественное деревенское стадо. Долгие дни гонялся за черно-пегими и рыжими капризницами-коровами, норовившими затесаться в чужие хлеба или заплутаться в овратах. С ужасом обходил грозно хрипящего кулацкого быка. Того и гляди, подденет на рога! Серьезная животина.

Нелегко и невесело быть в десять лет пастухом. А нельзя иначе. Надо хлеб зарабатывать. Харчи добывать. Дома — голодуха. Отец — зиму и лето в городе, на отхо-

жих заработках. Мать — с девятерыми малолетками воротит всю крестьянскую страду.

Четко и быстро стучит штамп «революцион». Одну за другой вырубает подошвы и стельки. На полках вагонеток ложатся плотные пачки готовых деталей. Набойки и другая мелочь ссыпаны в ящик.

Тяжелые ящики приходилось ворочать у купца Кузнецова. И — обидно. Платили, как малолетку, по двадцати целковых в год. А работу требовали за взрослого. И еще попрекали:

— Неуч! Другие ребята читать-писать умеют. А этот — лодырь безграмотный!

А как будешь грамотным, если школа далеко? Дома — одни валенки на девятерых. И те дыра на дыре. В лаптях за четыре версты зимой не побегаешь!

Звонок. Перерыв. Яшин с удовлетворением осматривает ровные пачки на полках вагонеток. Кож на столе осталось совсем мало. Скоро норма будет выполнена... А там!..

Страстно, с замирающим сердцем читал он в газетах о рекордной работе Стаханова. Вот это человек! Вот этот по-настоящему взялся за дело! Умно, по-хозяйски спланировал свою вырубку. Неужели он, Яшин, зря всю ночь раскладывал по листу бумаги — точной копии кожаного чепрака — выкройки стелек и подошв? Нет, не может быть. План себя оправдает!

Наспех, не разбирая вкуса, глотает Яшин обед в фабричной столовой. Скорей, скорей! Опять за работу! Руки горят. Им хочется снова и снова хватать и накладывать штанец. Нога тянется к педали. Стук — хлоп. Деталь! Еще одна деталь. Ровно, четко. Вместо тяжелого чепрака с колоды слетает тонкое кружево высечки.

Плановое задание давно перевыполнено. Изумленные девушки-подсобницы уже второй раз подвозят на вагонетках кожу.

Звонок. Кончилась смена. Еще два-три поворота, и замерли ленты трансмиссий. Яшин вынимает из резаков последние детали. Берет тряпку. Надо еще раз осмотреть машину, смазать все части, обтереть... Сдать сменщику «революцион» в полном порядке.

Досадно одно — сейчас на пресс придет неопытный парень. Не сумеет использовать машину в полную мощность. Эх! Если бы ему показать, научить...

Немного погодя Яшин идет к мастеру и, сдерживая волнение, спрашивает:

— Как сегодня с нормой по нашему участку?

— В среднем неважно. А у тебя я еще не все подсчитал. Что-то очень много получается.

— Процентов сто тридцать будет? — осторожно говорит Степан Иванович.

— Нет, похоже под сто пятьдесят подошло. — И мастер, на шаг отступив, вдруг осматривает Яшина с головы до ног. — Не пойму я, Степан Иваныч, чем ты берешь? Кажется, силы в тебе особой нет. Самого ты среднего сложения. А на рубке любого загонишь. Секрет у тебя какой, что ли?

— Никакого секрета. Просто я дело свое знаю и люблю. И машину люблю. Я на «революцион» два года попасть мечтал, когда еще запасным у вас тут был, на «качалке» работал. Бывало, смотрю, как другие рубят, и завидую. Не глупая машина «революцион». Послушная. От меня зависит. Если я скоро со штанцем справлюсь, могу рубить без задержки. А на «качалке», бывало, у меня все давно готово, а она еще не поворотилась. Хуже

нет, когда тебя машина задерживает, скорость набрать не дает. Работаешь медленно, а устаешь вдвое.

Степану Ивановичу не хочется уходить домой, не узнав точно, сколько вырубил он сверх нормы. Он идет в комнатушку начальника цеха. Кержнер, невысокий человек с очень спокойным лицом, ласково кивает ему, продолжая говорить по коммутаторному телефону.

— Да, да. Пока — плохо. Наша вина, признаю! Но сделать ничего не могу. Дополнительных прессов поставить некуда. И так задыхаемся от тесноты. Надо освоить норму. Другого выхода нет.

Бросив трубку, протягивает Яшину руку:

— Поздравляю, Степан Иванович. У тебя сегодня отличные показатели. Сто сорок восемь процентов!

Яшин сдержанно говорит:

— Я сегодня, товарищ Кержнер, небольшую поправку внес в свою работу. По примеру донбассовцев, заранее спланировал чепрак. Завтра хочу еще немного повысить процент, если конечно удастся.

Кержнер внимательно вглядывается в лицо Яшина. Потом серьезно и просто произносит:

— Если это тебе удастся, если ты сможешь повести за собой остальных, — наш цех и вся наша фабрика смогут перевыполнить план.

На другой день Степан Иванович дал сто пятьдесят пять процентов нормы.

На третий — сто семьдесят пять.

В этот день, после смены, Яшина и Кержнера вызвали в дирекцию. Шагая за молчаливым начальником цеха, Яшин волновался. В чем дело? Зачем его зовут?

В «штамповке» за последние дни положение обострилось. Часть рабочих с нескрываемым восхищением следила за работой Яшина. Во второй смене Якушев, молодой

парень, комсомолец, тоже начал давать высокие показатели. Но кое-кто из штамповщиков шипел вслед Степану Ивановичу:

— Фокусник! Сорвешься!

Кто-то даже пустил слух, что для Яшина и Якушева нарочно отбирают лучшие чепраки, сваливая плохие к прессам остальных штамповщиков.

Может насчет этого и к директору зовут?

По лицу Кержнера никогда не узнаешь, доволен он или расстроен. Очень спокойное лицо. Крепкий человек.

На пороге директорского кабинета Яшин удивленно останавливается. Что за парад?

На сдвинутых столах — чай и нарядная закуска, фрукты, цветы.

Комната уже полна народа. Тут и партком, и профком, и начальники прошивного и рантового корпусов. Директор открывает собрание. Он говорит о рекордах Стаханова, Дюканова, Сметанина и Виноградовых. Говорит взволнованно и торжественно.

— Могучая волна стахановского движения докатилась и до нашей фабрики. Сегодня мы празднуем рекордные достижения наших первых стахановцев: Сударикова, фрезеровщика уреза из второго рантового цеха, Петухова, затяжчика из первого прошивного, Яшина, рубщика чепрака из штамповочного, Осипова из клеевого корпуса, Сычева из закройного и Скуповой из рантового. Дирекция постановила выдать первым трем товарищам по тысяче рублей премии, Осипову и Сычеву по семьсот пятьдесят рублей и Скуповой пятьсот. Просим этих товарищей рассказать собранию о своих методах работы.

В первую минуту Яшин растерялся настолько, что ухватил за руку Кержнера, зашептал:

— Я не могу говорить. Лучше вы расскажите.

Но Кержнер лукаво засмеялся:

— Сам работал, сам и отвечай. Нечего за меня прятаться.

К счастью, первыми стали рассказывать о себе Судариков и Петухов. Пока они говорили, Яшин успел собраться с мыслями. Припомнил, что же он сделал особенного. План раскладки? Но этого ведь мало. Порядок расстановки инструментов возле штампа? Вагонетки поближе придвинул, чтобы не надо было самому поворачиваться, складывая готовые детали? Кожи метил заранее? Уход за машиной? Кажется, все. Как просто в общем. Даже неловко об этом рассказывать.

Но Петухов и Судариков тоже ничего особенного не выдумали. У них тоже экономия движений, знание своих машин, небольшие изменения в методах.

Заканчивая свое выступление, каждый стахановец давал обязательство еще выше поднять свои показатели.

Степан Иванович обещал дать сто восемьдесят процентов.

Весть о первых стахановцах мигом облетела фабрику. Во всех цехах начались собрания. Везде нашлись люди, которые тут же обещали работать стахановскими методами.

У проходной появилась огромная доска с показателями. Имя Яшина было на этой доске первым. Против него стояло: сто девяносто два процента.

— Товарищ Кержнер, надо бы мне как-нибудь мой опыт другим передать, — на другой же день заявил Яшин начальнику штамповки. — А то неладно получается. Я премию получил, а цех в прорыве.

Яшин выбрал из своей смены молодого рабочего Ша-

рова и взялся его учить. Сам расставил у него по приполке штанцы, показал, как удобнее класть чепрак. Объяснил устройство машины. Шаров стал давать норму. Но времени на эту учебу ушло столько, что Яшин расстроился.

— Если так придется всех переучивать, до нового года проканителимся. Нужно и тут стахановский метод применить.

Яшин предложил устроить настоящую краткосрочную школу передачи своего опыта. 3 ноября эта школа была открыта. Все штамповщики смены Яшина записались в нее. Пришли и рабочие смежных операций:

— Нам тоже надо знать, как вы будете работать. Не хотим от вас отставать.

Яшин и Кержнер подготовляли вместе программу каждого занятия. Начальник цеха стал ассистентом на лекциях своего рабочего. Степан Иванович первое время смущался:

— Что я за учитель!..

Но когда увидел, с каким вниманием слушают его объяснения те самые рабочие, которые недавно звали его фокусником, — смущаться перестал.

— Кабы знать, что все дело в пустяках, разве кто стал бы на норму обижаться,— заявил после одной из лекций самый упорный «протестант».— Мы полагали, он силой берет, а, оказывается, при такой работе силы куда меньше уходит.

Правильная расстановка штанцев возле пресса тотчас сказалась. Люди, не выполнявшие больше девяноста процентов нормы, начали давать по сто — сто двадцать. У всех увеличилась экономия материала, а следовательно поднялся и заработок.

Ноябрьская программа «штамповки» была перевыполнена.

Степан Иванович сиял. Даже невозмутимый Кержнер начал чаще улыбаться.

О школе Яшина стало известно всему Союзу.

В газетах появились письма Стаханова, Дюканова, Кривоноса, Бусыгина и Виноградовых о первой стахановской школе.

«Примеру Яшина должны последовать все стахановцы. Это — лучший способ передачи опыта. Мы сами по возвращении на свое производство обязательно попросим свои профкомы организовать такие же школы», — писали зачинатели стахановского движения.

— Жизнь для меня стала сплошным праздником, — улыбаясь говорит Степан Иванович, — что ни день, то новая радость. В середине ноября иду я на фабрику. В проходной меня встречает наш парторг: «Яшин, тебя секретарь парткома ищет. Что-то очень срочное. Беги скорее!»

А в парткоме мне объясняют: «Сейчас же поезжай в Московский комитет партии».

Приезжаю. Полно народа. Все московские стахановцы.

Никита Сергеевич Хрущев поговорил с нами и объявляет: «Идемте в ЦК. Будет заседание совместно со всем правительством».

Пошли. А там — со всего Союза рабочие и работницы — стахановцы. Сам Алексей Стаханов, Бусыгин, Кривонос, Маруся и Дуся Виноградовы и еще тысячи...

Все веселые, нарядные. Лица так и светятся. И все говорят об одном: «Сталин будет на собрании! Сталина увидим!»

Собрались мы в огромном зале, наверху. Ждем. Идут. Сталин шел вторым, как сейчас помню. Грохот такой на-

чался, словно все наши прессы в один удар заработали. Я сам и хлопаю и кричу. И голоса своего не слышу.

Сел президиум. Собрание началось. Первым Стаханов стал говорить. Совсем просто, словно у себя дома с родными разговаривает. Я сначала очень далеко был, у самых дверей. Думаю, неловко вперед лезть, а хочется. Давай по стенке пробираться. Ближе, ближе. Смотрю и другие все вперед подаются. Всем охота вблизи поглядеть на вождей. И особенно на Сталина. Сталин веселый сидит, улыбается. Реплики подает. Одобряет: «Правильно!»

Кончилось это первое собрание. И вдруг опять объявление: «Товарищи, внизу у руководителей списки. По ним организованно направляйтесь в Кремль. Там состоится вечернее заседание».

Другие сперва обедать поехали. А я не мог. У меня сердце все время так билось, что дышать было тесно.

Три дня мы слушали стахановцев и наших вождей. И все боялись: будет ли Сталин говорить.

И вот товарищ Сталин на трибуне. Долго не мог он начать говорить. Все наше собрание словно с ума сошло. Хлопаем, кричим, смеемся, точно ребята.

А как стихли и он заговорил, смотрю по рядам — все пригнулись вперед, как под ветром трава. Тишина! Каждое слово отчетливо слышно.

До этого много было сказано. Казалось, все уже ясно. Но теперь мы почувствовали: вот когда настоящая ясность-то настает. Он говорит, а я на себя перевожу. И все получается — точно он мою жизнь знает лучше меня самого. Почему я после известия о рекорде Стаханова смог так работать? Потому что до этого успел изучить машину, технологию кожи... На рабфаке был. В кожевенном техникуме учусь. И техминимум сдал на «отлично». Значит техникой своего производства я овладел. В 1932 году

вступил в партию. Читаю теперь гораздо больше обо всем, а не только о своем производстве. Понимаю, какая связь между моей операцией, рубкой чепрака, и работой всей нашей фабрики. Понимаю и значение нашей фабрики во всем хозяйстве страны. Но вот Кержнер, конечно, это все еще лучше моего знает и понимает. Он помогал мне занятия вести. Без него бы я не справился. Значит, я должен к нему подравниваться, догонять. И догоню. После техникума меня направляют в Промакадемию.

А насчет жизни — ну, разве сравнишь с тем, что было? Я теперь живу в полном достатке. Вон мне дирекция за выпуск школы радиоприемник многоламповый подарить хотела. А мне не нужно. У меня уже есть. Я Кержнеру об этом сказал, а он взял да придумал: ребятам моим всяких нарядов фабком накупил. А у них и так всего много.

Разве снилась мне такая жизнь, когда я малолеткой за коровами бегал!

Жена смеется: «Богатеем мы с тобой, Степан Иваныч!»

И не я один так.

Идет наша смена — обувщики, по-старому сапожники. А разве мы на прежних сапожников хоть немножко похожи? Шубы, шапки, на девушках боты фетровые, беретики. Разговаривают о театре, о кино, об учебе. Спешат на каток.

А прежний сапожник куда знал дорогу? В казенку. Сам я на работу иду и с работы — ни о чем, кроме хорошего, не думаю. А тут еще орден мне дали.

Я сперва не поверил:

— За что?

Другие по триста, по пятьсот процентов нормы дают. А я и до двухсот не дошел. Разве что за школу? За то,

что я первый стал такую школу вести. Но ведь и школа моя для меня была сплошной радостью.

Степан Иванович так волнуется, рассказывая о всесоюзном совещании и о своей награде, что бледное его лицо, еще сохранившее черты деревенского паренька, с детства заморенного непосильной работой, начинает светиться подлинным экстазом.

На «Парижской коммуне» Яшин — самый популярный человек. Во дворе фабрики стоит его огромный портрет. В цехах, говоря о последних месяцах, неизменно добавляют:

— Это было еще до яшинской школы.

Или:

— Это случилось уже после того, как Яшин наш орден Ленина получил.

Рабочие с гордостью говорят о нем:

— Наш орденоносец.

Штамповочный цех не только выполняет план, но давно уже его перевыполнил. Из бывших учеников Яшина трое стали сами стахановцами и дают сверх нормы по пятьдесят — по шестьдесят процентов.

Якушев давно перекрыл рекорд Яшина — дал двести двадцать процентов. Это всесоюзный рекорд по сквозному прорубу чепрака. И сам сейчас ведет стахановскую школу.

Такие же школы есть во всех без исключения цехах «Парижской коммуны».

С. Гехт

На электрокомбинате

Двадцать лет назад маленькая девочка Саша Козырева, проживавшая в доме Бахрушина, остановилась в раздумье у Рыкунова переулка. Девочка стыдилась своих двенадцати лет и крохотного роста. Она уже давно собиралась постучаться в ворота Покровской фабрики, где делали, как она слышала, электрические лампочки. Наконец, девочка решилась.

— Куда? — закричал сторож.

Александра Артемьевна Козырева

Он схватил ее за рукав кацавейки и оттолкнул к стене. Саша пролепетала, что хочет работать и пришла наниматься на фабрику. Она просит допустить ее к хозяину.

— У нас их два, — ответил сторож, — господин Калманок и господин Бирген... Мое почтенье! — вдруг приветливо зашипел сторож. Он заметил господина Биргена, садившегося в пролетку.

— Скорей проси! — шепнул Саше сторож.— А то уедет!

Ей повезло. Она метнулась к пролетке, и хозяин ее выслушал. Два раза окинул взглядом, подумал и утвердительно кивнул головой.

— Хорошо, — сказал господин Бирген, — скажи управляющему, что я велел тебя принять.

Так двадцать лет назад стала Александра Артемьевна Козырева навивальщицей.

Она попала в большую и грязную комнату, где ее глазам предстали вещи, носившие непонятные названия: колбы, спирали, цоколи, контакты. Она прижимала металлические пластинки, навивала вокруг стеклянной ножки тончайшую проволоку.

— Что делаешь? — спросила она в первый день соседку, такую же щуплую малолетку, как и она.

— Центр, — важно ответила та, — дигарит!

— Еще одно непонятное слово,— со страхом подумала Саша.

Но вскоре узнала, что никакого страшного дигарита нет, а есть центр, «где горит». Она видела электрические лампочки, но никогда не всматривалась в них, и потому ей было удивительно, что горят-то эти самые тонкие нити, легкие и серебристые, те самые нити, что проходят во множестве через ее ловкие руки.

Она подружилась с товарками по работе и, когда получила первое жалованье, пошла с ними в кинематограф на Разгуляе. Там показывали жизнь австралийцев и картины итальянской природы. Подруги сказали:

— Скучно. Нет никакой любви.

Но Саше фильмы понравились. Она старалась разузнать, где еще можно увидеть картины из жизни других стран и народов.

— Ты любишь географию? — спросила ее как-то одна подруга.

— Нет, — испуганно ответила Саша.

— А это же и есть география... что ты смотришь...

Тогда Саша поняла, что она любит географию: горы, вулканы, долины, города, моря и реки, леса и рощи, быт многих стран и народов.

В Гавриковом переулке выстроен был до войны большой каменный дом. Домовладелец был лабазником и разбогател с доходов от трех мучных магазинов на Немецком рынке. Дом он поставил шикарный — стиль модерн, пять этажей, лифт и все житейские удобства. Сам он поселился наверху, а остальные четыре этажа сдавал богатеям Лефортова и Разгуляя.

В этот дом после революции въехала Саша Козырева. Она поселилась в прекрасной светлой комнате. То была первая плата, выданная ей революцией за ее подъяремную и убогую прошлую жизнь.

Когда начал расширяться и отстраиваться Электрокомбинат, в него была включена и бывшая Покровская

фабрика. Новый Ламповый завод получил множество крючочных автоматов и других машин, а старые нормы, существовавшие при Калманоке и Биргене, давно остались позади. И Александра Козырева постоянно увеличивала выработку. Уже не триста пятьдесят, а шестьсот, уже не шестьсот, а тысяча. Когда все дошли до тысячи, она добилась тысячи двухсот. Так Козырева довела свою выработку до тысячи восьмисот штук.

Она слыла в цехе, в смене «Ж», ударницей и героиней труда. Однажды завод наградил ее деньгами, в другой раз ей преподнесли столовый прибор — множество хорошей посуды.

Подруги вызывали ее на соревнование, и Козырева часто и с удовольствием читала на доске свою фамилию.

Если бы в ту пору ее спросили:

— Можете ли вы найти способ сильно увеличить свою сегодняшнюю норму?

Она, возможно, задумалась бы, но вряд ли бы дала положительный ответ. В ней таились силы, но она не знала, как их можно применить. Нужен был толчок извне.

Однажды Александра Козырева прочла в газете...

Уже давно ее день начинается с газеты. Когда-то не понимала, зачем люди читают, удивлялась, чего они ищут в длинных бумажных полосах. Новости узнавала на заводском дворе, на кухне, на рынке.

Но с годами полюбила чтение. Как-то прочла историю Степана Разина. Очень заинтересовалась. На заводе один из коммунистов сказал ей:

— Есть еще одна подобная история... про Емельяна Пугачева.

Александра Артемьевна прочла про Пугачева. Также понравилось. А газета по утрам стала обязательной, как завтрак и чашка чая. Если не понимала, спрашивала мужа, механика:

— Что такое утопия? А что такое пакт? А демпинг? А мораторий?

Муж морщил лоб, степенно и с достоинством объяснял, что мог, но часто и сам разводил руками.

Александра читала вслух и была довольна, встречая недавно еще не знакомые слова, как добрых знакомых.

...Итак, однажды Александра Козырева прочла в газете про Алексея Стаханова. Дело было утром. Дочка одевала куклу, муж починял старинный граммофон с предлинной старомодной трубой, что-то бубнил радиорупор.

На улице было туманно. В коридоре кто-то, нетерпеливо шаркая ногами, искал свои калоши.

— Как абиссинцы, Саша? — спросил муж, разбиравший какие-то пружины.

— Там мобилизация,— ответила Александра.— Что-то про Стаханова много пишут...

— Кто такой?

— Шахтер из Донбасса, — ответила Александра.

— Ударник? — спросил муж.

— Вроде, — ответила Александра, — здесь пишут, что повыше.

Она работала в этот день вечером, в смене «Ж». Все ушли из дому: муж на работу, дочка в школу. Александра принялась за рукоделие. Она вязала для девочки шерстяные рукавицы. Наматывая петли, она думала, что хорошо бы, как Стаханов, перевыполнять норму. Пусть об

этом тоже напечатают в газетах!.. Она думала о своем рабочем месте, о досках с подножками, о контактах, спиралях и прочих предметах, составлявших ее производственное хозяйство.

Как жарко в цехе! Горячим воздухом дышат в лицо быстроходные машины, изготовляющие детали для лампочек. В цехе светло и празднично от обилия стекла, прозрачного, воздушного, пузырящегося. Иногда в двери проникает прохладная струя, такая приятная, освежающая.

— Моя первая хитрость... — подумала Александра.

Всем навивальщицам подавали по конвейеру доски с ножками, на каждой доске пятьдесят ножек. Навивальщицы ставили доски на пол, затем им приходилось нагибаться, поднимать. Раньше так делала и Александра. Но она высчитала, что за семь часов работы на доставание досок много времени уходит напрасно. Его хватило бы, чтобы обработать шесть с лишним досок, то есть триста ножек. Доски стали подавать сразу на стол.

Это — первая хитрость Александры Козыревой.

Навивальщицы навивали вокруг ножки спираль, все ее пять крючков. Кончив навивать, они ее расправляли. Так раньше делала и Александра. Сегодня она одной рукой навивала, а другой — на ходу — расправляла.

Это — вторая хитрость Александры Козыревой.

Зажимая спираль, навивальщицы клали на стол свое единственное, кроме рук, производственное орудие — легкий, как перышко, пинцет. Александра уже не откладывала пинцет, а держала его все время в руках. Она экономила каждый раз какую-то долю секунды, но эти секунды, собранные вместе, оказывались большим сбережением времени.

Это — третья хитрость Александры Козыревой.

В эти ноябрьские дни, когда так высоко поднялась волна стахановского движения, Александра Козырева стала нанизывать вместо одной тысячи шестисот ножек — две тысячи шестьсот. И вместо полутораста рублей в месяц она принесла домой около пятисот.

Между тем многие навивальщицы, еще не сумевшие стать ни тактиками, ни стратегами своего труда, продолжали отставать от той нормы, которую перевыполняла Козырева. Ее спросили:

— Можете ли вы научить других работать, как вы?

Она подумала и ответила:

— Могу.

Тогда ее сделали инструктором.

Три ее «хитрости» стали наукой. Ей дали самых отсталых навивальщиц. Едва-едва они выделывали тысячу четыреста пятьдесят штук. Александра Козырева втолковала им свою систему. И как быстро она сказалась! Сейчас ни одна из навивальщиц не делает меньше двух тысяч штук.

Уже будучи инструктором, Александра Козырева внесла три новых предложения.

Внимательно приглядываясь к приемам работы, Козырева поняла, что рабочие сидят нескладно. Если бы с правой стороны навивальщицы лежал готовый материал, а с левой — детали, предназначенные к обработке, тогда движения работницы были бы четкими. Был бы порядок.

В доске всего пятьдесят гнезд, можно устроить сто. Таким образом уплотнятся операции.

Наконец, надо расширить столы. В теперешнем виде они неудобны и тормозят работу.

Козыревой сказали:

— Сделаем по-твоему.

Посетите Ламповый завод, и вы увидите, какие результаты дали эти предложения Александры Козыревой, еще не сказавшей своего последнего слова.

Н. Маркевич

Мастер третьего стана

Издали, от ворот смотрел Макаров на пляску огней, слушал лязг и грохот укрощаемого железа. Цех был огромный. Солнце сюда не заглядывало. Дневной свет пропадал под высоким закопченным потолком. В цехе стояли вечные сумерки. Время здесь измерялось сменами, количеством прокатанного железа.

В печах свистело и рычало пламя. Из печей выползали добела раскаленные полосы железа. Они направлялись

к стану. Начиналась захватывающая игра. Раскаленное железо втягивалось в вальцы прокатного стана. Оно становилось все тоньше и длиннее. Оно извивалось на железных плитах пола...

Макаров переступил порог цеха. Слесарь Аким Иванович показал ему прокатные станы. Но тогда Макарову, бывшему грузчику и красноармейцу, были не известны судьбы железа.

В 1924 году еще существовали биржи труда. Рабочих рук тогда было больше, чем работы. Но все чаще от окошечек биржи труда отходили радостные люди с путевками на предприятия. Среди земляков Макарова, вместе с ним работавших грузчиками на железной дороге, возникло целое движение:

— Обратно на завод!

Для того чтобы объяснить это движение, придется вернуться несколько назад.

В 1918 году на заводе «Серп и молот», тогда еще по-старому — на «Гужоне», погас последний мартен. Робко звучали человеческие шаги в опустевших цехах. Сюда, на окраины Москвы, не долетали снаряды, рвавшиеся на фронтах. Но армия рабочих на заводе таяла, точно в бою. В 1919 году из четырех с половиной тысяч на заводе осталось около восьмисот человек. Пополнения не приходило. Да его, кажется, сюда и не было нужно. Осенью девятнадцатого года мастер модельного цеха Васильев распустил еще работавших модельщиков.

Большое оживление в то время было в завкоме. Там давали увольнительные справки уезжавшим за хлебом. Провожали партии добровольцев на фронт. Прощание устраивали в пустом, холодном цехе.

Как и фронтовикам, оставшимся на заводе нужно было мужество. У кого оно истощалось, тот бросал за-

тихший цех и уходил. Так ушел Осипов, — в картофельном складе на Первой Рогожской давали паек. Руднев перебрался на таможню. Сварщик Савельев сделался грузчиком на товарной станции Курской железной дороги. Оставшимся на заводе, не верившим в его смерть, приходилось менять профессии. Мартены и станы молчали. Сварщики, токари, механики становились чернорабочими. Эти люди, связавшие свою жизнь со своим заводом, продолжали ухаживать за ним. Сгребали с крыш снег, очищали пути, стирали ржавчину со станков. Они верили, что оживет их родной завод.

И завод начал оживать. Уже осенью двадцатого года вновь вспыхнули огни мартенов. С фронта вернулись Гладышев и Кузнецов. В шинелях они пришли на завод, где уже стояли на своих местах сварщик Волков, модельщик Сенников, вальцовщик Кузнецов, сотни вернувшихся. На призывное пламя мартенов, на грохот прокатных станов шли старые рабочие.

В это время поступил на завод и Макаров. Как не работавшего прежде на заводе, его поставили в «запас» — править угловое железо. Он только издали, от ворот цеха видел сверкание железа у прокатных станов. Потом Макарова перевели на подвозку слитков к четвертому стану.

Страна брала разбег для стремительного своего движения вперед. В это движение вовлекались миллионы. Оно захватило и бывшего красноармейца, грузчика, теперь рабочего металлургического завода «Серп и молот» Петра Ивановича Макарова. Вместе со страной он пошел вперед.

На третьем стане пустили вторую смену. Макарова поставили на холодную резку. На четвертом стане организовалось еще полсмены — страна требовала металла. Макаров перешел туда помогалой вальцовщика. На тре-

Петр Иванович Макаров

тьем стане прибавилось еще полсмены. Макаров стал там сначала правильщиком, а потом и вальцовщиком.

В 1925 году Макаров стал членом партии. На третьем стане он катал железо, а кроме того распространял газеты, работал по шефству над деревней, был групоргом, членом бюро цеховой и заводской ячеек. Он не только сам шел вперед, но организовал и движение других.

В 1929 году Макаров оставил завод. Он сел за парту. По 1931 год он учился на курсах по повышению квалификации. Овладевши искусством прокатки металла, он теперь постигал законы физики, учился математике и правилам правописания. Но, покинув свое место у прокатного стана, Макаров не порвал с заводом. И завод продолжал следить за Макаровым, помогать ему. После учебы Макаров вернулся на завод.

...Попрежнему в печах неистовствовало пламя. Попрежнему к вальцам двигались ослепительно блещущие полосы железа. Но завод теперь начал катать вместо простого железа автотракторную сталь. Макаров вернулся сюда более уверенным, чем прежде. Макаров знал теперь способы укрощения металла. Законы физики, технологии, металлургии, которые он изучал в школе, имели прямое отношение к прокатному делу.

Рядом с заводом проходит линия железной дороги. Поднимаясь на виадук, что висит над путями, Макаров останавливался. Под ним в разные концы страны проносились поезда. В вагонах ехали инженеры, бетонщики, врачи. Целые купе занимали участники экспедиций, искатели руд, золота, угля, нефти. В чемоданах пассажиров рядом с бутербродами и бельем лежали кипы чертежей. Пассажиры торопились. Их звала страна. Тяжело громыхали товарные поезда. Они везли нефть, уголь и железо. Железо! Железо, прокатанное на станах «Серпа и моло-

та». Макаров уже знал, как остро необходим стране металл, раскаленными полосами выходящий из вальцов его стана.

Макаров поворачивался влево. Здесь же, рядом с железнодорожными линиями, его завод. Но это не старый «Гужон». Всю страну облетело меткое слово Лазаря Моисеевича Кагановича о реконструированных старых заводах, этих пуговицах, к которым пришили новое пальто. «Серп и молот» неизмеримо вырос, обогатился новой техникой. Сорок четыре года завод выпускал рыночный ассортимент — гвозди, болты, заклепки. Теперь завод дает высококачественную шарикоподшипниковую сталь, игольную, пружинную и нихромовую проволоки. Отсюда выходят ленты и листы нержавеющей стали для автомобильной и авиационной промышленности. На станах прокатываются автоободы, пустотелая буровая сталь. От старого «Гужона» собственно остался один адрес. Двадцать два цеха «Серпа и молота» расположились рядом с линией железной дороги!

Когда Макаров вернулся на третий прокатный стан, мастер Халюзов наделал браку, и его сняли. Мастер Суковатов ушел на пенсию. В 1932 году мастером прокатного стана был назначен Петр Иванович Макаров. К этому времени в цехе, на заводе, в партийном комитете стали уже известны его спокойствие, уверенность, знание дела, уменье без лишних слов выполнять сложные задачи.

К осени 1935 года, ко времени, когда имя Стаханова прокатилось по всему миру, вызывая самые разнообразные человеческие чувства — радость и злобу, восторг и зависть, Петр Иванович Макаров оставался мастером третьего прокатного стана.

Мастер-коммунист Зайцев и групорг Сысоев, работаю-

щие тоже на третьем стане, собрали после работы партийное собрание. Говорили о Стаханове и его методе. Потом об этом же побеседовали с рабочими всей смены. Смена мастера Зайцева решила применить у себя стахановский метод. 12 октября смена Зайцева рапортовала: при задании в тридцать две тонны прокатано шестьдесят две! Бригада Зайцева получила приветствия. Об ее работе говорили на митингах. Стахановское движение перекинулось в другие цехи. Уже 18 октября смена мастера-орденоносца Кочеткова выплавила двести тридцать тонн стали—производительность, невиданная в цехе. Вырубщик прокатного цеха Щавелев вместо восьми тонн вырубил двадцать две. Стахановское движение захватило и смену мастера Капралова.

Смена Макарова первые два-три дня несколько отставала. Макаров был внешне спокоен. Перед началом смены и после нее он собирал свою бригаду и подвергал критическому разбору работу каждого человека.

Смена мастера Зайцева на третьем стане установила рекорд — шестьдесят три тонны. Смена мастера Капралова выдала шестьдесят четыре, а потом и шестьдесят семь тонн. У Макарова выработка едва доходила до шестидесяти.

— Попробуйте догнать нас, — гордо говорили рабочие бригады Капралова.

Страсти разгорались.

Макаров внимательнее, чем всегда, следил за работой своей бригады, каждого человека в ней. Его бригада начала набирать темпы. Для начала она дала шестьдесят восемь тонн, побив таким образом все предыдущие рекорды на заводе.

В ночную смену перед выходным днем бригада Макарова поставила новый рекорд — семьдесят три тонны.

По цеху пополз слушок:

— Смена-то Макарова была последняя. Перед выходным их никто не сменял. Что стоило прихватить лишние сорок минут? А за семь часов дать семьдесят три тонны невозможно!

Но уже в следующую смену бригада Зайцева дала столько же. Это еще не подтверждало прямо победы бригады Макарова, но опрокидывало рассуждения о пределах.

Перед работой Макаров собрал свою бригаду.

— И семьдесят три тонны это не все, — сказал он. — Стан может дать больше. Узкое место у нас — печь...

По указанию Макарова вальцовщик Баринов перешел работать к печи. На обжимную клеть — второе узкое место — был направлен вальцовщик Федоров. На правку Макаров добавил двоих рабочих из своей бригады.

Эти с первого взгляда небольшие изменения были глубоко продуманы Макаровым. Перестановка людей дала свои результаты.

Смена Макарова поставила задачу:

— Восемьдесят тонн проката!

Эта цифра была написана мелом на досках, развешенных возле стана.

Приступили к работе. Уже первый час показал, что при той расстановке людей, какую провел Макаров, стан может дать восемьдесят тонн. Прошел еще час. Стало ясно, что будет дано не восемьдесят тонн, а больше. Цифры на досках были срочно переправлены. Вместо восьмидесяти — восемьдесят пять тонн. В конце смены подсчитали: бригада Макарова дала восемьдесят семь тонн проката, поставив новый рекорд.

В Кремль на первое всесоюзное совещание стахановцев промышленности и транспорта «Серп и молот» послал десять лучших своих стахановцев. Среди них был мастер третьего стана коммунист Макаров. Вместе со всеми присутствовавшими на этом совещании Макаров слушал овации, трохотавшие, как лавина, когда на трибуне появились руководители партии и правительства во главе с товарищем Сталиным. В первый день совещания Макаров произнес речь с трибуны Большого зала Кремлевского дворца.

— Мой агрегат, — сказал Макаров, — при сменном задании в тридцать четыре тонны дает до восьмидесяти семи. Но можно добиться большего. На ближайшее время мы поставили задачу дать девяносто — девяносто пять тонн в смену.

И еще рассказал Макаров совещанию, как перерождаются люди на его заводе благодаря партии, благодаря великому учению Ленина—Сталина. Он привел в пример стахановца Толченова, бывшего прежде алкоголиком, считавшегося «пропащим» человеком. Сейчас этот Толченов — один из самых уважаемых и примерных рабочих на заводе.

— Толченову даже во сне приснилось, — усмехнувшись прибавил Макаров, — что его бригада, бригада мастера Зайцева, перекрыла наш рекорд и дала 100 тонн.

— И я твердо уверен, — уже серьезно сказал Макаров, — что сон товарища Толченова в самое короткое время станет явью и на известных профилях стан «300» на нашем заводе будет давать 100 тонн.

Газеты, в которых было напечатано это выступление Макарова на стахановском совещании, читались на «Серпе и молоте» нарасхват. Макаров пользуется на заводе

огромной популярностью, как лучший производственник, как преданный боец партии.

Партия вырастила Макарова. А Макаров своим ростом немало помогает росту своих товарищей. Макаров — один из лучших пропагандистов на своем заводе, спокойный и уверенный агитатор.

9 декабря Макаров был дома. Утром неожиданно к нему пришли гости — начальник цеха Тарлинский, парторг Ларкин. Гости пришли в необычное время, чтобы поздравить Макарова. Именно в этот день было опубликовано постановление ЦИК о награждении стахановцев. Макаров был в числе награжденных орденом Ленина. Посетители пытались что-то говорить. Им мешало волнение.

Днем на заводе были митинги.

В двенадцать часов ночи Макаров принял смену.

А. Каменногорский

Нина Волкова

I

Не так просто представить себе, что происходило утром того дня, когда в газетах впервые появилась фамилия Стаханова. Это было после того, как он, вместе с парторгом Дюкановым и секретарем партийной организации Петровым, спустился после тщательной подготовки в шахту. Газеты сообщали, что забойщик шахты Центральное-Ирмино Алексей Стаханов выдал на-гора столько угля, сколько никто никогда не давал до него.

На предприятиях начались митинги. Они шли без регламента. Неизвестно, кто председательствовал на них. Выходили ораторы, еще за минуту не знавшие, что они выступят. Но у них находились нужные слова. Сменяя друг друга, они говорили, что никому не известный до сих пор, кроме ближайших товарищей, забойщик шахты Центральное-Ирмино заставляет каждого подумать о своей работе. Что нужно немедленно, сейчас ответить делом на рекорды Алексея Стаханова.

То же самое происходило по всей стране и вовсе не обязательно было быть самому в это утро на каком-нибудь из индустриальных гигантов нашей страны—на Магнитогорском, Московском автомобильном или Сталинградском тракторном заводе, чтобы представить себе ход событий. Если не говорить о масштабах, картина почти всюду была одинакова. Достаточно было присутствовать на любом предприятии, хотя бы на табачной фабрике «Ява» в Москве. Здесь происходило то же, что и везде.

Так же собирались задолго до гудка взволнованные люди. Так же стихийно организовывались митинги. Так же говорилось о том, что каждый рабочий должен обдумать для себя следствия стахановских рекордов. Так же лучшие решили немедленно ответить на эти рекорды делом. А когда было сказано о лучших — все повернулись и посмотрели в сторону очень молодой работницы вполне обычного вида, затерявшейся в толпе комсомольцев.

II

Через несколько дней, уже после того как Нина Волкова, перейдя с четырех машин на шесть, дала по примеру Алексея Стаханова такую выработку, какой никто до нее не давал на гильзовых машинах, ее вызвал к себе

Нина Дмитриевна Волкова

народный комиссар. Он прислал за ней машину и всю дороту, сидя рядом с директором, Нина волновалась, потому что никогда еще не разговаривала с народным комиссаром.

Товарищ Микоян встретил ее в дверях кабинета, крепко пожал руку, внимательно отлядел и спросил, улыбаясь:

— Почему худая?

— Директор плохо кормит, — отшутилась Нина, кивнув головой в сторону своего спутника, и уж больше ничего не боялась.

Напротив, она настроилась весело и шутливо, потому что последние дни были полны для нее удачами, все ладилось.

Но вдруг посерьезнел такой приветливый сначала народный комиссар. Испытующе, почти строго, спросил:

— Не трудно?

— Что? — Нина не поняла вопроса.

— Не трудно работать на шести машинах? Ты скажи правду — не устаешь, не выматывает это? Как ты добилась?

— Да нет же, нет!

Теперь она поняла, о чем говорит товарищ Микоян, и горячо принялась доказывать, убеждать, что ни о чем подобном не может быть и речи. Выходило не очень связно, может быть, потому, что приходилось затрагивать довольно сложные технические вопросы, но нарком, знающий все участки своего гигантского хозяйства, внимательно слушал и утвердительно кивал головой.

Гильзовые машины, на которых работала Нина, можно было бы назвать автоматами, если б только они еще сами отсчитывали и подавали готовую продукцию, как это делают, скажем, ротационные машины. Все остальное

гильзовые машины выполняют вполне самостоятельно, без всякого приложения человеческого труда. Они делают, как явствует из названия, гильзы. Принцип очень прост. Мундштучная лента и гильзовая бумага с катушек разматываются автоматически. Из гильзовой бумаги машина формует бесконечную трубку и через определенные промежутки разрезает ее. Мундштучная бумага разрезается машиной на порции, необходимые для мундштука. Мундштук механически вставляется в гильзовую рубашку, и готовая гильза выталкивается в приемник.

Это все. Но не так-то просто заставить мертвый металл производить эти тонкие операции. Насколько прост принцип этой машины, настолько же сложна ее конструкция. Дело гильзовой машинистки (такова должность Нины) — внимательно следить за ходом машины. Приготовить ее с утра, проверить, наладить, смазать, смотреть потом, плавно ли работает, нет ли поломок, заправлять во-время бумагу, мундштучную ленту.

Четыре машины далеко не отнимали всего времени Нины. Более того, и шесть машин, на которых работает она сейчас, оставляют вдосталь досуга. Потому что, чем тщательнее налажена машина, тем меньше требует она потом внимания и труда.

Да, времени остается достаточно, и Нина думает, что вскоре сможет обслуживать еще больше машин.

Но вот что главное.

Машина, которая по норме давала до сих пор шестьдесят две тысячи гильз в смену, по мнению Нины может давать значительно больше.

На отраслевой конференции Нина предложила повысить количество оборотов на машинах той системы, на которой она работает, со ста семидесяти до двухсот. Но-

вая норма выработки была установлена в семьдесят две тысячи гильз с машино-смены.

Однако для Нины уровень работы определяется не нормой выработки, а новой технической нормой. С первых же дней после конференции она перекрывает норму выработки, приблизившись к технической норме в 80 тысяч гильз. А через короткое время дает ежедневную выработку с каждой машины не ниже технической нормы.

Дело идет все лучше. Суть—во внимании, в знании машины. О физическом перенапряжении — не может быть и речи.

— Значит, все в порядке? — успокоенно сказал нарком.

— Ну да, это же очень просто! — ответила Нина.

III.

Такие же гильзовые машины стояли в цехах и до революции. Нынешние отличаются от тех, старых, только мелкими конструктивными усовершенствованиями. Но тогда на каждых двух машинах работали три работницы. При двух машинистах была одна подсобная работница.

В чем дело? Может быть, табачные фабриканты не хотели перегружать людей?

Конечно, табачные фабриканты не думали о работницах, которые гибли на этой проклятой работе, дыша не воздухом, а мельчайшей ядовитой пылью. Теперь на советских табачных фабриках мощная вентиляция в корне улучшила условия работы. Но тогда в цехах стоял густой, почти непроницаемый туман, ничего нельзя было разглядеть уже в трех шагах от себя. Даже короткое пребывание в таких условиях отнимало здоровье. Кто

не бежал отсюда во-время, умирал. Что ж, на смену им в цех приходили другие...

Приобрести навыки, повысить квалификацию работницы не успевали. Как сказано, очень немногие выдерживали подолгу этот ад. Фабрикант нимало не огорчался тем, что рабочие не успевают приобрести квалификацию. Он набирал новых, неопытных людей, хоть их требовалось и больше. Заработная плата не слишком обременительно ложилась на бюджет фирмы. Работница получала тридцать копеек в день. Но и этот ничтожный заработок привлекал массы женщин.

На гильзовых машинах не надо употреблять силу, напрягать мускулы, давить плечом. Гильзовый машинист обязан лишь зорко следить за машиной, налаживать ее, быстро исправлять на ходу неполадки. Он должен знать машину, понимать ее. А для этого недостаточно механических навыков, которые приобретаются длительным выполнением одних и тех же операций. Здесь нужен некий уровень общей культуры. Но какая уж там культура была у женщин, которых голод оторвал от семьи и привел сюда, к ненавистным машинам, в эти проклятые, губительные цехи!

Работницы пускали свои машины, и больше делать им было нечего. Только присматривать, да изредка смазать, заправить мундштучную ленту. Мучительный кашель раздирал горло и легкие.

И после революции, вплоть до 1927 года, на каждой машине работало по одной работнице. Затем передовые работницы начали переходить на две, на три, наконец на четыре машины. Это казалось абсолютным пределом.

Еще совсем недавно в кругах специалистов обсуждался вопрос: не рациональнее ли снова уменьшить до

двух-трех число машин, обслуживаемых одной работницей, если и не доводить его до старороссийской нормы.

Бытие определяет сознание. Ясно, что сознание некоторых работниц, не понимающих перехода Нины на шесть машин, и сознание кое-кого из специалистов определялось старым, давно ушедшим бытием. А такие специалисты были на фабрике.

Нину спросили:

— Тяжело было вначале?

— Нет, — сказала она, — ведь вся фабрика была за меня, а против — совсем мало.

— Пусть мало, но в первый день работы на пяти станках, под неодобрительными, неотрывными взглядами...

— Тоже нет, потому что... ведь рядом стояли свои ребята!

IV

Товарищи, как скоро мы забываем!

Уже забываются карточки, забыта земля, исполосованная межами, а слова «биржа труда» звучат сейчас так же странно, как «царь».

Между тем она была, биржа!

Приходили разные люди.

Плотники с топорами.

Сезонник, которого нищета выгнала из села.

Бухгалтер.

Девочка. Она, может быть, доучилась всего до пятой группы, и вот пришла сюда.

Надо было жить. Ее мать работала судомойкой, а братья были совсем маленькие. Трудно существовать вдове с тремя детьми на заработок судомойки.

Девочку послали на фабрику, в фабзавуч.

Сейчас она с трудом вспоминает, какой была тогда фабрика. Теперь все другое. Новые цехи, новые станки. И все появилось на ее глазах.

С той минуты, как вошла она в проходные фабричные ворота, вся короткая биография Нины связана с фабрикой.

Здесь девочка, присланная биржей труда, кончила фабзавуч и начала работать.

Ее поставили сперва к трем машинам, но не потому, что такова была норма. По норме полагалось уже четыре. Просто нехватало машин. Когда советская промышленность дала новые машины, Нину перевели на четыре.

Здесь она училась и здесь переучивалась. Ходила в кружки по повышению квалификации, сдавала техминимум.

Здесь открылась ей культура, созданная человечеством. Она регулярно ходила в фабричную библиотеку. Особенно полюбились ей книги Гоголя, Тургенева, Шолохова. Получала в фабкоме билеты в театр. Больше всего понравились «Аристократы» у Вахтангова, «Платон Кречет» в Художественном театре, «Профессор Мамлок» в театре МОСПС. Оперы Нина любит всякие и посещает их под ряд.

Она пришла на фабрику девочкой, здесь узнала и стала понимать жизнь.

Вступила в комсомол.

Нашла себя, как передовую работницу. Ее показатели неизменно остаются гордостью всей фабрики. Еще до начала стахановского движения Волкова на четырех машинах при дневной норме в двести сорок восемь тысяч

папирос давала двести восемьдесят — триста тысяч в день.

Здесь нашла друзей, с которыми училась еще в фабзавуче, а теперь работает. Друзья крепко держатся друг за друга до нынешнего дня. Вместе ходят в театр и кино, вместе катаются на коньках, вместе танцуют в рабочем кафе при фабрике-кухне.

Старые друзья, комсомольская бригада — Полякова, Борисова, Савельева, Мастеница, Телегин — вот кто стоял с ней рядом в тот трудный день, оберегая и поддерживая ее.

Только день проработала она одна на пяти машинах. Уже на следующий перешла на пять машин вся бригада. Потом, вслед за ней, на шесть. А уже за ними другие бригады, цехи, фабрики, Ленинград, Курск, Киев, Одесса...

Она — первая среди равных, хоть в ее биотрафии мало уклонений от типичной для собригадниц и сверстниц.

Вот как все не просто! Нужно было, чтобы фабрика стала на глазах Нины другой, чтобы появились новые машины, новые цехи. Чтобы Нина и ее товарки выросли на фабрике сознательными советскими людьми, полюбив ее, изучив машины. Чтобы жить им становилось все лучше, все веселее, чтобы руки оттого зудели по жаркой работе.

V

В этот день она пришла на фабрику поздно.

Знакомая работница столкнулась с ней в проходной будке и сказала сердечно:

— Поздравляю, Нина.

— А что?

— Ты разве не знаешь? Так беги скорей...

Нина заторопилась в редакцию фабричной газеты, где уж конечно все должны бы знать.

Первый человек, который встретил ее там, был незнакомый солидный мужчина. Он дремал на стуле — видимо, сидел здесь уже давно. Но едва открылась дверь и вошла Нина, он вскочил, схватил ее за руку и, деловито повторяя:

— Минуту! Одну минуту! Спокойно! Так. Благодарю вас! — стал щелкать ее фотоаппаратом.

— В чем дело, товарищи?—спросила Нина, обращаясь к работникам редакции. Они подали ей, улыбаясь, газету, где было напечатано, что она награждена орденом.

Ребята встретили ее веселыми криками. Директор, секретарь партийной организации, делегации всех цехов пришли поздравить ее. Жали ей руки, целовали, говорили «наша гордость», «молодчина» и другие лестные слова.

Вечером огромный зал заводской столовой (этой столовой тоже не было на фабрике, когда пришла туда Нина) принял пышный, торжественный вид. Белоснежные скатерти на столах, салаты, закуски, груды фруктов, блеск бутылок в ярком электрическом свете!

Играл оркестр. Девушки кричали капельмейстеру названия своих любимых танцев, и тот, вежливо кланяясь, выполнял требования.

Сотни людей заполняли зал, и за передним столом среди почетных гостей сидела Нина.

Начало банкета несколько задержалось, потому что Нину одолевали журналисты.

— Кем бы вы хотели быть? — спросил один из них.

— Подучиться немного и работать на своей фабрике дальше, — ответила она.

Ей надарили разных вещей. От Наркомата пищевой промышленности она получила швейную машину, от директора — мозеровские наручные часы. Свои ребята, комсомольцы, поднесли ей полное спортивное снаряжение — лыжный костюм, ботинки, коньки.

— Мы, — сказал представитель завкома, — организация небогатая, но чувства у нас к Нине самые пылкие, в ознаменование чего просим принять от нас крепдешиновое платье.

Нине пришлось тут же надеть его по требованию товарищей.

Под гром аплодисментов вернулась она в зал в своем новом платье. Нину засыпали конфетами, цветами. Огромная корзина хризантем заслонила ее.

Теплые, дружеские речи внимательнее всех слушал ее брат, мальчуган лет двенадцати. Он был абсолютно в курсе всех дел сестры и необычайно переживал успехи Нины. Тщательно подбирал вырезки из газет, где упоминалось ее имя. Для него в семье появился как бы собственный Чапаев и Стаханов. Парнишка сидел рядом с Ниной.

Мать пришла позже — была занята на работе.

Сама Нина была оглушена всем этим блеском, ей нравилось все, но она боялась, что чествование кончится слишком поздно. Жильцы дома предупредили, что твердо решили дождаться и узнать, как прошло торжество.

Пришло время говорить Нине. Ей хотелось сказать многое. О стране, о фабрике, о комсомоле, о своих товари-

щах, о жизни, которая так прямо и радостно лежит перед ней. Но волнение мешало Нине, и она сказала только, что перейдет на восемь машин.— И будьте уверены, товарищи, работа пойдет!

Все люди, сколько их было в зале, встали и запели Интернационал.

Е. Габрилович

Вагоновожатый

Христофор Иванович Селезнев работает вагоновожатым двадцать пять лет.

История московского трамвая, короткая, но богатая бурями, прошла на его глазах. Он помнит первые трамвайные вагоны—зеленые двойняшки с двумя дугами, вагоны бельгийского общества, совершавшие рейсы между Савеловским вокзалом и Страстным монастырем. Помнит время, когда трамвайные линии пересекали линии конок: на электричке ездили вольнодумцы, в то время как люди богобоязненные взбирались на коночный импе-

риал. Помнит трамвайную забастовку 1913 года, когда вожатые и кондукторы прекратили работу, добиваясь прибавки в два рубля пятьдесят копеек. Трамвайные поезда вели в те дни штрейкбрехеры. Некоторые вожатые и трамвайные служащие их звали колбасниками, так как в парке им за штрейкбрехерство выдавали в награду вареную колбасу.

Империалистическая война. Население Москвы увеличивается с каждым днем. Тогда-то москвичи впервые почувствовали, что значит висеть на подножке вагона и, пробиваясь к выходу, спрашивать:

— Вы сходите на следующей?

Утлый московский трамвай хирел под этим неслыханным натиском пассажиров. Вагоны выбывали из строя один за другим. Вагонный парк пополнялся вагонами, эвакуированными из Риги. Это были крохотные вагончики, вначале они перевозили пленных. Окна вагончиков были выбиты, немцы в очках, австрийцы в голубых шинелях уныло покачивались.

Все это помнит Селезнев. Двадцать пять лет сидит он за ручкой контроллера. Многое пережили за эти годы московские трамвайщики. Они помнят баррикады из трамвайных вагонов в 1917 году, октябрьские бои на Театральной, красные эшелоны, перевозимые на вокзалы в трамваях: на Колчака, на Деникина!

В те дни московский трамвай много помог революции. Не было транспорта — трамвай перевозил уголь, картошку, дрова. Не было санитарных повозок — трамвай вез раненых красноармейцев. Он возил шинели, винтовки, медикаменты.

Вагонов становилось все меньше. Пассажирское движение было почти прекращено. В трамвае ездили главным образом бесплатно, одно время — по специальным

Христофор Иванович Селезнев

удостоверениям. Их выдавали рабочим, студентам, ответработникам. Розовые удостоверения. Имя, отчество, фамилия, год рождения. И внизу:

«Предъявитель сего имеет право неограниченного проезда по маршруту № 6 в обе стороны». Что подписями и печатью удостоверялось.

Двадцать пять лет! Целая жизнь, огромный опыт. Мытарства, бедность — до революции. Премии, грамоты, награды — в послереволюционные годы. Имя, известное каждому трамвайщику Союза. Слава. Первая премия во всесоюзном соревновании вагоновожатых.

Но двадцать пять лет назад Селезнев и не помышлял о работе вожатого. Приехав в Москву, он поступил в гостиницу «Берлин» на Рождественке в качестве коридорного.

— Получал я, — рассказывает Селезнев, — шесть рублей в месяц. Работал до двух часов ночи. В пять утра — опять на ногах. Работы не оберешься. Одних штиблет с сотню вычистишь. Каждому башмаку — своя вакса. Двенадцать печей истопишь. Только свалишься ночью спать, — звонок: для разговора вызывают...

— Как это, для разговора?

— А так. Скучно ночью гостю, не спится. Вот он и вызывает тебя, чтобы поговорить. О том, о сем: о жене своей расскажет, о делах. Глядишь — и заснет.

И Селезнев продолжает:

— Невмоготу мне стало коридорным работать. Решил я уйти. Но куда? Некуда, безработица страшная. Тут земляк один надоумил: на трамвай, говорит, принимают, на вожатого учиться. Не хотел я в вожатые итти, да земляк убедил. Сапоги валеные там, говорит, казенные выдают. Вот из-за этих сапог и пошел я в вожатые.

Началось ученье. Учителя обращались с учениками грубее грубого. Селезнева величали не иначе как Христоforкой.

Он спрашивает меня:

— Вас верно удивляет, что меня Христофором зовут?

— Имя действительно необычное.

— Имя это имеет свою историю. Родился я в 1882 году, в Калужской губернии, в крестьянской семье. Отец мой, безлошадный, был в долгу у попа: не смог заплатить ему еще за свадьбу свою. Когда принесли меня крестить, священник сказал: «Наречем его Евпудием». Крестная в слезы: «Батюшка! Дай обыкновенное имя». Священник: «Ладно. Быть ему Христофором!» Сколько ни плакали, не уступил: «Надо долги платить, тогда и имя будет обыкновенное».

Пришли наши домой, да и забыли, как меня поп окрестил. Вспоминали, вспоминали — не вспомнили. Стали звать Аристархом. Так и звали до десяти лет, пока в школу не поступил. Только тогда учитель в метрике разобрался.

В 1911 году Селезнев впервые начал самостоятельно водить вагоны. С тех пор он работает без перерыва. Весной и зимой, осенью и летом. В бурю, в дождь, в снег.

Много подводных камней лежит на пути трамвая. Жизнь города не смолкает ни на секунду. Автомобили, ломовики, велосипеды, пешеходы. Огромное умение, пристальное внимание, неугасаемая осторожность необходимы для того, чтобы вести и вести трамвай среди этого уличного кипения.

— Как трудились работники московского трамвая до Октября?

— Дело было казенное, — отвечает Селезнев, — платили нам скверно, жили впроголодь. Перед каждым масте-

ром и начальником приходилось во фронт становиться, руки по швам. Только и думали мы, как бы удрать с трамвайной работы. Каждый спешил кое-как отбарабанить свои часы да домой уйти. Лишь бы с работы не уволили. А там — хоть трава не расти!

— Первое время,—продолжает он,— было у нас такое же отношение к трамваю и после Октября. Потом, однако, поняли мы, что забота о трамвае — наше рабочее дело. Привыкли мы чувствовать себя хозяевами трамвая, отвечать за него. Стал нам трамвай близким, родным делом. Злость да досада берут, когда видишь теперь такое же отношение к трамваю, какое у нас самих было раньше: отработал — и с плеч долой! А когда началось стахановское движение, тут нас стариков и вовсе взяло за живое. Боялись мы, что отстанет трамвай от общих великих дел. Все думали, как бы улучшить нашу работу. Представьте себе: утро, рабочие-стахановцы спешат на работу, и вдруг:

— Трамвай неисправен, граждане! Дальше не пойдет!

Позор! О неисправности, о возврате, об опоздании не должно быть теперь и речи. Стыд! Стыдно подумать! Ведь это же наше кровное дело. Это дело нам славу приносит, гордость и радость, надо и нам постоять за него!

Ни одной аварии не было у Селезнева за последние десять лет. Ни одного возвращения среди дня в парк из-за неисправности вагона. Выполнение графика. Выполнение расписания.

Селезнев полностью овладел техникой своего ремесла. Он доказал возможность точного и безаварийного многолетнего вождения, — возможность, которую отрицали многие «специалисты». Он сломал низкие технические нор-

мы эксплоатации вагона, обоснованные «теориями» о том, что возвраты с линии неустранимы. Неуклонно выполняя расписание, он показал первоклассное качество вождения.

Это — подлинный стахановец трамвая.

Область вождения трамвая скромна. Здесь нет великолепных рекордов. Мастерство дает себя здесь знать в цифрах, отображающих результат многомесячной езды: ни одного наезда, ни одного опоздания. Год безукоризненной езды — это хорошая работа. Вожатый, не знающий в течение всей своей многолетней работы ни аварий, ни поломок, ни опозданий, ни возврата с линии, демонстрирует образец стахановской работы.

Таким работником является Селезнев.

Каковы же методы работы Селезнева, в чем секрет его успехов? Как организует он свой труд?

Утро. Вожатый Селезнев приходит в парк. Получив инструмент — ломик, рукоятку воздушного тормоза, ручку от малого вала, — он идет на канаву проверять свой поезд.

— Конечно, — говорит он, — можно и за десять минут осмотреть поезд, но нельзя затем полностью исправить замеченный дефект. Начнешь исправлять и выедешь со значительным опозданием. Если же наспех осмотришь и не доглядишь, то обязательно вернешься среди дня в парк с неисправным вагоном.

Селезнев тратит лишних полчаса на осмотр, но зато он уверен в полной исправности поезда. Он не ограничивается одним моторным вагоном. Он осмотрит прицепы, буферные штыри, тормозные колодки. Проверит действие сигнальных звонков.

Только тогда, и притом точно в срок, он выезжает из парка.

Вождение трамвая по городу — особая наука. Правила этой науки, нехитрые на первый взгляд, достаточно сложны. В чем же селезневские правила безаварийного вождения?

Прежде всего—полнейшее и пристальнейшее внимание ко всему, что происходит на улице.

Недостаточно во-время увидеть пешехода, пересекающего рельсы, и дать ему сигнал. Нет. Надо все время видеть улицу целиком: всех пешеходов, переходящих улицу, даже тех, кто как будто и не собирается перебежать путь трамваю. Опыт показал, что пешеход может в любой момент изменить намерение: он вздумает вдруг перейти рельсовый путь тогда, когда тормозить уже будет поздно.

Далее: вожатый должен уяснить себе настроение пешехода, пересекающего улицу, проникнуть, как говорит Селезнев, в его душу. Задумался ли пешеход, пьян ли, оживлен, огорчен, весел. Задумчивые пешеходы переходят рельсы долго и могут даже вовсе остановиться вдруг среди рельсов. Хронике городских происшествий известны случаи, когда пешеход, спокойно пересекавший рельсовый путь и державший в руке газету, вдруг останавливался на рельсах, увлеченный газетной статьей. Много подобных случаев!..

И наоборот, — пешеход, взбудораженный чем-то, пересекает рельсы самым неожиданным образом. Идет человек как будто совершенно спокойно и вдруг перебегает рельсовый путь в двух шагах от вагона.

Все такие возможности вожатый должен предвидеть заранее. Надо отличить человека опытного в хождении

по улицам от человека, который может мгновенно растеряться. Провинциала — от столичного жителя. Быстрый и нервный шаг пешехода от шага спокойного, сдержанного.

Все это в еще большей степени относится к автотранспорту. Каждому автомобилю, пересекающему улицу или перегоняющему трамвай, свойственно, так сказать, индивидуальное поведение. Один — продвигается уверенно, методично. Другой рвется вперед, горячится, лезет на рельсы. Бывают автомобили спокойные и автомобили самого бурного и неопределенного поведения. И здесь вожатый обязан не только констатировать появление автомобиля, но и определить возможное поведение этого автомобиля при встрече с трамваем.

Словом, нужно знать улицу. Нужно не только в совершенстве владеть вагоном, усвоить правила движения, заострить глазомер, но и уметь мгновенно разрешать сложные движенческие задачи, которые улица преподносит на каждом шагу.

Первое условие для правильного разрешения таких задач: вожатый должен прекрасно знать свой маршрут. Каждая улица имеет свои особенности и свои движенческие казусы. Широкие и прямолинейные улицы характерны одним поведением пешеходов и автотранспорта, узкие, извилистые, изобилующие сквозными переулками — другим. Вожатый должен следить за тем, что готовит ему та или другая улица: типичные случаи, характерные для данной улицы, будут повторяться изо дня в день.

У Селезнева нет случаев возврата с линии в парк. Мы писали уже, что Селезнев внимательно осматривает свой поезд в депо. На каждой конечной остановке Селезнев

вновь и вновь подвергает вагон осмотру. В то время как многие другие вожатые заняты «перекуркой» и разговорами, Селезнев прощупывает тормоза, смотрит, не греется ли осевая букса, целы ли боковые сетки, не перекосилась ли дуга. Как только замечена неисправность, он немедленно вызывает слесаря. Болезнь вагона предупреждена. Предотвращен возврат.

Москва изменилась за последние годы. В 1931 г. Центральный комитет партии принял решение о реконструкции Москвы. Все мы видели, как под руководством товарища Кагановича московские большевики проводили это решение в жизнь: Москва отстраивалась, перепланировалась, украшалась на наших глазах. На наших глазах свершилось падение Сухаревки и падение Охотного ряда. Тысячи крыс бежали из древних своих нор, когда срывали эти московские закрома.

История нового замощения Москвы — бодрая и мощная история. Булыжник сбрасывали с улиц в одну ночь. Там, где вчера еще грохотали ломовики, ложился рыхлый асфальт. И стальные «Буфалло» — два непомерно разросшихся колеса — катали, мяли и гладили этот асфальт.

Все реконструировано в Москве за эти немногие годы — улицы, транспорт, водопровод, телефон, электричество...

Особое внимание обратил Л. М. Каганович на московский трамвай. По прямому указанию Лазаря Моисеевича были выработаны новые типы вагонов, проложены десятки километров новых путей, в корне изменен порядок тяговой службы. Ныне московский трамвай — один из самых провозоспособных трамваев мира.

Это подлинный работяга. Он работает втрое больше чем его парижский коллега. Всего лишь 4 часа в сутки отды-

хает московский трамвай. Он умолкает глубокой ночью, он принимается за работу ранним утром, которое похоже на ночь: тьма, горят фонари, безлюдны улицы.

В работе вожатого огромную роль играет погода. Вести вагон в хорошую сухую погоду — еще не значит полностью освоить вагоновождение.

Осень. Над городом туман. Моросит дождь. Значит, будет «юз».

Что такое юз?

Рельсы покрыты липкой грязью. Колеса вагона скользят. При резком торможении колеса катятся по рельсам, как салазки. Резкое торможение не прекращает в такие дни движения вагона, но, наоборот, убыстряет его.

Юз — серьезнейшее испытание для вагоновожатого. Нельзя надеяться на мгновенное действие тормозов. Тормозной путь становится длиннее. Каждое препятствие — опаснее. Все надо видеть заранее, иначе аварию или наезд не предотвратишь.

Но юз бывает не только осенью. Он бывает зимой после оттепели, и при пороше, и весной. Он может наступить в любой час, в любое время года.

Словом, вожатый должен быть готов к юзу всегда. Юз сразу повышает трудность вождения. Аварии увеличиваются, расписание ломается.

Но Селезнев не знает аварий и выполняет график движения и при юзе.

Почему? Вот правила Селезнева для работы при юзе. Осенью и зимой надо особенно внимательно изучать особенности своего маршрута, — установить опасные в отношении юза отрезки пути, знать их наперечет.

При выезде из депо тщательней, чем обычно, исследовать регулировку тормозной системы, работу песочниц.

Особое внимание уделить тормозным колодкам, которые во время юза нельзя сильно затягивать. Плохо придется вожатому, если у него неправильно отрегулированы тормоза на вагонах и происходит неодновременное торможение мотора и прицепа. Получается толчок, от которого поезд незамедлительно переходит в юз. Дело в том, что при регулировке тормозов слесаря всегда больше внимания обращают на мотор, чем на прицеп. Прицеп же с плохими тормозами ведет к юзу.

Далее: движение во время юза. Принципы этого движения Селезнев сводит к трем правилам:

Первое — как можно дальше держать свой вагон от вагона, следующего впереди.

Второе — не подъезжать на остановках к хвосту переднего поезда: будет наезд. Остановить свой поезд поодаль и ждать, пока освободится остановка.

Третье — останавливать поезд тихо, сокращая скорость малыми порциями воздуха в тормозной цилиндр.

— Останавливать надо так, — говорит Селезнев, — чтобы пассажир, который читает газету, не потерял бы строки.

Мастерство вагоновожатого заключается в знании механизмов вагона, в тщательной и постоянной проверке этих механизмов. Мастерство езды — осторожное и четкое ведение вагона, «чувство улицы», умение заблаговременно разгадать характер и манеру движения пешехода и машины, пересекающих рельсовый путь.

Овладение мастерством ведет к точному соблюдению расписания. Подлинный мастер не знает ни аварий, ни опозданий. Подлинный мастер легко достигнет норм, показанных Селезневым, норм четкой, безаварийной, точной

работы во всякое время, во всякую погоду, стахановских норм, опрокидывающих «нормы» некоторых инженеров, ориентирующихся на необходимость и обязательность «аварийной поправки».

Двадцать пять лет работает Селезнев. Он обучает своему мастерству новых и новых вожатых. Он пишет в газетах, доказывая, что его работа — не чудо, а лишь выполнение определенной системы вождения, доступной каждому, кто желает работать добросовестно, кто стремится к мастерству. Он следит за работой парка, борется за увеличение производительности труда, за массовое стахановское движение на трамвае. Он добивается улучшения рабочего места вожатого: утепления площадки, предохранения стекол от замерзания, улучшения скамейки для сидения, замены ломика деревянной подножкой.

Селезнев премирован десятки раз. Вместе с другими лучшими ударниками страны он совершил поездку за границу на теплоходе «Абхазия». Старый вожатый Краснопресненского трамвайного депо видел пустынные гамбургские верфи, укрепления Гибралтара, синеву Средиземного моря, Неаполь и Капри, Афины, развалины Геркуланума, Крит, Стамбул, Пропилеи.

Селезневу не мало лет, но он работает изо дня в день. Он добивается новых и новых норм технического использования вагона, он участвует в соревновании с молодежью и никому еще не уступил до сих пор первого и почетного своего места. Он — подлинный мастер и подлинный большевик. Ибо

«Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота р я д о в ы х р а б о ч и х об увеличении производительности

труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, достающихся не работающим лично и не их «ближним», а «дальним», т. е. всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей...»

Так писал Ленин.

А. Гудимов

Советский инженер

I

Двадцать лет назад, в октябре 1915 года, молодой студент Петербургского политехнического института Леонид Михайлович Чарноцкий взошел по трапу на пароход прямой линии Архангельск — Нью-Йорк.

Ледовитый океан встретил пароход туманами, бесшумно проплывающими айсбергами. Атлантический — шумными океанскими волнами и таинственными пиратствующими германскими подводными лодками в глубине моря.

Шел второй год мировой войны. Европа содрогалась от гулких орудийных залпов. Всех, кто был молод, гнали воевать. Через год с лишним дошла очередь и до студента Чарноцкого. Весь последний курс Политехнического института вместо практики был послан на заводы военными приемщиками. Чарноцкий и тридцать других студентов поехали приемщиками в Америку.

Покидая залитую горячей человеческой кровью Европу, студент Чарноцкий думал, что он уже вырвался из окружения мировой бойни. Но не тут-то было. Вся американская промышленность превратилась в один гигантский завод для производства воюющим сторонам орудий смерти. Мирнейший велосипедный завод в Спренфильде, на который попал Чарноцкий, и тот, сократив основное производство, лихорадочно точил снарядные патроны и головки.

Чарноцкий в то время мечтал о самой разнообразной практике и учебе. Вместо этого он видел полувоенные заводы. И чем дальше шла мировая война, тем меньше оставалось возможностей для учебы и настоящей практики.

Когда в Америку пришли первые вести о февральской революции, Чарноцкий в жажде большой самостоятельной работы уложил чемоданы и пересек Атлантический и Ледовитый океаны в обратном направлении.

Полный надежд, он приехал летом 1917 года в Россию. Но о подлинной работе думать не приходилось. Временное правительство провозгласило войну до победного конца. Заводы лихорадочно работали на оборону. Чарноцкий вернулся обратно в институт и кончил его в 1918 году.

Страна кипела в котле гражданской войны. Большинство заводов стояло. Проектные конторы были закрыты.

Найти работу по специальности было невозможно. Пришлось ехать в Туркестан строить фруктовые сушила.

«Плохая, но все-таки работа!.. Правда, из-за нее не стоило учиться пять лет в институте и два года сидеть в Америке», — думал Чарноцкий, усаживаясь в переполненную теплушку.

Потом Средняя Азия была отрезана. Сушила никому не были нужны. Молодому инженеру около года пришлось работать железнодорожным машинистом, затем в Краснодарском совнархозе. Настоящей работы, о которой мечтал Чарноцкий, когда недосыпал ночей, зарабатывая средства на учение уроками, не было. Негде было применить американский опыт, негде было испытать свои способности и знания. Это было обидно. Начинало казаться, что жизнь пошла не по той дороге, впустую.

Но в 1922 году по Кавказу прошел слух, что большевики твердо решили наладить нефтедобычу и реконструируют Баку. Бросив теплое, насиженное место в совнархозе, Чарноцкий перебрался в Баку. Он хотел быть там, где начиналась настоящая работа.

II

Грустную картину представляли в то время промыслы. Интервенты, старые хозяева постарались все, что можно, увезти, а оставшееся разрушить. Большинство скважин было завалено. Некоторые скважины были забиты трупами расстрелянных рабочих. Оживленный раньше промышленный район стал пустырем.

Все промыслы надо было восстанавливать заново и так широко, чтобы они уже через несколько лет перекрыли довоенную добычу.

Леонид Михайлович Чарноцкий

Старые инженеры не верили в возможность восстановления Баку. Серебровский искал молодых инженеров. В это именно время он и обратил внимание на нового инженера, сидевшего в канцелярии. С необычайной энергией, с американским размахом и деловитостью он выполнил несколько важных поручений. Это был Чарноцкий. Старые бакинские инженеры упорно отсиживались в огромном здании Азнефти на набережной. Чарноцкий рвался на завод. После долгих лет он впервые видел возможность работать с полной нагрузкой.

В это время на заводе имени лейтенанта Шмидта было всего сто восемьдесят рабочих. Разбиты они были не по цехам, а по национальностям. Так, были армянские цехи. например чугунолитейный, в котором работали армяне двух деревень. Русских, а особенно тюрков, в цех они не пускали и работать с ними не желали. В кузнице также одна смена была армянская, другая русская. В других цехах были только тюркские смены. Веками натравливаемые друг на друга, эти национальности мирно не жили. Старые владельцы заводов были кровно заинтересованы в национальной вражде: она облегчала борьбу с забастовками.

Чарноцкий пришел на завод с определенной программой. Надо было строить американские глубокие насосы, бурильные станки, компрессоры. Надо было снабжать промыслы инструментом. Эту программу нельзя было выполнить, не перестроив завода и, самое главное, не перевоспитав людей. На этом заводе Чарноцкий в первый раз понял, что кроме машин и оборудования нужно отлично знать людей, что люди — основной капитал завода.

Через шесть лет, когда Чарноцкий уезжал на работу в Москву, на заводе работало две с половиной тысячи рабочих. Завод строил важнейшие станки и оборудование.

И — что самое главное — армянин, тюрк, грузин, русский работали плечо к плечу. Теперь вам засмеялся бы в лицо любой тюрк, если бы вы ему сказали, что нельзя работать рядом с армянином.

III

В 1930 году крупнейший тогда московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» выпускал станки: токарно-винторезный «ТВ-2» и токарный «ТН-20». Оба эти станка наглядно свидетельствовали о нашей технической отсталости в области станкостроения. Такие станки выпускались за границей в 1912 году. Следовательно, наша промышленность и завод отставали на восемнадцать лет. Нужен был гигантский скачок.

В это время на «Красный пролетарий» главным инженером пришел Леонид Михайлович Чарноцкий. С его помощью завод должен был сделать этот прыжок.

Был запроектирован новый станок под обязывающим девизом «ДиП», что значит «догнать и перегнать». Вокруг проекта этого станка разгорелись яростные споры, закончившиеся судом над станком в Политехническом музее.

— Что вы делаете? — говорили одни. — Вы сознательно берете в основу станок, который выпускали за границей в 1928 году. Только еще проектируя, вы уже отстаете на два года.

— Зачем нам этот станок? — говорили другие. — Нам нужен простой универсальный токарный станок, годный для всех мастерских и мелких заводов.

— Ничего, — успокаивал своих инженеров Чарноцкий, когда противники особенно страстно нападали на новый станок. — Не так важен станок, как важно вырастить лю-

дей, способных строить этот станок... Мы и так перепрыгиваем в производстве сразу из 1912 года в 1928, пропускаем сразу шестнадцать лет...

История показала, что Чарноцкий был прав. Люди, которые сумели построить «ДиП», уже легко осваивали более сложные последующие станки. Правда, первые станки «ДиП» строились с необычайными трудностями, и главной был именно недостаток в людях.

Дело в том, что станкостроители — это особенные рабочие. У них особые навыки точности и тщательности отделки. Они подходят к своей работе с исключительным вниманием. Ведь станкостроительный завод выпускает не просто машины, а машины, делающие машины. На станкостроительном заводе рабочий имеет дело с деталями, обрабатываемыми с точностью до одной сотой миллиметра. А к точностям нужна долголетняя привычка.

Чарноцкий, после первой студенческой поездки еще два раза ездивший в Америку, хорошо знает историю, которая произошла с американскими станкостроителями. В годы кризиса американские заводы распустили десятилетиями воспитанные кадры. Сейчас же, когда началось некоторое оживление и предприниматели собрали часть старых рабочих, оказалось, что они уже непригодны для станкостроительных заводов. Поработав на других предприятиях, эти рабочие утеряли чувство точности, привыкли к более значительным допускам, худшей отделке деталей. Американские промышленники нашли, что легче подготовить новых рабочих, чем отучать людей от плохих навыков. Вот еще одна гримаса капитализма: при многомиллионной безработице индустриальная Америка ощущает нехватку в высококвалифицированных рабочих!

Вырастив за несколько лет прекрасные кадры, воспитанные на точности и тщательности, завод «Красный про-

летарий» теперь безбоязненно берется за любой сложный станок.

На «Красном пролетарии» Леонид Михайлович Чарноцкий превратился в одного из крупнейших советских инженеров. Сам завод теперь в ряду передовиков нашего станкостроения.

В январе 1935 года Чарноцкий был переброшен техническим директором на новый станкостроительный завод имени Орджоникидзе.

IV

Ныне орденоносец, рабочий Гудов первым на заводе имени Орджоникидзе откликнулся на мощный зов Стаханова из Донбасса и Бусыгина из Горького. Вслед за фрезеровщиком Гудовым десятки заводских стахановцев начали резко повышать свою выработку, в несколько раз перекрывая нормы.

Колоссальный рост рабочих прошел мимо большинства инженеров. Попрежнему, приезжая из-за границы, инженеры с восхищением рассказывали о плохо оборудованных маленьких заводиках, которые выпускают отличные станки. Поглядывая на свои прекрасно оборудованные заводы, они повторяли навязшие в зубах зады:

— Люди не те... Там у них десятилетиями опыт копился... Наследственные станкостроители.

Работа Гудова показала Чарноцкому: рабочие кадры выросли, инженеры отстали. Посмотрев на растерявшихся инженеров технико-нормировочного бюро, он решил соединить в цехах передовых рабочих с теоретически грамотными инженерами. По его мнению, это принесет пользу и тем и другим.

Чарноцкий перебросил в цех двадцать инженеров, освободив их от административных функций. К каждому инженеру он прикрепил по девять рабочих.

— Ваша обязанность, — говорит им Чарноцкий, — изучить по-настоящему работу станков, найти совместно с рабочими правильные приемы работы, правильный режим, скорости резания и т. д. Вы своими теоретическими знаниями должны помочь опыту рабочих, сократить машинное время, увеличить отдачу станка!..

— И без чванства!.. — предупреждал Чарноцкий. — Помните, что какой-нибудь строгальщик или фрезеровщик подчас больше вас знает в своей специальности. Я сам часто учусь у таких мастеров!..

Придя в цех, каждый инженер, взяв одного рабочего, начинал вместе с ним работать на станке. Это продолжалось до тех пор, пока резко не увеличивалась выработка. Тогда инженер переходил к другому рабочему, к другому станку. Чтобы больше заинтересовать инженеров в работе, им была установлена прогрессивная оплата в зависимости от выработки и числа обученных рабочих.

Сперва рабочие отнеслись недоверчиво к учителям-инженерам, но когда выработка, а следовательно и заработки сильно поднялись, отношения изменились.

Так по инициативе Чарноцкого непосредственно в цехе инженеры начали воспитывать и растить стахановцев. Это дало хороший результат. Отдача оборудования за ноябрь увеличилась на сорок четыре процента. Завод получил возможность заявить, что без дополнительных капиталовложений в 1936 году он удвоит продукцию.

— Это только первый шаг, — говорит Чарноцкий. — Наполовину сокращено лишь машинное время, а надо наполовину сократить и установочное. Например, если се-

годня на производство детали дано сто минут, то они делятся примерно так. Сорок минут идет на установку — это установочное время. Шестьдесят минут уходит на обработку — это машинное время. Мы сократили на заводе машинное время примерно наполовину. Теперь надо приняться за установочное.

Уже сейчас для сокращения установочных работ монтируется компрессор, вводятся пневматические патроны и т. д.

Помимо всего переброска инженеров в цехи подтолкнула решение ряда производственных проблем. Эти инженеры раньше равнодушно относились к таким вопросам, как большие припуски, нестойкость инструмента, применение твердых сплавов и т. д. Сейчас, когда все это непосредственно коснулось их самих, инженеры вплотную занялись этими делами.

— Таким образом мы рывком, с большим напором переходим на высшую ступень производственной культуры. Я думаю, — говорит Чарноцкий, — что и на этой ступени мы долго сидеть не будем.

V

— Каждый из нас мечтает... Один о том, чтобы стать инженером, другой — мастером... Время наше такое, что мечты легко осуществлять...

Чарноцкий медленно осмотрел сидевших перед ним людей. В спецовках, с приставшей кое-где металлической стружкой и еще не вымытыми руками, пахнущими машинным маслом, они напряженно и внимательно слушали Чарноцкого. Машинально поправив галстук, он неожиданно улыбнулся и сказал:

— И я лет пятнадцать назад мечтал... Но надо учиться. Я думаю, что нам надо у каждого из вас в отдельности узнать, кем вы мечтаете быть. Тогда уже можно с каждым из вас в отдельности заниматься...

Чарноцкий спрашивал о мечтах и мыслях сидевших перед ним лучших заводских стахановцев. Слесари, строгальщики, фрезеровщики, шлифовальщики, токари — они перекрыли мировые нормы. А дальше? Надо учиться, надо приобрести вкус к учебе.

Сам Чарноцкий много учится. Он знает три языка. Систематически следит за иностранной литературой. И он знает, как трудно приучить себя к регулярным занятиям.

Крупный инженер с европейским образованием, специалист, знающий цену своим минутам, он не считается со временем, когда нужно уговорить людей учиться. Он упорно допрашивает стахановцев, чему им хочется учиться...

— Мы должны учить своих стахановцев-инженеров, — говорит он. — Особенно инженеров. Ведь не секрет, что многие инженеры менее культурны, чем молодые рабочие, окончившие школу в этом году.

Так заботливо и тщательно растит Чарноцкий людей вокруг себя и растет сам.

М. Папава

Бригадир китайской машины

В годы гражданской войны босоногим мальчишкой бегал он по пыльной деревне Мокшино, и это время встает перед ним в дымке смутных детских воспоминаний...

Было голодно, ели хлеб с дурандой. У купца Тютина делали обыски. В лесах дезертиры пекли картошку. Приезжал дядька-комиссар. На большой рыжей лошади. С маузером у пояса. Дядька казался Вячеславу необыкновенно большим и храбрым.

В тот год, когда над страной гремели раскаты последних — перекопских — боев, Вячеслав впервые пошел в школу. Здесь поп уже не рассказывал своих смешных историй про пьяного Ноя, про всемирное наводнение. Выяснилось, что бога нет.

Зимними вечерами берегли драгоценный в то время керосин. Лампа чуть освещала бревенчатые стены школы. А учитель, Петр Николаевич, рассказывал про Ленина. Вячеслав полюбил этого мудрого человека, научившего рабочих скинуть царя. Учитель говорил, что Ленина боятся эксплоататоры всех стран, и эксплоататоры представлялись Вячеславу вроде купца Тютина, у которого делали обыски. Толстые и обязательно с черными бородами!

Рельефная карта, вылепленная из глины Петром Николаевичем, до сих пор помнится Вячеславу. Это была замечательная карта! На ней были и углубления морей и возвышенности гор, узкими канавками прорезали ее реки, в центре стояли маленькие зубчатые стены Кремля. Здесь жил Ленин!

Учитель был мастер лепить всякие занятные вещи, и в воскресные дни он продавал иногда на базаре свои фигурки. Он сумел увлечь ребят, и за отсутствием у школы какой-либо мастерской ребята азартно занимались лепкой. Поблизости — бывший Кузнецовский фарфоровый завод, куда крестьяне Мокшина возили глину. Пользуясь знакомством, юные энтузиасты таскали глину прямо с возов.

Уже потом, когда Вячеславу приходилось видеть рельефные карты пятилетки, где были отмечены сотни новых заводов и фабрик, ему вспомнилась глиняная карта Петра Николаевича. Этих заводов не было на ней. Да и не могло быть! Новая индустрия Советской страны соз-

давалась в годы возмужания нашего героя. Вместе с нею вырастали и тысячи, десятки тысяч молодых рабочих — людей новой индустриальной культуры и новых методов труда. Среди них был и будущий орденоносец Вячеслав Коротков.

Его биография не мало удивила бы Бальзака и Стендаля, творцов классических жизнеописаний буржуазного молодого человека. В ней нет эффектных случайностей и необыкновенных превращений. Жизнь Короткова типична для молодого человека нашей страны, где труд стал единственным путем к успеху, к уважению, к славе.

В русской дореволюционной деревне, которая постоянно выделяла часть разорявшегося, нищавшего крестьянства, уходившего на заработки в город, можно было наблюдать своеобразную специализацию. Были деревни, поставлявшие каменщиков, плотников. Другие давали официантов, поваров и так далее. Из Мокшина уходили в кондитеры. В роду Коротковых четыре дядьки Вячеслава работали кондитерами, и только отец был редкостным исключением — служил конным милиционером в Клину.

После окончания школы Вячеслава отправили к одному из дядек в Москву. Это была Москва 1924 года, когда на улицах бросалась в глаза нахальная фигура нэпмана. Во всех углах столицы открывались бесчисленные кустарные мастерские и артели. Часто они были только ширмой для нэпачей.

Мастерская, где работал дядька,— в Марьиной Роще. В знаменитой Марьиной Роще, где по ночам — пьяные песни и поножовщина.

Здесь-то, работая учеником, Вячеслав впервые проник в тайны кондитерского искусства.

Вячеслав Алексеевич Коротков

До этих пор, посасывая карамель, Вячеслав никогда не задавал себе вопроса, откуда она берется. Ее можно было купить в деревенской лавке. Карамель казалась Вячеславу вкусной, а на разноцветные бумажки от нее можно было выменивать у ребят бабки и другие мальчишеские сокровища. В мастерской, в этом завлекательном царстве сластей, его прежний ребячий интерес к конфетам был скоро утерян (он попросту объелся!), и тогда появился к ней новый, производственный интерес.

Он узнал, как приготовляется вязкая и прозрачная карамельная масса, как варят начинку, как штампуют на прессе конфеты. Рослый не по летам, он был принят в профсоюз и даже собирал членские взносы с марьинских кондитеров-рабочих. Правда, чтобы пройти в союз, ему пришлось пойти на отчаянный шаг (здоровый и сильный, он знал производство и хотел работать, мешал только возраст). К своим пятнадцати годам он прибавил в учетной карточке еще два. Об этом знал лишь один человек в групкоме. Вскоре его направили подручным в артель «Пищевик-кондитер», что была на Самотеке.

Здесь он работал на прессе, варил начинку, разделывал «низок»... Здесь же вступил и в комсомол.

Если бы спросили в то время Вячеслава, чего ему больше всего хочется, он не задумываясь ответил бы: поступить на фабрику. Как и большинство подрастающей молодежи, он мечтал о настоящей фабрике, о большом рабочем коллективе, о машинах.

Вскоре союз послал его держать экспертизу на фабрику «Большевик». Фабрика оказалась именно такой, какой он представлял ее себе. Большие цехи, масса народу, шум машин, необычайная чистота. Никогда еще он не испытывал такого радостного подъема, такого полнокровного ощущения жизни, как здесь, на экспертизе. Он про-

работал на прессе лишние полдня. Видя увлечение Вячеслава, мастер понимающе улыбался ему.

Проснувшись на следующий день, он почувствовал, что его снова тянет в цех, не выдержал и отправился на фабрику. С разрешения мастера проработал здесь еще один день.

Квалификация подмастера была получена. Оставалось только дождаться направления на работу. Вячеслав сгорал от нетерпения.

Но вот пришел он раз на биржу труда отмечаться, а из окошка спроса выкрикивают:

— Нужен подмастер на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь».

— Здесь! Я! — заорал в ответ Вячеслав и так стремительно кинулся вперед, что вызвал добродушные чертыханья по своему адресу.

Ругаться всерьез не было оснований. Стоял 1930 год. Страна набирала стремительную скорость первой пятилетки, и работы было больше, чем рук.

На следующее утро, зажимая в руке путевку, Вячеслав подходил к воротам фабрики.

Даем здесь слово ему самому.

— Первым делом я зашел конечно в комитет комсомола. Сидел там кореец Юн.

— Работу мы тебе, говорит, дадим, но смотри не подкачай, помни, что ты комсомолец!

Вхожу потом в цех и сперва даже растерялся немного. Машины шумят. Народу много. К кому итти, не знаю. А рабочих тогда уже нехватало. Бригадиры меня увидели и зазывают, каждый к себе тянет. Поставили меня подручным к мастеру Тебину. Жутко высокий был чело-

век. Выше всех в цехе. Разговорились мы с ним — то да се, где работал, откуда сам... Оказались мы с ним земляками.

Поработал я с ним некоторое время, присмотрелся к машинам. И вот запьянствовал у нас мастер на «пластиконе». А «пластикон» у нас самая сложная и капризная была машина. Решили меня вместо него поставить. Я на ней совсем не работал, а тут сразу бригадиром. Может получиться ерунда. Тебин меня уговаривает, обещает помочь, а сам однако на нее стать не хочет. Предложили, в общем, в порядке дисциплины.

А тут бригада заартачилась. Не хочет со мной работать; я-то ведь совсем мальчишкой еще был — семнадцать лет, а они и при старом мастере вырабатывали плохо. Ну уж тут я уперся.

— Как хотите, говорю, идите к начальнику цеха.

Пошумели, пошумели и стали все-таки на работу. Работал я на этот раз, как чорт. И бригаду заставил. Дали мы с первого же разу две тысячи четыреста кило вместо тысячи восьмисот по плану.

Ну, тут отношение ко мне сразу с их стороны переломилось. А все дело было в том, что предыдущий мастер просто разложил бригаду. Пьянствовал с подручным, а тот, значит, и на производстве его не больно-то слушался. Чуть что — идут покурить и тому подобное.

Я сразу вопрос поставил четко: пришел на фабрику — отдай полное время производству. Кроме того клал все силы, чтобы лучше изучить машину, все ее капризы. Следил за варкой, за ее температурой.

Первая пятилетка — это было боевое комсомольское время. Комсомол был у нас первый организатор. Каждый

рабочий говорил о нем с уважением. А уж раз такое мнение о нас, значит еще больше хочется себя показать.

Ходили мы вместе в театр, в кино, устраивали вечера. Смотрели «Лакме», «Дочь Анго». Коллектив у нас был крепкий и дружный. Много ребят из нашего карамельного цеха было выдвинуто. Левенсона — на Волго-канал, Маслова — в политотдел послали.

Когда окончили мы в два с половиной года пятилетку, я был отмечен в тресте как герой пятилетки, получил премию. Три ордена получили наши рабочие и мастера, в том числе и комсомолка наша Выборнова.

Энтузиазм у нас действительно был большой, горели на работе. Но если теперь, по прошествии времени, подумать, так приходится сказать, что были и недостатки.

Работали нерасчетливо. Иной раз на полу до вершка карамельной массы налипало. Нехватало тары. Конфет навалено — Воробьевы горы. Работали из черного сахара. Иногда нехватало патоки. Товар быстро мок и склеивался. Иной раз конфеты в мешки прямо ссыпали, как картошку. И если сейчас сравнить нашу конфету первой пятилетки и второй, так большая между ними разница...

В годы второй пятилетки Вячеслав упорно углублял свои производственные знания. В отличие от капиталистической системы производства, где рабочий знает только какую-то одну операцию, здесь производство раскрывало перед Коротковым все свои тайны. Он понял физические и химические свойства сахара и патоки. Он узнал, как возделывают свеклу, как из нее получают сахар. Он познакомился с вакуум-аппаратами, варящими карамельную массу. Он научился разбираться в завод-

ской калькуляции, в себестоимости продукции. Все это дал ему государственный техминимум.

В дни парадов, когда крылья аэропланов закрывали небо над Красной площадью, когда разноцветные пестрые иностранные атташе перешептывались на своих трибунах, а с трибун рабочих делегаций неслись приветственные крики, — четким военным шагом он маршировал в рядах рабочих полков Москвы. Вечерами он занимался в школе снайперов. Он тренировал глаз и руку. Он получил звание мастера мелкокалиберной винтовки.

С начала 1935 года Коротков работает бригадиром на «китайской» машине.

Он делает «китайскую смесь» — карамель с начинкой, имеющую форму яблочка, крыжовника, груши.

Машина эта — вовсе не достижение новой техники. Это — старая машина, еще эйнемовских времен. И все-таки выработка бригады Короткова на ней всегда превышала план. Он сам предложил повысить норму для своей бригады. За ним потянулись и другие.

О Стаханове он услышал впервые на занятиях по ленинизму. Воспитанник двух пятилеток, выученик комсомола, он не мог не отозваться на призыв донбасского шахтера. Кондитер Коротков вместе с лесорубами Северного края, бурильщиками каспийской нефти, сталеварами кузнецких домен вступил в бой со всякой рутиной за новую и высшую производительность труда.

У Короткова механизирована была только часть производственного процесса. Его «китайка» лишь формовала конфеты из массы, приготовляемой вручную. Производительность машины и скорость ее работы зависели непосредственно от темпов тянульщика. Тянул тесто и по-

давал его в машину сам Коротков. На машине работал его подручный — комсомолец Ионов. Они должны были тщательно приладиться друг к другу. Отставание одного влекло простой другого.

Коротков попытался было сам резко прибавить скорость, но Ионов не смог сразу же войти в новый темп.

Задача состояла как раз в том, чтобы убыстрить операции обоих в совершенно одинаковой степени. Они должны были представлять идеально слаженный механизм, работающий бесперебойно и четко.

Тогда Коротков решил набирать скорость постепенно. И это удалось ему. Вскоре они дошли до какого-то предела скорости, поставленного уже и физическими возможностями.

Вторая задача состояла в том, чтобы свести простои машины к минимуму. Машина стояла, покамест они приготовляли и разделывали очередную варку карамельной массы. Коротков внимательно и придирчиво исследовал весь этот процесс. Он разложил его на мельчайшие составные части, он испробовал различные комбинации расстановки людей в бригаде (в ней работали еще две женщины), старался предупредить всякую утечку рабочего времени. Постепенно он приучил к этому всю бригаду. И — все четверо — они находили это потерянное, нерасчетливо растраченное время.

Выработка бригады неизменно поднималась все выше и выше. В октябре они давали уже двести пятнадцать процентов плана.

15 ноября Коротков был в Кремле и видел Сталина.

26 ноября бригада дала двести пятьдесят четыре процента плана.

9 декабря Коротков прочел в газетах свою фамилию в списке награжденных орденом Трудового красного знамени!

Огромная радость заполнила его. Но не только его. Вместе с ним гордились и радовались его бригада, цех, фабрика, страна.

Вечером 10 декабря в кабинете директора чествовали нового орденоносца. Здесь были старик-мастер Калошин и комсомолка Выборнова, орденоносцы первой пятилетки. Здесь был главный «соперник» и лучший друг Короткова товарищ Черкасов, бригадир карамельного цеха... Здесь собрались люди новой высокой производительности труда и новых человеческих качеств.

Здесь говорили о мягких конфетах и молочных сортах, о зажиточной, веселой жизни, о плане фабрики на будущий год, о замечательных сортах сладостей, которые она даст. Ленинград «наступает на пятки», «Красный Октябрь» должен выйти победителем в соревновании с ним!

Для людей новой, большевистской закалки победа никогда не бывает самоуспокоением, а только новой ступенькой в беспрестанном движении вперед.

Через день нам пришлось побывать в карамельном цехе. Пахло лимоном и горьким миндалем. В белом халате и колпаке, похожий на хирурга, Коротков стоял у стола, на котором лежал огромный, сужающийся к одному концу тюб красного карамельного теста. Быстрым движением левой руки Коротков вытягивал тесто в тонкую трубку и отрезал ее широкими ножницами, зажатыми в правой руке. Через мгновение, подхваченный руками подручного, этот отрезок застывающего теста попадал в валики «китайки». Выброшенный потом на лоток, он походил на нитку крупных бус. Каждая бусинка была уже готовой

конфетой. Из широких труб охлаждения над лотком ледяной ветер дул на горячую еще карамель. Лоток все время сотрясался и карамельные ожерелья рассыпались. Сухо постукивая, конфеты падали в ящик.

В этот день Коротков побил свой прежний рекорд — дал двести семьдесят процентов плана.

А. Эрлих

Тетя Маня

Тесно и жарко на фабрике. Шеренги платтовских станков, почти сплошь с маленькими флажками ударниц, поседели от «угара». Хлопок оседает на железных машинных частях подобно изморози. В час перерыва ткачихи расходятся по многочисленным красным уголкам, где под портретами вождей стоят неизменные горшки с фикусами. Работницы пьют чай и грызут яблоки.

— Тетя Маня! — кричит одна из них, и голос у нее слишком громок, как всегда в первые минуты переры-

ва. — Тетя Маня, березовые дрова сегодня на складе есть?

У тети Мани можно навести справку по любому вопросу. Ей можно поведать свою интимную тайну и встретить сочувствие и поддержку. Она охотно берет на себя всевозможные житейские хлопоты. Если она увидит, что молодая ткачиха слишком суетится в борьбе с обрывами ниток и с подоплетинами, она непременно поможет и подучит.

Тетей Маней зовут ее ткачихи старые и молодые.

Марьей Васильевной называют ее мастера и директор фабрики, исполненные уважения к этой энергичной сорокалетней женщине с бойким голосом, председателю депутатской группы и члену ВЦИК.

Шум. Это значит — окончился перерыв, запускаются моторы. Работницы торопятся на свои места — две, три ткачихи на каждую шеренгу станков. С громом приходят в движение, одна за другой, трансмиссии. Стучат станки, возобновляя работу. Шум надвигается, усиливается, он множится, он возрастает по мере ввода в кружение новых трансмиссий. И вот уже оглушительный грохот наполнил здание. Дрожит асфальтовый пол.

Тетя Маня, Марья Васильевна Лысякова, лучшая ткачиха-стахановка, одна ходит вдоль всей шеренги—четыре платтовских станка справа, четыре слева. Она меняет челноки, зорко следит за нитками, ловит обрывы. Марья Васильевна одна отлично управляется сразу с восемью станками, перевыполняя план. И никакой суеты. Спокойствие, точность, уверенность, зоркость отличают ее в привычной и расчетливой охоте за временем, за каждой секундой рабочего времени.

Все станки запускаются одновременно. Первые четверть часа держат опытную ткачиху в напряжении. Она

Мария Васильевна Лысякова

склоняется над одним станком, проверяя ход ткани и вдруг резко оборачивается, подозрительно вслушиваясь в грохот другого станка, за спиной у себя.

Это не признаки излишнего беспокойства и нервозности, а свидетельство строгого контроля за всеми станками — с фронта и с тыла. Напряжение первых минут скоро сменится уверенным спокойствием, которое уже не оставит ткачиху во всю смену.

Обрывы ниток — постоянная беда и забота ткачихи. Обрывы неизбежны. И в самой этой беде тетя Маня нашла средство для управления целым стадом грохочущих станков. Обрывы, как быстро они ни устраняются, создают внутреннюю постепенность в ходе машин: запас ниток в челноках становится разным. Там, где было больше обрывов, больше и ниток, потому что для восстановления нарушенного порядка приходится всякий раз приостанавливать станок. Здесь-то и кроется секрет одновременного управления восемью и десятью станками. Тетя Маня управляет отлично, уверенно, легко, с инстинктивной безошибочностью очень опытной ткачихи, держась ближе к тому станку, где она раньше потребуется для быстрой смены челнока.

Конечно, может случиться, что именно в этот миг закапризничает дальний станок. У тети Мани зоркий на это глаз. Ловкая, привычная рука не слишком задержит ткачиху за сменой челнока, и она поспеет к опасному пункту шеренги прежде, чем оборвавшаяся нитка натворит сколько-нибудь ощутимых бед.

Кроме того, на советских фабриках, между ударницами и стахановками давно уже заключен неписанный пакт о взаимной помощи: соседка, наблюдая за своими станками, нет-нет, да взглянет на чужой и, в случае необходимости, немедленно восстановит нормальный рост ткани.

Так поступает тетя Маня. Тем же отвечают ей и все ее соседки.

В продолжение одного года поп дважды отслужил панихиды в семье орехово-зуевских ткачей Былкиных. Из общежития при фабрике Викулы Морозова снесли на кладбище сначала отца, а потом мать.

Куда же было деться тринадцатилетней девчонке Маньке, на руках у которой оказался младенец-братишка? Правда, были старшие братья Кузьма и Алексей. Но оба многосемейные и нищие, они ничем не могли помочь сестренке. Разве только похлопотать в правлении!

Хлопотали долго, унижались и мяли картузы из месяца в месяц, но ничего не выходило. Однажды, спустя полтора года, Алексей Былкин явился домой красный, потный, праздничный. Он принес с собой баранок на рогожной связке, полбутылки, ржавую селедку.

— Ставь на стол самовар, капусты, хлеба, живее! — приказал он жене еще с порога. — Маньку устроил, слава тебе, господи!..

Правление распорядилось принять Маньку подавальщицей в проборный отдел, положив ей шесть целковых. С этих пор Манька с младенцем Сережкой была выделена в самостоятельное хозяйство. Девочка-подросток работала десять часов за шесть рублей. И этого ежемесячного фонда было бы вполне достаточно, чтобы спустя некоторое время поп мог отслужить еще одну панихиду над могилой рабы божией Марии, все из того же семейства ткачей Былкиных, если бы не соседи.

— Манька, будешь щи хлебать? — спрашивали соседи. — Иди с мальчонкой, похлебай, остались.

Три года спустя Марья Былкина, восемнадцатилетняя девушка, окончательно утвердилась на фабрике, стала ткачихой на платтовских станках. Она ткала молескин, бумазею и получала до пятнадцати-шестнадцати рублей в месяц. Щеки ее стали розовыми, а глаза обрели лукавство и блеск.

Ефим Иванович, вдовец, стриженый ежиком и потому прозванный «солдатом», работал на соседних станках. Марья насыпала однажды соли ему в челнок — и ах, как залилась она смехом, когда «солдат», меняя нитки в челноке, сморщился и заплевался от слишком соленой шутки!

Он отомстил после. Тоже в челнок он наложил грязи, которая залепила рот неосторожной девушки. Но она не обиделась. Долго отплевывалась, но глаза ее смеялись, и в голосе были явное восхищение и нежность, когда она говорила:

— Вот чорт, солдат паршивый!

Ободренный вдовец-«солдат» вскоре явился к братьям девушки и засватал ее. Марья Былкина стала Марьей Лысяковой.

Жили в общем хорошо. Но поведение мужа с некоторых пор стало загадочным для Марьи. Чуть не каждый вечер куда-то уходил. Конечно она допрашивала его, грозила, в случае чего, пощупать ежик.

— Ой, солдат, смотри!

Ничего не раскрывал он, только говорил:

— Тебе нельзя.

Потом, когда уж очень обеспокоилась Марья, он повел ее с собой в трактир, усадил за столик, заказал чаю, пирога, а сам уселся за другой столик и просидел с чужими ребятами весь вечер.

— Что за люди? О чем языки чесали? Почему не сидеть всем вместе?

— Да так, понимаешь... Тебе нельзя.

И вдруг — раз! Ефим, говорят, выборщик в Государственную думу. Ефиму, говорят, крышка. Арестуют его теперь. Он революцию разводит.

Поехал вскоре Ефим во Владимир, вернулся оттуда, сообщает:

— Меня опять выбрали. И теперь, — говорит, — мы непременно своего человека проведем.

Действительно, провели они в думу своего—Самойлова, иваново-вознесенского рабочего. И Ефиму — ничего, не арестовали его, не сослали. Только с фабрики выгнали, да больше уж никуда и не принимали. Поехали в Москву устраиваться. И в Москве бились, бились, открытками на улице торговали, — никуда не берут. Когда война началась, только тогда и нашлась работа для Ефима Лысякова: взяли его на войну.

В отчаянии Марья Лысякова пришла тогда на фабрику Мещерина. Уж и просила она там мастера, уж и жаловалась, уж и умоляла.

— А ты где работала?

Она сказала, что шесть лет была у Викулы Морозова в Орехово-Зуеве.

— Хорошая фирма, — согласился мастер, но работы не дал.

Пришлось уехать к сестре в деревню. Было уже двое своих детей да малый братишка Сережка. Злобой наливалось сердце. Одна, без мужа, без работы, с тремя голодными детьми, молодая женщина хорошо узнала, что такое Россия с царем, помещиками, фабрикантами, попами, жандармами. Была она молода и сильна. Несмотря на длительные лишения, силы еще были, но выражение лу-

кавства и юной беззаботности в глазах сменилось упорным огнем зрелой, осознанной, в кровь впитанной ненависти к эксплоататорам.

Прошел еще год, на войне погибло столько молодых жизней и столько новых эшелонов пушечного мяса отправил царь изнутри страны в залитые кровью и грязью окопы, что Марья Лысякова наконец-то получила работу на ткацкой фабрике в Москве.

Ефим был цел, он писал письма. Неясные то были письма, но Марья догадывалась, что они значат, о какой скрытой ефимовой жизни говорят. В первые же дни революции, когда создавался первый фабком и ткачихи еще боялись собственных мыслей, Марья Лысякова бойко накричала на них:

— Чего глаза прячете? Наша взяла, так вверх держать надо головы. Сейчас фабком сделаем, будем биться, чтоб война кончилась и мужья домой вернулись. Будет, боялись, теперь ничего не бойтесь!

Окончилась одна война — ненавистная, начиналась другая — давно желанная. Ефим приехал с фронта, но на первых порах был сам не свой. Ходил как будто не хворый и все-таки никуда не годный: вялый, с рассеянным, бредовым взглядом. По ночам Марья пугалась его, сонного, тревожного, томимого видениями.

— Ох, не радует меня мой солдат, — жаловалась она соседке, испытанной подружке, — заходится. Ночью вскочит ни с того, ни с сего и все рассуждает, рассуждает. «Товарищи, — кричит, — товарищи!»...

Потом «солдат» успокоился, отдохнул и окреп. Он «рассуждал» уже не в туманном горячечном сне, а наяву, в бодром и ясном сознании.

Трижды менялось имя, пока лучшая ткачиха фабрики имени Фрунзе в Москве стала тем, что она есть. Манька

Былкина стала Марьей Лысяковой, потом тетей Маней и наконец Марьей Васильевной.

Жизнь стала великолепной. Большая квартира, сухая, теплая, светлая. Прежде имущества было — швейная машина да треснувшее, зигзагообразной линией перечеркнутое зеркало. Спали на кое-как сбитых досках с подстилками. Теперь в комнатах — высокие никелированные кровати, горка с посудой, шкаф с книгами, огромная картина в полстены, вытканная из ярких разноцветных шелков: Садко играет на гуслях, морское чудище слушает его, раскрыв крылья, за этими крыльями плавают золотые рыбки, и поет среди русалок с дивными волосами сама царевна, подводного царя дочь...

Бойкий голос у Марьи Васильевны — хозяйский, командирский голос и веселый, умный, зоркий взгляд. Заботы не томят ее больше, а радуют. Жизнь превосходна, и Марья Васильевна радуется всем ее переменам, движению, росту. Она счастлива, что старший сын ее вырос крепким, здоровым парнем и уже отправился в Красную армию. Самый труд стал источником несравненной гордости. Тетя Маня — стахановка. О ней пишут в газетах. Она выступала на совещании перед лицом избранных людей великой страны. Она близко видела вождей, слышала их выступления. Великим восторгом наполнила ее речь Сталина.

Будущее не вызывает у нее больше никаких сомнений, ей живется все лучше и лучше. «Солдат» ее заведует писчебумажным магазином и получает около четырехсот рублей. Сама она зарабатывает на восьми станках триста восемьдесят. Это ее стахановский успех — вместо шести платтовских станков работает на восьми! Затем тетя Маня переходит на десять, а потом и на двенадцать станков. Ей хочется новых побед, нового подъема, новой гордости.

М. Вистин

Одна ночь

Было это в ночь с 8 на 9 декабря 1935 года, хрусткую морозную ночь со снегом и тишиной. Рассыльная долго плутала по безлюдным коридорам спящего дома, пока, наконец, не нашла квартиры Бородулина. Он встретил ее полуодетый, сонный, недовольно жмурящийся.

— Ну, я Бородулин. Что нужно?

— Вас требуют в депо. К парторгу. Срочно.

Жена не успела очнуться, не смогла как следует ни-

чего сообразить, а когда, приподнявшись на подушке, ошеломленно оглянулась, — комната была уже пуста.

— Костя! Да что же случилось? Константин?!

Удаляющиеся шаги. Гулко хлопнула входная дверь. Тишина. Ночь.

Только вышли они на улицу, Бородулин спросил у спутницы:

— Что произошло? — голос его звучал озабоченно и деловито. — Авария?

— Да нет, — ответила та, неопределенно пожав плечами. — Кажись, все спокойно. Только вот требуют. Обязательно, говорят, доставь.

«Обязательно!..» Что же случилось, чорт возьми? Неужто — крушение? И это сейчас, через несколько дней после стахановского слета?! Весело, весело!..

Нет. Только не крушение. Крушения не может быть. Не должно быть!

Но зря подымать ночью не станут. «Обязательно!..» И почему — к парторгу? Нет, что-то, видимо, случилось. Не иначе, как случилось...

Сам того не замечая, он резко ускорил шаг. В гудках далеких паровозов ему чудилась тревога.

Он пытливо озирался, пытаясь рассмотреть вдали какие-нибудь признаки катастрофы. Но даль была темна, ночь навалилась на землю непроницаемой грузной тушей, нависла врагом. Бородулин в сознании своего бессилия перед ним яростно сжимал кулаки. Он шагал все быстрей и быстрей. Почти бежал.

Далеко позади, все более отставая, семенила рассыльная.

А когда Бородулин, запыхавшийся, взволнованный, готовый встретить весть о любом несчастье и стиснув зубы, напрягши волю, немедленно, как подобает большевику,

Константин Алексеевич Бородулин

ринуться на борьбу с ним, вбежал в комнату парторга, — гул разговора, до того наполнявший ее, мгновенно оборвался. Все обернулись и замерли, не сводя с него глаз. Стало так тихо, что, казалось, было слышно, как гудел ток в проводах.

Бородулин сделал несколько шагов и остановился, недоуменно оглядываясь. На лицах людей, собравшихся у парторга в этот поздний час, не было и тени тревоги. Они смотрели на него, улыбаясь. Глаза их сияли.

— В чем дело? — спросил он несколько растерянно.— Что случилось?

Парторг не отвечая вышел из-за стола и направился к нему. Он был необычайно торжественен и даже суров.

— Поздравляю, — медленно сказал он,— поздравляю, товарищ Бородулин!

И, тряся его руки, уже по-иному, обычнее, но горячо, взволнованно пояснил:

— Да ведь тебя орденом наградили, Костя! Орденом Ленина — понимаешь, чорт?!

Бородулин понимал — и не понимал. Ошеломленный, он стоял посредине комнаты, счастливо и вместе с тем виновато улыбаясь, не зная, что делать со своими руками, своим телом, не в силах сразу осмыслить, что произошло.

Оживленный праздничный гул наполнил комнату. Друзья наперебой, точно пытаясь компенсировать минутную паузу, объясняли ему, в чем дело. Они говорили, что ЦИК, по предложению Сталина, постановил наградить орденами инициаторов стахановского движения в промышленности и на транспорте, что это постановление завтра же будет опубликовано, что там прямо и сказано:

«Орденом Ленина наградить К. А. Бородулина, бригадира комплексной ремонтной бригады депо Москва-Сортировочная Московско-казанской железной дороги».

Друзья уверяли, что он уже орденоносец, что на него сейчас смотрит вся страна и что он должен теперь сделать и то, и это, землю должен перевернуть—не иначе!

Они жали ему руки, они тормошили его, трясли за плечи, крича:

— Да ты что молчишь-то? Да ты слушаешь иль нет?!

Он слушал и не слушал. Захлестнутый прибоем радости, он только утвердительно кивал головой на вопросы друзей, все еще не в силах вымолвить ни слова, все еще до конца не поверив, что это действительно может быть, что он, бригадир Константин Бородулин, на самом деле — знатный человек своей родины, орденоносец.

Телефонный звонок.

— Бородулина?.. Передаю трубку.

Говорили из «Гудка». Редакция центральной транспортной газеты поздравляла лучшего бригадира ремонтников с высокой наградой. Этой награде, говорила редакция, вместе с Бородулиным будут рады, ею будут горды все железнодорожники Московского узла, весь транспорт.

Разговор был окончен, трубка легла на рычажки, но Бородулин все еще стоял у телефона, не снимая с него руки.

— Ну, что ж, — сказал он, глядя на друзей с ответной теплой улыбкой и поглаживая телефонную трубку так ласково, точно это не безжизненный, холодный слиток пластмассы, а горячее, мускулистое плечо товарища. — Ну, что ж, — повторил он. — Поработаем, товарищи!

Потом он пошел в депо. Там было безлюдно и тихо. Ночная смена ушла обедать. Он медленно обошел все це-

хи, и хотя каждый из них был ему знаком и известен до мельчайших деталей, на этот раз он воспринимал их совершенно по-иному. По-новому.

Он точно впервые увидел маслянистые лужи на полу. Они его покоробили, он сокрушенно покачал головой.

— Прибрать, прибрать!

Ему только сейчас бросилось в глаза, как в сущности грязны стены цехов — копоть-то лохмотьями, лохмотьями! — и сразу же захотелось немедленно, тотчас же, соскоблить эту грязь, чтобы было чисто, светло, радостно.

И потом — эта перегородка: как он только раньше ее не замечал! Ну, конечно же, ее нужно перенести вправо.

Жажда действия обуяла его.

Но в цехах было пусто, а итти в столовую не хотелось.

Тогда он пошел в дежурную комнату. Машинист-орденоносец Беляев, ожидавший там путевку, встретил его распростертыми объятиями.

— Ну, брат, поздравляю, — сияя провозгласил он басом, прижав Бородулина к своей широкой груди. — Поздравляю, друг!

И затем, отстранив его и положив руки к нему на плечи, сказал серьезно и раздельно, глядя ему прямо в глаза:

— Только ты смотри теперь, держись! Ответственность, чуешь, какая? Орден — он обязывает. Крепко обязывает, брат!

— Ничего, — ответил Бородулин, слегка улыбаясь краешком губ, хотя в глазах его уже не было улыбки, — они были серьезны и вдумчивы, эти всегда немного прищуренные, проницательные глаза. — Ничего, — повторил он, — мы свои силы знаем...

Из дежурки он пошел домой. Но дома делать было нечего, спать не хотелось. И, поделившись с женой своей радостью, Бородулин снова собрался в депо.

И вот он снова повторяет путь, проделанный несколько часов назад. Все еще ночь. Но сейчас она уже не враждебна. Она окутывает его мягко и ласково, она стелется перед ним этаким пушистым, бархатным ковром. И паровозы — их голоса звучат сейчас бодро и радостно. Дескать, живем, друг! Хо-о-рошо живем!

И Бородулин сейчас уже не торопится. В такую ночь хорошо итти вот именно так, не спеша, не замечая, что идешь.

Так вот. Значит — орден. Орден Ленина.

Как же это все-таки произошло, дорогой товарищ Бородулин? Как же это случилось, глубокоуважаемый Константин Алексеевич?

Слонялся, видите ли, по земле безвестный фабзавучник Костя Бородулин, сын безвестного рузаевского осмотрщика вагонов Алексея Бородулина, и вдруг — бац! Нет его. Шире дорогу: по земле шагает орденоносец, лучший бригадир-ремонтник Константин Алексеевич Бородулин!

Впрочем, откровенно говоря, это произошло, конечно, не вдруг. Никаких чудес, никаких фокусов! Между фабзавучником и бригадиром, к голосу которого прислушиваются все ремонтники страны, — «дистанция огромного размера», и, чтобы пройти эту дистанцию не «единым махом», а постепенно, ступенечка за ступенькой, понадобилось вдоволь времени, потребовалось много упорства и сил.

Все ясно и просто:

«...Ясность цели, настойчивость в деле достижения цели и твердость характера, ломающая все и всякие препятствия...» (Сталин).

Росла страна, и мы росли вместе с ней.

1928 год — первый год пятилетки. Двадцатилетний фабзавучник, комсомолец Костя Бородулин слесарит в депо Рузаевки.

Первая пятилетка кончается, выросла страна, выросли люди. Член партии Константин Бородулин назначается бригадиром комсомольской комплексной ремонтной бригады Москва-Сортировочная.

И вот — 1935 год. Год невиданного подъема. Год, когда вся страна, и транспорт вместе с ней, широко расправила плечи и вздохнула сразу так глубоко, как не дышала до того никогда.

Во всю грудь вздохнула.

Что же касается Константина Бородулина, — «по предложению товарища Сталина, правительство вынесло решение...»

— Правда, мое дело на первый взгляд неприметно, без блеска,— задумчиво говорит Бородулин.— Неприметно, но существенно. Я ремонтирую паровозы. А что такое паровоз для транспорта? То же, что сердце для человека. Ровно оно бьется, и живет человек, радуется, и бежит как надо кровь по венам,— бегут поезда по железным дорогам, артериям страны. Сдает сердце — и вянет человек, нет в нем радости, нет сил.

И вот, чтобы наше сердце — паровозы — не сдавало, чтобы оно билось без перебоев, ровно и точно, как часовой механизм, мы и оберегаем его, как мать оберегает сына. Регулярно, через точно определенные сроки, паровозы возвращаются в депо, и мы, ремонтники, очищаем их легкие, залечиваем раны, заменяем сносившиеся

детали и снова пускаем машины в путь сильными, здоровыми, омоложенными.

Так, по крайней мере, должно бы было быть. А бывало... Лучше не вспоминать о том, как бывало! Выйдет паровоз из ремонта, пройдет перегон—и стоп! И волокут его обратно. Снова ремонтировать. Опять лечить. А поезда — что ж, поезда постоят!

И стояли. Крепко и подолгу. Совсем ведь еще недавно межпоездной ремонт был неписанным законом. Как же иначе, дескать? Так и следует, дескать!

Но пришел Лазарь Моисеевич Каганович, и на транспорте начался новый день, грандиозный подъем.

Если вдуматься, я ничего особенного в сущности не сделал, — я просто добросовестно и честно, как большевик, как пролетарий, который знает и любит свое дело, выполнил прямое задание своего железного наркома:

— Ремонтировать добротно и быстро. Чтобы не возвращались паровозы с полпути. Чтобы не было повторного ремонта.

Стоило мне всерьез подумать об этом, стоило мне по-настоящему приглядеться к своей работе, и оказалось, что все чрезвычайно просто.

Оказалось, что все дело в нас самих, в системе нашей работы.

Как мы прежде ремонтировали? Механически. Не вдумываясь в то, что делаем. Посмотришь в книге записей ремонта, увидишь—сделать то-то и то-то, то-то и то-то,— ну, и сделаешь. И расхаживаешь гоголем, посвистывая. А потом, когда приволокут машину обратно, только руками разводишь:

— И откуда такая напасть?!

Ясно, откуда. Мы, ремонтники, должны были быть паровозными врачами. А как мы работали? Укажут нам,

куда именно поставить заплату, мы и поставим. Не укажут — не поставим. А разве врач так работает? Какой врач будет лечить больного, не исследовав предварительно всего его организма? Какой хороший врач, наконец, упустит со своих глаз больного, которого он систематически лечит? Если уж ты врач, так будь добр — следи за больным все время, присматривайся к нему, выслушивай, а не жди, пока он не заохает, сам не притащится к тебе полуживым, не свалится с ног!

А мы ждали. Отремонтировав паровоз, мы больше не думали о нем до следующего ремонта.

— Сделано — и с плеч долой.

В итоге — бесконечный внеплановый ремонт, изломанный график, исковерканные планы.

Поняв это, я поставил дело по-иному. Я начал следить за своими паровозами, как внимательный врач за больным. Мало того, что я до ремонта внимательно осматривал всю машину, очень часто находя у нее новые болезни, не отмеченные в книге записей ремонта (машинист Удод, например, считал нужным только подтянуть рессору на своем паровозе, а я, осмотрев машину, увидел, что рессоры надо вообще заменить — прогнулись, расползлись!), я еще, кроме этого, ввел в систему поездки с машинистами. Проделав перед ремонтом перегон на паровозе, понаблюдав за его поведением в пути, я точно выяснял, чем именно он болен, где его самые слабые места. И когда машина приходила в депо, для нее уже были готовы запасные части, она была уже нашим старым знакомым, все грехи которого были перед нами, как на ладони.

В итоге, сдавая машину механику, мы уже не отделывались, как прежде, нечленораздельным мычанием:

— Кажись, все сделано. Авось, пройдет...

Мы говорили определенно и твердо:

— До следующей промывки паровоз ремонта не потребует. Свои четыре с половиной тысячи километров он пройдет без всяких перебоев!

Повысив качество ремонта, мы одновременно значительно ускорили его. Раньше, что ни паровоз, то опоздание. А сейчас каждую машину мы сдаем до срока. Вот, например, вчера — должны были сдать паровоз № 4287 в двадцать три часа, а сдали в шестнадцать. На семь часов раньше срока! И качество ремонта — отличное. Механик так обрадовался, что целоваться полез.

— Вот, — говорит, — не ожидал! Вот, — говорит, — удружили. И как это вы, — говорит, — черти, умудрились так?

Умудрились? Да чего же тут мудреного! Уже одно то, что мы хорошо знали свои машины, значительно ускорило работу. Не надо было больше ждать деталей, не к чему было бегать по кладовым. Все подготовлялось заранее, и, когда машина приходила в депо, лекарство уже ждало ее.

Люди — они тоже не бегают, не мечутся, как прежде, от одного дела к другому. Каждый сразу же берется за свою работу. Я расставил людей так, чтобы каждый делал то, что он лучше всего может делать. Вот, скажем, нужна центровка. Я и соображаю: Жаринов — опытный слесарь, горячий в работе, настоящий стахановец. Жаринову я и поручаю это дело со спокойной душой. Он не подведет! Или вот гарнитура — кому поручить перестановку элементов? Ясное дело — Антошееву! Он быстро ориентируется, умеет хорошо организовать рабочее место, лишних движений не делает. Он, как залезет в дымовую коробку, так и не вылезает оттуда, пока не за-

кончит работы. А поставь на его место Кондрашева, дело затянется. То он ключ позабудет, то за отверткой побежит.

И вот так, шаг за шагом, правильно организовав работу, правильно руководя ею, правильно распределив людей, я пришел к победе. Моя бригада — сплошь комсомольская и стахановская.

И результат — «награждение инициаторов стахановского движения в промышленности и на транспорте...»

Что ж, что верно, то верно! Инициатор. Наша бригада первой начала работать, как врач, а за нами уже пошли и другие. И сейчас, небось, каждый бригадир нет-нет да и вынет из кармана книжечку: «Ко всем комплексным бригадам паровозных депо транспорта; письмо бригадира К. А. Бородулина». Вынет, да и заглянет в нее. Полезная книжечка...

Первые полчаса его пребывания в депо, как и следовало ожидать, были чрезвычайно суматошными и бурными. Но потом, когда волна радости улеглась и Бородулин, шутливо морщась, промассировал руку, окаменевшую от бесконечных поздравительных пожатий, он деловито осведомился у Бокарева, своего друга, тоже бригадира:

— Ты сейчас как — не очень загружен? Что, если мы уединимся на полчасика, друг?

— А зачем собственно?

— Да вот потолкуем. Я, видишь ли, считаю, что двадцати двух плановых паровозов в месяц — мало. Можно давать и двадцать восемь и тридцать. Посоветуемся, подумаем, как что...

— Тридцать? Это было бы здорово. Это чертовски хорошо было бы!

Присев тут же в цехе за свободным станком, бригадир Бородулин и соревнующийся с ним бригадир Бокарев начали подсчитывать, можно ли это сделать, и что именно для этого нужно, и как, и когда.

А часовая стрелка уже подползала к шести. Серела ночь. Блекли и тухли один за другим фонари. В бесчисленных типографиях столицы и страны из ротаций, шурша, вылетали одна за другой газеты — десятки, сотни тысяч газет. Они были липки и пахли керосином. Жирные буквы с их первых страниц возвещали всей стране, всему миру, что постановлением ЦИК инициаторы стахановского движения награждены орденами и что в числе награжденных — бригадир комплексной бригады Константин Алексеевич Бородулин.

Из депо он вышел утром. Было солнечно и морозно. Снег, как в детстве, сверкал и хрустел под ногами. В такие дни хорошо на катке!

М. Валка

Немеренными шагами

Мы знаем, что сказочный герой, достойный портняжный подмастерье, пережив ряд приключений, стал королем дураков, кабанов, великанов и единорогов.

Это в сказке.

Вряд ли придет в голову советскому портному мечтать о короне и из-за этого сомнительного украшения изощряться в хитростях, поистине сказочных в своей простоте.

Поговорим об иных портных, об иных судьбах, не ме-

нее сказочных, но более поучительных, более реальных и радостных, чем те жалкие приключения, которые заставляли бедного портного врать, обманывать, дурачиться и совершать подвиги с напряжением человека, попавшего в водоворот реки и желающего спасти свою жизнь.

Речь идет о портном, знатном пролетарии города Москвы, о мастере фабрики «Большевичка» Иване Пахомовиче Роговском, застрельщике стахановского движения на фабрике Москвошвея, того Москвошвея, который призван одевать красную столицу. И, конечно, одевать хорошо, изящно, элегантно, со вкусом.

Словом, я расскажу вам о товарище Роговском, о том, как он стал портным, мастером-коммунистом и одним из застрельщиков замечательного стахановского движения.

Великие дела делаются просто. И у нас в СССР «простые» люди делают великие дела, достойные нашей сталинской эпохи.

Фабрика «Большевичка» — рядом с тремя вокзалами. Шьют здесь мужские костюмы, пальто, фуражки, шьют серийно и индивидуально, на внутренний и внешний рынок. Фабрика хорошая, процессы на фабрике организованы не плохо. Материал привозится сюда кусками. Он поступает в отделение готовых изделий, пройдя все пять цехов «Большевички».

— А теперь зайдем в третий цех, — сказал мне Иван Павлович Гончаров, директор фабрики, — цех, в котором уже третий месяц работает по-стахановски целая группа мастера Роговского. Она вырабатывает не менее ста со-

Иван Пахомович Роговский

рока процентов нормы. Мало того, они изыскивают способы поднять норму до ста пятидесяти—ста семидесяти пяти процентов. Впрочем, по-стахановски работает целый цех...

— Целый цех?!

— Да, и в этом—огромный смысл. Если у нас будут только одиночки-стахановцы, это может нарушить конвейерный принцип нашего производства. Отдельные портные могут побить рекорд, вырабатывая двести и даже более процентов нормы. Но Роговский понял стахановское движение, как перевод всей группы, всего цеха на новые рельсы, и в этом — его огромная заслуга.

— Давно работает у вас Роговский?

— Да, с 1929 года. Он мастер молодой, коммунист из комсомольцев. Человек скромный, со всеми качествами большевика — упорный, методичный, вдумчивый, и самовлюбленность ему так же чужда, как...

Иван Павлович открыл дверь, отдернул суконный занавес, и оглушившие нас машинный стук, трескотня и гул проглотили вторую половину его сравнения.

Мы стояли в большом зале. Ряд широких окон заливал его светом, однако у некоторых машинок уже горели под тугими колпаками яркие электрические лампы.

Гул машин и стрекотание в первую секунду ошарашили.

Я с любопытством разглядывал зал. Цех-то цех, но где конец, где начало, откуда начинается процесс работы, что тут делают? Я всматривался в куски материй, передаваемые из рук в руки, проходящие по рядам машинок мастеров и мастериц, и ничего не мог понять.

Мы стояли посреди зала. Портные и портнихи сидят рядами по обе стороны длинного стола. Таких столов в зале два.

— Четыре конвейера?

— Совершенно верно, четыре. Это целая смена. Сейчас как раз работает группа товарища Роговского, брючная.

На стене против входа — доска-стенгазета. Доска показа. Длинные ряды цифр, имена руководителей смен, проценты, цифры, проценты... Мы задерживаемся у доски на несколько секунд.

— Вот видите, — говорит Иван Павлович,—Роговский ниже ста сорока не дает. Это твердо. Видите, как работают? По-стахановски.

Мы вошли, и никто на нас даже не взглянул, никто не оторвался от работы. Люди поглощены своим делом. Машинки сердито урчат. Проглатываемые ими куски материи выскакивают, получив новую форму, новый смысл, переходят к портнихе, проделывающей над ними молниеносную операцию, а потом идут дальше, дальше и в конец стола приходят уже в виде законченной вещи— пиджака, брюк или жилета.

— Да, — говорит директор, — стахановский метод вымел с фабрики излишнюю болтовню и бесцельное хождение. Работа ждет, вся смена ждет. Конвейер здесь — не безжалостная лента эксплоататоров, — это символ сплоченности коллектива смены.

К нам подошел невысокий, аккуратно одетый человек с живыми серыми глазами. Он поздоровался с директором и смущенно посмотрел на меня.

— Вот товарищ Роговский, — представил директор мастера и, обращаясь к нему, добавил: — Иван Пахомович, будь любезен, покажи товарищу процесс работы, объясни ему все, чем он интересуется.

— Пожалуйста. Пойдем, — сказал Роговский, попреж-

нему смущаясь: — Только времени у меня мало, не больше двадцати минут. Думаю, что успеем.

— Почему так скупо с временем?

— Видите ли, сейчас половина второго. В два тридцать моя смена заканчивает работу. За сорок минут до смены я должен произвести подсчет всего, что сделано нами сегодня. До конца работы мы должны точно знать свое выполнение. Это создает большую ясность. Ведь отставать смена не хочет, каждый должен знать, чего он добился. И вы увидите, что по окончании смены никто не уйдет, не взглянув на доску объявлений. Сводка уже будет вывешена!

Роговский повел меня в конец зала, на «северный» конец, как определил я по старой военной привычке. Здесь начало всех процессов.

Сюда доставляются из закройного цеха (четвертый цех) все материалы в виде выкроенных и пронумерованных кусков. В «северном» конце поперек зала стоит длинный стол. Это — стол раздачи и разметок. Здесь распределяют закрой и пускают его в работу. Каждая вещь, прежде чем превратиться из кусков в брюки или пиджак, проходит через сотни рук. Поэтому каждый кусок имеет свой «связующий» номер, вроде паспорта, указывающий, что карман принадлежит №1283, хлястик тоже №1283, а гульфик от №3864 и так далее.

Так пронумерованные куски, пройдя через ряд сложных и простых машинок, через ручную отделку, утюжку, подчистку, контроль и браковку, наконец, поступают в виде готовой вещи к мастеру Роговскому. Он осматривает ее, щупает, одергивает, проверяет вещь, поворачивая ее во все стороны, и только тогда разрешает присоединить вещь к грушке готовых к сдаче.

— Как с браком?

— Представьте, брак уменьшился. Значительно уменьшился! Коллектив стал более сплоченным от стахановского подхода. Больше самоконтроля. Нет бешеной спешки. Если случится, что кто-нибудь запутается, спокойно зовут меня или моего помощника, и мы налаживаем, распутываем.

— Стахановский метод?

— Конечно! Только мы еще не знаем его пределов. Дело в том, что чем более применяешь этот метод, тем он заманчивее.

...Мы переходим от одного мастера к другому. На моих глазах из удивляющих меня своей формой кусков материи получается изящный, на хорошей подкладке, выглаженный и подчищенный пиджак образца 1936 года. Я на секунду чувствую почтительный трепет.

Я стою среди героев труда. Невысокий портной рядом со мной — герой труда.

— Расскажите, товарищ Роговский, как вы применяете стахановский метод?

— Видите ли, товарищ... Главная проблема у нас та же, что и на других производствах. Наша фабрика, как вы видите, солидно механизирована. У нас есть сложные специальные машинки, способные производить самостоятельно целые операции. Наши машинки могут развить скорость до трех тысяч двухсот оборотов в минуту. Дело в приспособлении всего процесса к темпам машин. Портные и портнихи до сих пор производили очень много лишних движений, поэтому были задержки и замедления. Я объявил борьбу с этими лишними движениями, и мы начали истреблять все причины замедления. Много возни с вдеванием и выпадением нитки. Мы это уже наладили. Правда, не совсем, но скоро справимся

окончательно с этой бедой. Выпадение ниток раньше съедало у нас тридцать процентов рабочего времени и очень расстраивало работников. Организовали более рационально поток конвейера. А главное то, что смена всем коллективом осознала, что работа должна итти по-новому. Были у нас ребята, которые здорово работали. Подрезчик товарищ Химин сделал сто восемьдесят процентов, портниха бокового шва Тупикова — сто девяносто, мастерица заднего кармана брюк Вишневская дала сто семьдесят. Главное тут, чтобы по ним равнялись остальные рабочие. Тупикова и сейчас работает за двоих. Хорошо. Но таких результатов должна добиться вся группа в целом.

Это было нелегко. Видите ли, люди разные, способности разные, интенсивность труда индивидуальна у каждого. Есть, конечно, общий, средний показатель. Я подходил иначе. Я изучал моих людей и законы поточного способа нашей работы. Если хотите, я подошел к этому делу по-красноармейски. Вы же знаете, что в Красной армии каждый командир должен знать своих подчиненных. Я тоже старался добиться этого. При конвейерном деле очень важна правильная расстановка людей на основе их индивидуального изучения. Я так сделал, и у меня получился сразу большой результат. Но это не все. Очень важны еще ежедневная профилактика машин, подготовка рабочего места. Это обеспечивает от неприятных и частых раньше сюрпризов, от простоев. У нас на это дело отведено пять минут до начала работы группы. Есть еще одна задача — правильный инструктаж работника, предоставление ему наибольшей самостоятельности. Раньше поломка иголки была причиной пяти—десятиминутного простоя. Надо промаслить механизм — вызывали механика. Наша группа этот порядок упразднила. У нас каж-

дая работница, каждый рабочий сами устраняют эти дефекты. И для этого оказалось достаточно только некоторой хозяйственной предусмотрительности (снабдить заранее запасными иголками, отвертками, масленками) и правильного, понятного инструктажа.

На фабрике послышались звонки.

— Это конец смены?

— Нет, это предупреждение, что смена кончается. Вы, товарищ, простите, я должен быть на своем месте. После смены встретимся.

Роговский ушел в «южный» конец зала. Я, не спеша, обошел конвейер и остановился около утюжчика. Его лицо показалось мне знакомым.

— Guten Tag, Genosse [1], — сказал утюжчик с хорошим венским акцентом.

— Как живем, камрад?

— По-стахановски,— сказал австриец.

— Ну, как вам нравится стахановский метод?

— О-о-о! Это превосходно. Это настоящая работа,— сказал он, широко улыбаясь.

Горячие утюги скользили по материи. Они напоминали дредноуты, а материя была похожа на морские волны. Тонкий материал в полоску, хорошего рисунка, был превосходен.

— Это куда, камрад, на внешний или внутренний рынок?

— Это идет прямо в Мосторг.

— Хорошая материя!

---

[1] Добрый день, товарищ!

— В Винер Нейштадте[1] не делают лучшей.

— Откуда она? Импортная?

— Нет, — с фабрики Петер Алексеефф,—с гордостью ответил гладильщик.—Es ist die beste Fakture[2], смею вас уверить.

Я вспомнил осеннюю выставку тканей, на которой Вячеслав Михайлович Молотов выразил надежду, что вскоре советский народ будет одет в изящные и прочные костюмы самых рациональных и удобных фасонов.

На секунду встало передо мной прошлое... Чудесные, героические годы, годы серых боевых шинелей и ватных фуфаек. Да, наш героический народ заслужил самую лучшую одежду.

После смены я снова встретился с товарищем Роговским.

— Сегодня сто сорок процентов. Хорошо! — сказал он удовлетворенно.

— Ну, а теперь расскажите о себе, о вашей жизни,— сказал я.

— Что ж... Мне сейчас тридцать пять лет. Родился я в Москве. Воспитывался в том доме, где сейчас ВЦСПС. Знаете, что это за дом? Когда стукнуло одиннадцать лет, отдали меня в ученики портному Седову. Учили... нянчить ребенка, ходить в пивную... ну, и, между прочим, портновскому делу. Седов был мастер хороший и человек неплохой, лучше многих. Но прогорел. Отдали тогда

---

[1] Один из фабричных районов Бургенланда (Австрия).

[2] Это — прекрасная выделка.

меня в магазин Пичугина на Лубянке. В восемнадцатом году поступил я добровольцем в 81-й советский полк. Уехали мы в Полтаву. Дрался наш полк с бандитами, а потом подоспел Деникин. С Деникиным повозились мы крепко. Отступали. Иногда мне казалось, что совсем задавит нас белый гад. Но под Понырями повернули мы на юг и по пятам врага дошли до Перекопа, до самого Крыма. Под Перекопом я был два раза. Весной и осенью 1920 года. Все лето бились мы с Врангелем. Ох, и тяжелая была война! Белые действовали нахально, с коммунистами расправлялись жестоко. Перекоп взяли уже без меня, я заболел тифом. В 1922 году демобилизовался. Был комсомольцем. Ну, конечно, опять Москва. Тут я увидел новую жизнь. Поступил на фабрику «Марс». Шили мы военное обмундирование, изредка штатское. Оттуда в 1929 году перешел на «Большевичку». Тогда же приняли меня в партию.

— Коротко рассказали.

— А чего ж? Все ясно! Мы — люди рабочие, что у нас может быть особенного?

— Фронты вспоминаете?

— С радостью: мы ведь победили. Но сегодняшний день волнует меня больше. Ведь мы идем немеренными шагами. Я рад, очень рад. Народ становится совсем другим, все понимает и хочет работать все лучше и лучше.

Расстались мы с Роговским у ворот фабрики. Шли трамваи, автобусы, автомобили. Потоки людей выливались из трех вокзалов в Москву, красную столицу. Много приезжих, столичный водоворот начинается у вокзалов.

Роговский исчез в толпе. Я постоял несколько секунд. Взглянул на фасад фабрики, где провел целый день. Фабрика показалась мне сказочной крепостью, гордой крепостью стахановского труда, где дерутся такие замечательные бойцы, как Роговский и его стахановская группа.

Ф. Кандыба

Большая дорога

Надолго запомнилось Нюре, как собирала она в детстве красноголовую траву, которую в селе Спасском называли папкой. Эту самую папку сушили в печи, растирали в порошок и замешивали с мукою в тесто. Из теста мать пекла чернобурые лепешки, и Нюра вместе с бабушкой отправлялась с этим угощением в село Выславское за восемнадцать верст к братьям, жившим там в приюте. Мать запрягала лошадь и снаряжала их в дорогу, но сама ездила с ними редко. Она либо уходила на поденщину, либо была занята по хозяйству дома и не могла отлучиться.

Сказать правду, Нюра немного завидовала младшим братьям. В приюте они всегда были сыты, одеты и обуты. Их водили в баню и даже учили. Не жизнь, а масленица! И Нюра, бывало, жалела о том, что она старшая, что ей нужно работать вместе с матерью и бабушкой. Ей хотелось бы жить в приюте.

А братья завидовали Нюре, жившей дома.

После смерти отца там было, правда, голодновато. Хлеб пробовали печь даже из мха. Научились различать съедобные травы, вроде папки, от несъедобных.

Но в приюте все были чужими, и не забывалась речка под самым окном, в помутневшей воде которой Нюра всякий раз после дождя или в половодье так ловко ловила сачком рыбу.

А чего стоила одна их лошадь! Эта серенькая и норовистая лошадь, причинявшая столько хлопот Нюре. Ведь Нюра с одиннадцати лет работала в поле, как взрослая. Пахала, сеяла, боронила. А лошадь не признавала ее взрослой. И вот, бывало, вырвется лошадь из нюриных рук и мчится с поля домой во весь опор. Нюра, конечно, за ней. Но разве нагнать девочке лошадь? Вся в слезах Нюра под общий хохот прибегала домой, когда лошадь давно уже стояла в своем стойле...

С еще большими перебоями, чем работа с этой капризной лошадью, шла у Нюры учеба. То не было обуви, то не во что было одеться, и приходилось сидеть дома, пережидая морозы. То не позволяли итти в школу срочные хозяйственные дела. Здоровье у матери начинало сдавать, бабушке где же заменить Нюру, а пахота или посев не могли ждать.

Но девочка не унывала. Нрав был у нее веселый, хватка крепкая, руки прилежные. Нюра даже не слишком примечала, что жизнь у нее трудней, чем у других

ребят. С лошадью она дружила, несмотря на все ее чудачества. Любила пасти корову — часто удавалось почитать, сидя с хворостиной в руке. Учеба давалась Нюре без большого труда. Несмотря на частые перерывы, девочка не отставала от сверстниц.

Так, деля свое время между красноголовой травой-папкой, непокорной лошадью, тихой коровой и школой, Нюра ухитрилась окончить четырехлетнюю школу в своем селе Спасском, неподалеку от Звенигорода, в Московской области.

Конечно, девочке хотелось учиться дальше. После долгих стараний ей удалось попасть в школу в одном из соседних сел — в Игунине, однако не ученицей, а уборщицей. Нужно было зарабатывать на хлеб, семья слишком нуждалась, а Нюра считала себя уже взрослой, и даже лошадь наконец подчинилась ей полностью.

В игунинской школе Нюра очень дружила с учительницей и ее мужем, тоже учителем, но работала с рассвета до ночи. Школа была большая, а хозяйство учительницы тоже не малое. Об учебе, конечно, думать было нечего.

Эта работа не удовлетворяла Нюру, хоть самые трудные послевоенные годы прошли, и теперь она была сыта, одета и даже посылала домой понемногу денег.

Когда Нюре исполнилось семнадцать лет, она, по совету учительницы, решила пойти в обучение к кустарям-чулочникам, которых немало в деревнях близ Звенигорода. Но никто из кустарей не соглашался учить девушку бесплатно. Времена старого ремесленного ученичества, когда ученица была заодно и прислугой, миновали, и кустари запрашивали кто шестьдесят, а кто и восемьдесят рублей за обучение новой чулочницы.

Анна Семеновна Грачева

Это был 1925 год. Московская тетка-ткачиха написала Нюре, что у себя на фабрике поставить ее на работу сейчас не может. Пусть Нюра устраивается сама. Девушка, никогда не жившая в городе, ехать в Москву побоялась. На семейном совете было решено продать корову, чтобы заплатить пятьдесят рублей чулочнице Приваловой, согласившейся за эту цену обучить Нюру Грачеву чулочному ремеслу.

Корова, та самая, которую пасла Нюра с книгой в руках, была продана. Нюра села за чулочную машину, стараясь понять, как переплетаются нитки, превращаясь в трикотаж. Это оказалось не так сложно. Особой мудрости чулочная машина не требовала.

Но Нюре Грачевой хотелось научиться работать, как лучшие мастерицы, и помощью в домашнем хозяйстве она старалась задобрить хозяйку, чтобы та поделилась с нею всеми секретами своего мастерства. Видимо, это помогло. Уже через несколько месяцев Нюра стала хорошей мастерицей, зарабатывала до двадцати рублей в месяц. Это было много в сравнении с другими трикотажницами, да на тех примитивных машинах почти и невозможно было выработать больше.

Все же заработка нехватало, и Нюра не раз с горечью вспоминала о корове, принесенной в жертву этой чулочной машине. К тому же часто нехватало сырья. Тогда Нюра Грачева отправлялась на помощь своим родным, снова пахала, сеяла и молотила, возвращаясь к чулочной машине, когда появлялось сырье и опять можно было делать чулки.

Возможно, так и остаться бы Нюре чулочной мастерицей. Но изменились времена, другой стала жизнь, и в один прекрасный день в Спасском организовался колхоз. В него вошла вся семья Грачевых вместе со своей упря-

мой лошадью. А Нюра как раз в это время получила от тетки письмо, что на фабрику нужны ткачихи, и поехала в Москву. Теперь оставить семью было уже не так страшно — братья подросли, а главное — был колхоз.

— Робка ты, я вижу, девонька, — встретила тетка Нюру.

А Нюра и впрямь робела в городе.

Ткацкий цех шелковой фабрики «Красная Роза», грохочущий тысячами челноков, оглушил ее. Блестящая шелковая пряжа на мотках и шпулях. Тысячи, сотни тысяч тончайших серебристых нитей. И каждая из работниц — хозяйка над этими нитями. Что чулочная машина! Это — как родная деревня в сравнении с Москвой. Челнок скачет так, что глазу не уследить за его поспешным и ритмичным бегом. Он пронизывает блестящую шелковую паутину и связывает своею нитью — утком, оставляя за собой тонкую переливчатую ткань.

Кажется, дохни на эти ниточки-паутинки, и порвутся. А порвись хоть одна — получается брак, неровная ткань, испорченный товар. Тогда останавливают станок и связывают, как говорят — заводят, оборвавшиеся нитки. Перед каждой ткачихой у станка тянется от пяти до двадцати тысяч нитей, и она отвечает за каждую из них.

— И я должна за всем уследить? — удивлялась Нюра.

Тетка смеялась. Она работала на этой фабрике с двенадцати лет, поступив сюда еще при старом владельце — французе Жиро. Тканями, вышедшими из теткиных рук, можно было бы одеть целый город.

— Ух, как страшно!

— Да не бойся, научат тебя! Нас вот мастера сначала учили зуботычинами, а когда мы выучивались, работали по двенадцать часов и получали по четыре рубля в месяц. А ты сразу будешь получать пятьдесят шесть, а

выучишься — вдвое, может и втрое больше, — успокаивала Нюру тетка.

Конечно, тетка была права.

Нюру Грачеву приставили к старой ткачихе, тете Поле. Та ласково и не торопясь начала посвящать Нюру в не очень хитрые, как оказалось, секреты ткаческого мастерства.

За три недели своего ученичества Нюра привыкла к грохоту ткацкого цеха, даже начала отличать шум каждого станка в отдельности. Нити уже не казались ей бесконечной и запутанной паутиной, а были основой, сквозь которую проскакивал быстрый челнок, связывая ее воедино нитью своей шпули и превращая в ткань. В общем было очень похоже на те чулки, которые Нюра вязала раньше. Самое, пожалуй, важное в работе ткачихи — это внимание. Надо зорко следить, чтобы не оборвалась ни одна из нитей и не получилось брака.

В середине 1931 года Анна Семеновна Грачева начала уже работать самостоятельно, стала за ткацкий станок. Обучение ей не стоило ничего. Наоборот, она получила за три недели около сорока рублей, хотя ни одного метра ткани не выпустила. Фабрика оказала ей кредит, и теперь, сделавшись ткачихой, Нюра решила вернуть свой долг.

Девушка чувствовала себя хорошо. Она уже осмотрелась, попривыкла к городу и к фабрике. Вернулись ее всегдашняя веселость и решительность. Кроме того, пришли удивительные и радостные открытия.

Во-первых, она увидела, что в цехе весело и что среди ткачих она равная, хоть только что начала работать.

Во-вторых, оказалось, что у Грачевой уйма свободного времени. Отработала свои семь часов — и делай что хо-

чешь. Гуляй, учись, развлекайся. Работы по хозяйству, которая отнимала все досуги в деревне, нет.

В-третьих, выяснилось, что работать на ткацком станке не так уж трудно.

Очень скоро определилось, что работа у станка не поглощает всей энергии девушки. Грачевой порой казалось даже, будто в работе больше видимости, чем сути. Она видела, что загружена не полностью, можно сказать болтается около станка, который работает сам. Велико ли дело посматривать за ним!

Грачева задумалась над станком, над его устройством, над тем, что и как он делает. А свободное после работы время дало возможность засесть, наконец, за учебу.

При «Красной Розе» был свой фабричный «Дом техники». Там немало было людей, которые только и ждали, чтобы работница захотела учиться. Внимательных и терпеливых учителей не смущали ни возраст, ни подготовка ученицы. И вот начались курсы технического минимума. Грачева, самая, кажется, молодая в своей бригаде, пошла на них вместе со старыми ткачихами, проработавшими по тридцать лет на фабрике. Вместе они засели за арифметику, за основы технологии волокнистых веществ и описание ткацких станков.

На смену курсам технического минимума пришли курсы мастериц, где учеба была уже серьезнее, а народу меньше. Это вышло естественно, само собой, потому что Грачева, привыкнув крепко браться за работу и продумывать ее до конца, попрежнему чувствовала себя незагруженной станком и свои возможности далеко не исчерпанными.

Работать у одного станка было просто скучно. Нечего делать было. Знай — пускай да останавливай, а если

порвется нить, свяжи ее как следует — вот и все. Грачева уже в совершенстве знала свой станок, каждую его деталь, знала его шум. По этому шуму, как по голосу близкого человека, она определяла, как станок работает, в чем нуждается.

Конечно, не одна Анна Семеновна чувствовала себя так у своего станка. Работницы все чаще стали говорить о том, что не годится, как в старые времена у Жиро, работать на одном станке. Многие стали проситься и переходить на два станка. Грачева была здесь одной из первых.

Перейдя на два станка, она говорила изумленным старым ткачихам, что небольшая разница в работе ощущалась лишь в первые три дня, а, вообще говоря, один ли, два ли станка — для работницы почти одинаково, но совсем не безразлично для советских женщин, которые хотят быть хорошо одетыми. Они требуют все больше и больше шелка на платья, требуют чтобы был этот шелк получше.

А что касается качества, у Анны Семеновны с ним всегда было благополучно. Еще тетя Поля раз и навсегда приучила ее к мысли, что задача ткачих-шелковниц — получше одеть советских женщин.

Ткачихи восемнадцатой бригады, в которой работала Грачева, оценили ее крепкую хватку и строгие принципы, выработанные годами нелеткой юности. Анна Семеновна незаметно завоевала себе авторитет. Она была профгрупоргом своей бригады, и к ней, как когда-то к тете Поле, приводили теперь на обучение молоденьких девушек, поступавших на фабрику. Грачева настойчиво и методично, как и все, что она делала, приучала этих девушек к ткацкому делу, продолжая работать на своих двух станках.

Теперь уже она говорила, как когда-то ей тетя Поля:

— Сперва приучайся делать получше, а затем побольше. Вот смотри, как я делаю.

И молодые приучались, с почтением глядя на такую же юную, как и они, учительницу.

А Грачева, найдя увлекательную возможность работать хорошо, уже не могла остановиться. Теперь она с одного взгляда видела, как идут нити в основе, обрыв подхватывала налету и не звала мастерицу, чтобы связать порвавшуюся нить, а быстро и ловко управлялась сама. Она научилась предвидеть задержки станка и предупреждала их раньше, чем они успевали сказаться на работе.

Ко всем, кто был связан с нею по работе, она была так же требовательна, как и к себе.

Бригадир восемнадцатой бригады, старик Майоров, прямо уставал иной раз от Грачевой. То шлихтовка ей не нравится — слабая и слишком мягкая нить легко рвется. То челноки надо отремонтировать. То на шпулю мало намотано ниток, и челнок слишком часто надо менять. То нужны ей запасные челноки, чтобы были всегда под руками. И так каждый день.

Мастерицу и начальника цеха тоже, бывало, удивляла настойчивость Грачевой.

Никак не могли ее понять и ткачихи-старухи.

— Беспокойная ты, Анна! Фантазерка. Замуж бы тебе за хорошего человека. Быстро бы угомонилась на работе.

Но Грачева никак не хотела угомониться. Она задумала перейти с двух станков на три и все прикидывала, как бы наладить работу, чтобы вышло это гладко, без суеты, само собой.

Когда бригадир Майоров, знавший о намерении Грачевой, рассказал об этом ее тетке, старушка пришла в ужас:

— Что это ты выдумала, Нюра? Смотри, сама оскандалишься и меня, старуху, осрамишь!

Нюра ответила тетке ее же собственными словами, когда-то сказанными только что приехавшей из деревни племяннице:

— Робка ты, я вижу, тетенька! Ничего, приучишься, сама так будешь работать. А что у Жиро этого не было, так это ничего не значит. На него мне жалко было бы работать и на одном станке!

В бригаде, да и во всем цехе, не мало говорили о замысле Грачевой. Некоторые держали даже пари, управится она с тремя станками или нет.

— Чтобы наша Грачева да не управилась! Никогда этому не бывать. Она у нас, как говорится, не учена, а рождена.

— Учена ли, рождена ли, или то и другое вместе — это значения не имеет. Мыслимое ли дело углядеть за пятнадцатью тысячами нитей? Ни за что не выйдет у нее!

Но Грачева недаром донимала бригадира, мастериц и прочее цеховое начальство. Переход на три станка был подготовлен хорошо, задержек не было, все обстояло благополучно. Все же Грачева волновалась. Она знала, что на нее смотрят десятки глаз, что ее авторитет в опасности. Стоит ей немного замешкаться — она станет объектом всеобщих насмешек.

Но, разумеется, она не замешкалась, и насмешек не было. И скоро Грачева говорила ткачихам, что работать на трех станках почти то же самое, что и на двух, а получается шелка в полтора раза больше, да и зарабо-

ток увеличивается. Нужно ли говорить, что на трех станках Грачева давала такой же отличный шелк, как на одном и на двух, что план она перевыполняла так же, как и раньше.

К тому дню, когда радио разнесло по всей стране весть, что в далеком Донбассе отбойный молоток Алексея Стаханова дал невиданную добычу угля, на «Красной Розе» уже немало работниц перешло с двух станков на три. Вышло это просто и естественно. Люди видели, что Грачева и другие работают на трех станках совсем неплохо и без особого напряжения. Способов перехода на три станка выдумывать было не нужно. Было более чем достаточно готовых образцов. Оставалось только перенять опыт Грачевой и ее товарок. А мотальщицы переходили на полуторное количество веретен вслед за своей застрельщицей Ольгой Гавриловной Хрулевой, которая в мотальном цехе была тем же, что Грачева в ткацком.

Дух беспокойства жил в Анне Семеновне. Она опять была не совсем удовлетворена своими тремя станками, пятнадцатью тысячами нитей. Она чувствовала, что ей под силу взять больше. В то время вичугские ткачихи Дуся и Маруся Виноградовы начали подходить уже к сотне ткацких станков. Конечно, в хлопчатобумажном производстве работают автоматы, техника там не та, что в шелковом, но виноградовские успехи подталкивали Грачеву. Теперь она поняла, к чему стремилась вот уже год, куда были направлены ее помыслы.

Она оказалась не одинокой. Было много рабочих, переживавших и делавших то же, что и она. Их называли стахановцами по имени донецкого забойщика Алексея Стаханова.

И вот Грачева и Бычкова решили перейти на четыре станка. Взялись за подготовку. Задача была труднее предыдущей технически, но во всех других отношениях проще. Теперь был известен метод. Все знали, чего хотят, чего добиваются передовые ткачихи и мотальщицы. Когда они потребовали дальнейшего улучшения шлихты, замены и ремонта изношенных челноков, никто уже не удивлялся смелости этих работниц, потянувших за собой инженеров.

Грачева и Бычкова настаивали на том, что нужно тщательнее отбирать сырье для основы, что подмастера должны быть в любую секунду готовы к наладке и ремонту станков, что нет смысла квалифицированных ткачих загружать подсобной работой, например вкладыванием навоев в стойки станков.

Становясь к четырем станкам, Грачева волновалась куда больше, чем при переходе на три. Теперь на весах был не только ее личный авторитет. На ней лежало сейчас гораздо больше ответственности. Она представляла на своей фабрике стахановское движение, и каждая ее неудача была бы ударом по этому движению. Вот почему Грачева даже плохо спала, собираясь переходить на четыре станка. Она все прикидывала в уме, как наладить дело, чтобы оно пошло, как говорится, без сучка и задоринки. Десятки раз она продумывала процесс с начала до конца и каждый день приходила на фабрику с новыми предложениями. Это было вроде болезни. Высокой, творческой болезни!

Самый переход на четыре станка сошел легче, чем ожидала Грачева. Настойчивая подготовительная работа дала свои результаты. Основа искусственного шелка, который делала Грачева, стала рваться меньше чуть ли не на треть. Нити основы стали крепче — их пропитывали

более плотной шлихтой. Скорее и проще стало чистить эту основу. Подмастера шли к станку по первому зову Грачевой. Уже не приходилось бегать по цеху в поисках за ними. Все это экономило секунды, а из секунд слагались минуты и часы. В результате Грачева стала управляться с четырьмя станками так же, как когда-то с двумя, и с двадцатью тысячами нитей так же, как прежде с десятью и пятнадцатью тысячами.

Хорошо пошла работа и у Бычковой, тоже перешедшей на четыре станка. За Грачевой и Бычковой потянулись и другие ткачихи. Теперь работа на трех станках стала обычной на фабрике. На очереди — переход на четыре-пять, а может быть и на еще большее количество станков. Путь был найден, ткачихи вслед за Грачевой прочно вступили на него.

Подруги Грачевой по бригаде, насмотревшись на своего профгрупорга, решили: чем они хуже? Если выходит у Грачевой, должно выйти и у них. Они тоже задумали перейти на четыре станка и занялись подготовкой к этому. Анна Семеновна Грачева сама не знала, что она сделала со своей бригадой.

Началось всесоюзное совещание стахановцев. Грачева, вместе с Бычковой и Хрулевой, была на нем, слушала Стаханова и Кривоноса, Бусыгина, Сметанина и других. Это были словно родные ее братья. Они думали и заботились о том же, что волновало и Анну Грачеву. И если бы ей привелось говорить на совещании, она сказала бы о своих делах теми же простыми и сильными словами, какими рассказывали они.

Когда говорил Сталин, Грачева поняла до конца, что же делала она у себя на фабрике и что значит общее дело стахановцев.

Вот где были корни ее беспокойства. Ее переполнила гордость. Сталин говорит о ней, о ее работе и думах. И она, Грачева, несет стране будущее. Это было чудесно, но и очень ответственно. Это очень обязывало. Но Анна Семеновна рада была взять на себя эту ответственность и эти обязательства перед родиной. На этом совещании она впервые так ясно поняла, что такое родина и как хорошо быть дочерью великой страны.

Когда, переполненная виденным и слышанным, Грачева вернулась с совещания на фабрику, ее бригада полностью уже переходила на четыре станка. Другие бригады готовились последовать за восемнадцатой. «Красная Роза» расцвела стахановским движением, и участницы совещания — Грачева, Бычкова и Хрулева, не уставали рассказывать работницам о том, что было в Кремле.

Вскоре после совещания газеты оповестили, что в числе других стахановцев орденом Трудового красного знамени награждена и Грачева, ткачиха фабрики «Красная Роза».

На фабрике устроили чествование Анны Семеновны. Ей аплодировали и преподносили цветы, ее поздравляли. Но говорили главным образом о делах, а не о героине дня.

Люди поднимались и рассказывали о том, что и как они будут делать, чтобы не отстать от лучшей своей ткачихи Грачевой. Мотальщицы говорили, как будут перематывать шелк, ткачихи — как думают устраиваться с челноками, красильщики — как лучше и красивее красить ткани. Это было больше похоже на производственную конференцию, чем на чествование. Представителям других фабрик, пришедшим с цветами поздравить Грачеву, наказывали: давайте сырье получше! И те обещали не ограничиться цветами.

Виновница торжества — Анна Семеновна Грачева не была в претензии на такой оборот событий. Она хотела было рассказать, как от красноголовой травы-пашки пришла к ордену Трудового красного знамени, но передумала и, тряхнув головой, просто сказала, что с четырех станков собирается перейти на шесть. Добавила, что на этом не остановится, потому что видит перед собой такую широкую и большую дорогу, какой никогда не было перед человеком.

Сейчас Анна Семеновна Грачева уже перешла на шесть станков и думает о переходе на восемь. Вместе с тем, она усиленно готовится в индивидуальном порядке к поступлению в Промакадемию Наркомлегпрома.

М. Стасенко

Простая жизнь

При первом посещении Трехгорки увидеть Марусю Клокову нам не удалось. Она уехала в Ленинград с бригадой вырабатывать новые нормы для прядильщиц.

На машинах Клоковой работала ее сменщица Бокарева. В общежитии стояла пустая кровать, покрытая светлым одеялом, на тумбочке лежала забытая тетрадь. На обложке четким почерком выведено: «Для записок по географии».

Маруси не было, но о ней продолжала говорить вся Трехгорка.

Товарищи по бригаде вспоминали ее при каждой заминке в работе.

— Эх, путаница! У Маруси такого не случалось... Вспомни маршрут и не мечись.

В фабричной многотиражке — биография Маруси, рассказ об ее короткой, замечательно целеустремленной жизни.

В красном уголке, в клубе висят марусины портреты— простое русское лицо, спокойное и улыбающееся, но в то же время очень твердое.

Сменный инженер рассказывает о Марусе:

— Нормы прядильной освящены десятилетиями. Машины старые, на них работает третье поколение ватерщиц. Нормы увеличивались постепенно, и только один скачок был осенью тридцать пятого года.

У нас еще есть прядильщицы, которые помнят 1905 год, помнят, как работали на трех сторонках, то есть на полутора машинах. В старину присучивали не быстро, копались. Если бы Марусю с ее темпами пустить на три сторонки, ей бы это не работой, а баловством показалось. Но вес пряжи в те времена выгоняли хороший, такой же, как теперь с четырех сторонок. Этот вес получался за счет пота и крови работниц, присучивавших по двенадцать — пятнадцать часов.

После революции нормы стали пересматриваться. Рабочий день сократился почти вдвое, но продукцию уменьшать было нельзя.

Перешли на четыре сторонки. Эта норма казалась предельной до двадцать девятого года.

Весной тридцать пятого года шесть ватерщиц — Клокова, Бокарева, Павлова и другие перешли на шесть сторонок. И, наконец, в сентябре тридцать пятого года Бокарева перешла на восемь сторонок, и в этот же день

Маруся Клокова — на десять, а за ней потянулись и другие.

На Трехгорке работает больше тысячи женщин. Сейчас среди них много стахановок, много старых опытных работниц, сумевших преодолеть косность старых привычек.

Все они изменились, все хорошо работают.

Почему же все-таки для такого огромного и ответственного дела, как создание новых норм для текстильной промышленности, выбрали девятнадцатилетнюю Марусю Клокову, проработавшую на фабрике только два года?

Дело не только в том, что она одна из инициаторов стахановского движения на Трехгорке, дело и не в том, что ее пример имел огромное пропагандистское значение для всего производства.

Главное достоинство Маруси в том, что она работает все время не только руками, но и головой. Эта девушка с огромным «запасом» для будущего. Трудно представить пределы ее роста.

Переход на десять сторонок не был для нее рывком, не из задора сделала это она. Только крайняя добросовестность помешала ей перейти на новые машины самой первой. Она ломала голову над рационализацией процесса не один месяц и, перейдя на новые методы, сразу же показала блестящие результаты.

Тут имели значение и фабзауч и техническая учеба, конечно. Но ведь не одна Маруся училась, и только она первая сумела творчески подойти к своей на первый взгляд скучной и кропотливой работе, сумела полюбить ее так, чтобы совершить в ней революцию.

Марусе говорили:

— До сих пор философы учили понимать мир, мы должны его изменить.

Маруся не похожа на философа. Она не склонна к отвлеченным размышлениям и очень скупа на слова. Но эту установку — изменять мир — она усвоила в совершенстве.

Сейчас она поехала в Ленинград устанавливать новые законы — нормы, которые приблизят всех прядильщиц к ее рекордам.

Сменный инженер говорил о Марусе с пафосом.

Чем девятнадцатилетняя девушка, почти ребенок, заставила говорить о себе всю фабрику почтительно и восхищенно?

Вот что мы узнали о простой и прекрасной жизни Маруси.

В кухне было жарко. Маруся с удивлением разглядывала газовую плиту и батареи отопления под окном. Хорошие вещи. Два часа назад она приехала в Москву к сестре-домработнице. Она уговаривала Марусю тоже поступить в няньки.

— Семья маленькая, три человека, мальчишка вежливый, всех боится, сама на работе до ночи... И будешь хозяевать, как сама захочешь!.. — скороговоркой наставляла сестра.

— Нет, пойду только на фабрику, — упорно возражала Маруся. — Ребят няньчить я и у брата могла. А похозяйничать и у себя в доме успею, когда заведу.

Спор продолжался три дня. На четвертый Марусю удалось устроить в фабзауч на Трехгорке.

Пятнадцатилетняя Маруся победила, и с этого дня началась настоящая жизнь.

В тридцать первом году Маруся осиротела. Умер сто-

Мария Александровна Клокова

ляр отец. Потом мать разбило параличом. И через несколько месяцев Маруся осталась совсем одна.

В деревне делать было нечего. Поехала к брату в Ленинград.

Брат — вдовец, рабочий Ижорского завода. Ребята — мал-мала меньше. Маруся няньчила их, обстирывала, обшивала, возилась ночью и днем. Для себя времени не оставалось — ни учиться, ни работать. Можно было разве задуматься иногда. И Маруся решила: дальше так жить нельзя... Никто о ней не позаботится, если она сама не пробьет себе дорогу.

Написала сестре. Та позвала в Москву. Так Маруся очутилась на Трехторке.

В фабзауче сразу понравилось. Машины... До тех пор Маруся знала только примус, а тут огромные и сложные машины, работающие с неумолимой точностью и спокойствием.

В цехе жарко. Ватерщицы почтительно говорят:

— Хлопок любит жару.

Низкий, ровный гул, черный асфальтовый пол, бесконечные ряды машин. Бесшумно хлопочут ватерщицы. Все покоряет стройной монотонностью.

Маруся следит за тонкими струнами ровницы. Марусе хочется вот так же спокойно, точно и плавно, как машина, работать самой.

В тридцать четвертом году Маруся стала на фабрике ватерщицей. Ей семнадцать лет, она комсомолка и у нее уже есть точный план жизни.

Во-первых, работать лучше всех в цехе. На меньшее она не согласна. Во-вторых, устроить свой быт так же аккуратно и ровно, как работу.

Начинаются маленькие — шаг за шагом — победы.

Старухи-ватерщицы говорят про Марусю:

— Клокова? Ох, и ухватистая же!.. Присучивает, как молния.

Подруги удивляются:

— Ну, уж и девушка, так проворна да аккуратна! И как только поспевает — и на работе, и приодеться, и погулять, и почитать, и в кино...

Маруся, правда, очень любит кино. Ей нравится стремительное движение на экране. Когда обрывается лента, она чуть не вскакивает — хочется присучить.

Через полтора года Маруся считалась одной из лучших ватёрщиц в цехе. Она работала на трех машинах, на шести сторонках, как говорят в прядильной.

Хотелось работать еще лучше.

Маруся читала газеты, на собраниях в цехах слышала об Алексее Стаханове, о Кривоносе.

Маруся никогда еще никому не завидовала, но успехи стахановцев почему-то волновали ее.

— А я? — говорила она самой себе.

Мало-помалу она стала продумывать, взвешивать весь производственный процесс, проверять каждое свое движение.

В один прекрасный день ее сменщица Бокарева перешла на восемь сторонок. Маруся, как узнала об этом, даже ахнула.

— Пока думаю да раздумываю, люди уже дело делают!

Опрометью бросилась к мастеру Зинаиде Федоровне.

— Сегодня же перехожу на десять сторонок!

14 сентября, в первый же день, Маруся на десяти сторонках выполнила план на сто два процента.

Как же это ей удалось?

В прядильной машины стоят рядами, друг за другом. Две сторонки у каждой. Наверху катушки с толстой пря

жей — ровницей. Ровница проходит под вытяжные валики, там расщепляется, вытягивается, превращается в тонкую нитку. Эта нитка наматывается на шпули, надетые на веретена.

На каждой сторонке — около двухсот шпулей. Марусе теперь приходится следить за двумя тысячами шпулей.

На тысячу шпулей происходит приблизительно восемьдесят обрывов нити в час. Работа ватерщицы заключается в том, чтобы ликвидировать эти обрывы, присучивать.

В течение семи часов Марусе приходилось ликвидировать больше тысячи обрывов.

Откуда же она брала время, которого нехватало многим ее товарищам?

Прежде всего Маруся изменила самый процесс присучивания. На каждое присучивание у нее уходит меньше секунды, в то время как другим нужна секунда, а то и полторы. Она так рассчитала свои движения, что присучивает, не вынимая шпулю из гнезда, и на этом экономит три четверти секунды.

Следующее усовершенствование — маршрут.

Маршрут был найден не сразу.

Первую половину дня 14 сентября Маруся очень волновалась. Это было непохоже на нее. У нее получался холостой пробег. Она начинала работать между второй и третьей сторонкой, потом переходила к первой, а от нее к четвертой, и дальше маршрут шел правильно, но переход от первой к четвертой стороне был лишним.

— Тупая, тупая, — ругала себя сквозь зубы Маруся,— тебе бы только семечки лузгать!

Лузгание семечек ей всегда казалось верхом лодырничества.

Она спрашивала у мастера, как изменить маршрут, но Зинаида Федоровна только качала головой и говорила,

что в этом деле Маруся должна до всего доходить сама, приноравливаться прежде всего к своим удобствам, а уж потом думать об уплотнении процесса. Через три дня все само собой обойдется!

Обошлось гораздо раньше. Весь перерыв Маруся просидела около машин, упрямо думая об одном и том же, и к концу поняла, что дело очень простое. Нужно начинать с первой сторонки, тогда получится пустой пробег только от десятой к первой.

Маруся все время следит за обеими сторонками. Если изобразить ее путь графически, получится строгая сетка прямых между машинами, в то время как другие ватерщицы описывают длинные и путанные кривые.

Пока работница копается в одном месте, в другом пряжа уже наматывается на валик. Получается бумажное месиво вроде ваты или бараньей шерсти — так называемый угар. Ватерщицы снимают его с валиков и кладут в карманы. После работы угар взвешивается.

У Маруси всегда минимальный процент угара.

Наконец, последнее усовершенствование, внесенное Марусей в работу,— это наблюдение за ровницей. Ровница может быть утолщенной и обрываться, проходя через вытяжной валик. Могут перемежаться утолщенные и чересчур тонкие места пряжи — переслежистость. Значит, брак произошел еще на банкаброшной машине. Недостаточная влажность ровницы, малая растяжимость нити тоже вызывают обрывы. Кривая или неправильно одетая шпуля задерживает работу.

Маруся следит и за трансмиссией. Ведь ослабленные ремни крадут машинное время!

Наблюдая за ровницей, Маруся проявляла резкую нетерпимость. Если ей давали переслежистую пряжу, брако-

ванные шпули, она бежала к мастеру, протестовала и добивалась своего.

Вскоре после Маруси на десять сторонок перешла ее лучшая подруга Сима Павлова и — совсем неожиданно — одна из самых старых работниц, Ксюша Евреева.

Через два с половиной месяца Маруся попала на слет стахановцев.

После слета Маруся еще «свирепее», как говорили ее подруги, взялась за работу. Вернее, это не свирепость, а сосредоточенность. Маруся не волновалась, не терялась, не бегала. Работала спокойно, как машины, на которые любовалась еще девочкой.

Утром 9 декабря Маруся вернулась со смены. Очень хотелось спать. В общежитии никого не было. Она сняла одну туфлю, стала расчесывать волосы... Вдруг дверь с шумом распахнулась.

В комнату ворвалась тетя Ксюша Евреева. Платок у нее сбился на бок, она улыбалась, задыхалась, почему-то вытирала кулаком глаза. Схватила Марусю за плечи и выпалила:

— Марусенька!.. Орденом!..

Оказалось, Ксюша услышала по радио о награждении Марии Клоковой орденом Трудового красного знамени. Годы не помешали ей кинуться к Марусе, чтобы поздравить девушку и через несколько минут опять помчаться на фабрику.

Маруся осталась одна. Она помнила: ей только что очень хотелось спать. Она сняла вторую туфлю, легла, попыталась закрыть глаза. Лицо все время расплывалось в широкую улыбку. Очень трудно уснуть, улыбаясь!

Маруся усиленно жмурила глаза, старалась не шевелиться.

Нет, ей совсем не хотелось спать.

Маруся еще раз попробовала закрыть глаза, но не выдержала, встала и пошла на фабрику.

Митинги, цветы, речи. У Трехгорки был двойной праздник. Одновременно с Марусей орден получила и ткачиха Фадеева.

За столом президиума Маруся была совершенно спокойна. Даже не улыбалась. Можно было подумать — она привыкла к таким торжественным заседаниям, к этим высоким почестям.

А она просто задумалась, перед ней проходили все прожитые ею недолгие девятнадцать лет, два года работы на фабрике... Ее наградили орденом. Всю остальную жизнь она отдаст труду, с десяти сторонок перейдет на двенадцать, а там и больше. Никаких пределов не существует, когда человек любит свое дело!

Ночью, возвращаясь с фабрики, Маруся потихоньку убегает от подруг. Она проходит мимо высоких новых корпусов Тестовского поселка. Холодно. Зимний день индевеет. Деревья кажутся маленькими и домашними. По пустынной улице мчится машина, пыльные лучи фар на секунду освещают яркозеленый жолоб. И опять темно.

Маруся подходит к недостроенному кирпичному дому и останавливается. Здесь будет ее комната.

Не хочется думать о себе. В деревне живет сестренка. Ей семнадцать лет...

Так вот мечта — скорее, как только можно скорее, взять сестру в Москву и сделать из нее человека. Чтобы и училась, и работала, и просто весело жила.

Марусе, правда, помогали. Но все-таки она сама завоевывала жизнь. Это было совсем не легко. Можно было сбиться с дороги, перестать думать о будущем. Она держалась и выдержала! Сестре будет легче.

Как хочется кого-нибудь осчастливить, когда сама так счастлива!

В детстве они вместе няньчили чужих детей, вместе ходили за больными родителями, вместе мечтали о городе. Так пусть же теперь у сестры будет такая же замечательная судьба, как и у Маруси. Мы обязаны жить хорошо!

Литейщик

Николай Назарович Бочаров сидел на собрании московских инженеров, созванном Московским комитетом партии по предложению Н. С. Хрущева. Он с нетерпением ждал минуты, когда председатель назовет его имя. Он давно подготовился к выступлению, записал свои мысли в блокнот. Сейчас можно было прислушаться к тому, что говорят с трибуны.

Время шло, а Бочарова не вызывали. К концу совещания он совсем потерял терпение. Вдруг буря рукоплесканий потрясла зал. Инженеры встали, чтобы привет-

ствовать своего наркома. Товарищ Серго вошел, улыбаясь, пожимая руки ближайшим. Потом сел и стал слушать. Председатель собрания объявил:

— Слово имеет товарищ Бочаров, начальник литейного цеха Люберецкого завода.

Николай Назарович вздрогнул от неожиданности. Да, не так давно он сгорал от желания поделиться своим опытом, а сейчас ему уже не хотелось выступать. Ему казалось, что мысли его мелки, опыт бледен и что вообще не то надо говорить перед такой аудиторией.

Он стоял на трибуне, в раздумье перелистывая свой блокнот. Товарищ Орджоникидзе с любопытством посматривал на инженера. Это был молодой человек высокого роста со значком ворошиловского стрелка на груди. Его круглое лицо, хранившее следы загара, заливала краска смущения, неестественного у такого богатыря.

...Кто не знает Люберецкого завода сельскохозяйственных машин? Этот большой подмосковный завод снабжает своей продукцией всю Советскую страну. Его уборочные машины можно встретить в льняных просторах Белоруссии, на пшеничных разливах украинских полей, в золоте хлебов центральных областей. Каждый день из сборочного цеха выходят сверкающие краской новорожденные машины.

Точно так выходили они и много месяцев назад. Но с каким трудом выдерживался тогда этот ровный ритм! Все время на заводе волновались: не подведет ли сегодня цех ковкого чугуна. Это был самый ненадежный участок. Уже с вечера начальник сборочного цеха Бочаров готовил список дефицитных деталей, прозванный за свои размеры «простыней». Список отправляли в цех ковкого чугуна, и там начинался штурм. С формовочных станков

снимали детали, намеченные по плану, и ставили опоки дефицитных. Еще горячими эти детали шли в механическую обработку и теплыми устанавливались на машины.

Так клокотала жизнь с виду спокойного завода. В конце концов это всем надоело. В январе директор завода вызвал к себе Бочарова.

— Ты не литейщик, — сказал он, — но как ты думаешь, не пойти ли тебе руководить литейным цехом? Ты вывез сборочный, вывезешь, я надеюсь, и этот.

Бочаров не ожидал такого предложения и сразу не нашелся что ответить.

— Товарищ Мушко,— начал он, но в голосе его не чувствовалось твердости, — поучиться бы сначала. Ведь я по образованию механик.

— Знаю. Но ты хороший организатор и коммунист. А это главное, что сейчас нужно для литейного.

Бочаров протестовал недолго. Всю свою небольшую жизнь он работал, учась, и учился, работая. Так было на Сумском заводе, куда его направили главным инженером прямо с вузовской скамьи, так было в комбайновом цехе «Коммунара» и в сборочном Люберецкого завода, где он был начальником. Так решил он делать и теперь. Без лишних слов он приступил к работе, но одновременно стал изучать литейное дело, занимаясь с профессором Аксеновым.

Прекрасный организатор, глубоко партийный человек, Николай Назарович вскоре навел порядок в цехе ковкого чугуна. Взамен плохих работников, выдвинул честных, знающих людей. Бочаров заставил каждого отвечать за свое дело, укрепил дисциплину, вытравил следы семейственности.

Цех оживал. Но не все еще язвы были залечены. Нехватало рабочих, были простои. Цех работал только

Николай Назарович Бочаров

на сборку, не имея времени передохнуть и создать нормальный задел.

Начальник цеха был в отпуску, когда страна могучим эхом ответила на первые удары стахановского молотка. У молодого инженера было много времени, чтобы поразмыслить об этом новом изумительном движении. Он отдыхал и в то же время искал резервы, чтобы увеличить мощность цеха. В голове возникали контуры новой организации труда. Постепенно они становились рельефнее. В октябре, когда Бочаров возвратился на завод, он уже хорошо знал, что ему нужно делать.

В цехе его ожидали неприятные новости. Старейший мастер Беляев, увидев Бочарова, вместо обычных приветствий долго и уныло жаловался.

— Плохи наши дела, Николай Назарович. Вот уж и сборку перестали удовлетворять. Катимся вниз. Вместо тридцати девяти тонн — двадцать восемь плавим. Позор!

— Не горюй, Алексей Иванович, — успокоил его Бочаров, — скоро все изменится. О стахановском движении знаешь?

— Как же, слыхали...

— Так вот. Скоро старые нормы ломать будем...

Начальник цеха решил прежде всего освободить формовщиков от вспомогательных функций, дать им возможность только наполнять формы землей и проставлять стержни. Дело в том, что формовщики своим непосредственным делом занимались не семь, а всего пять — пять с половиной часов. Вот здесь-то Бочаров и нашел резервы. Но раньше, чем приступить к осуществлению задуманного проекта, Николай Назарович хотел посоветоваться с лучшими мастерами и руководящими работниками цеха. Он подробно изложил им свой план, и «совет старейшин» горячо поддержал его.

Освобождение формовщиков от вспомотательных работ должно было дать громадный скачок производительности труда. Но провести это было не так-то просто. Расчленение операций требовало дополнительно сорока пяти подсобных рабочих, а это на первых порах казалось неэкономичным. Решили проводить реорганизацию по частям. Формовщиков первых двух участков освободили от относки опок, формовщиков третьего участка — от заливки.

На совещании были обсуждены все препятствия, которые могут возникнуть в процессе работ. Больше всего боялись скомпрометировать новые методы организации труда.

13 октября, когда все было готово, в кабинете начальника цеха собрались рабочие первых двух участков. Слегка взволнованные мастера сохраняли торжественный и горделивый вид. Они уже ввели в курс дела своих «подшефных». Теперь оставалось договориться окончательно.

Уговаривать на этом совещании не пришлось никого. Предложения инженера Бочарова отвечали давнишним стремлениям лучших рабочих цеха. Они были единодушны в своем решении:

— Если ничего не помешает, дадим две нормы.

И Бочаров постарался, чтобы им ничто не помешало. Для обслуживания формовщиков он подобрал способных и опытных рабочих. Заготовил опоки, щитки, рамы. Переставил оборудование: расширил площади формовки.

Желанный день наступил. 14 октября на первом участке в смене мастера Вялова лучшие формовщики Родионов, Павлов, Махов и Кобзев перешли на новые методы труда. К ним были прикреплены два подсобных рабочих. Однако через час Бочаров обнаружил, что относ-

чику при двух формовщиках делать нечего. Пришлось перестроиться на ходу и оставить одного подручного на четырех формовщиков.

В этот день цех жил напряженной жизнью. На работу первых стахановцев приходили смотреть рабочие соседних отделений. Толпы любопытных стояли у доски, на которой отмечался каждый час героической работы. Всех интересовали результаты этого необыкновенного опыта.

Он вполне удался. Итоги рабочего дня, вывешенные на той же доске, заставили ахнуть всех. Вместо нормы в восемьдесят семь опок Кобзев сделал сто пятьдесят две, Родионов вместо восьмидесяти дал сто шестьдесят одну, Махов — сто двадцать пять и Павлов — сто семьдесят пять при норме девяносто опок.

— Странно, и качество не ухудшилось, — не скрывая удивления, говорил контролер, отмечая, как отличные, восемьдесят процентов принятых деталей.

К концу смены взволнованного и счастливого мастера уже осаждали рабочие с просьбами поставить их в такие же условия. Скоро первые два отделения были полностью переведены на стахановские методы.

Производительность росла с каждым днем. 15 октября Кобзев дал сто шестьдесят пять опок, 16-го — сто шестьдесят семь, а к концу месяца дошел до ста семидесяти. Родионов остановился на уровне двухсот штук. Доска ежечасных показателей разжигала соревнование. Она была зеркалом, отражавшим ритм работы, и сигнализировала о недостатках в цехе.

В октябре стахановское движение распространилось на третье отделение. Бочаров ходил между рядами дымящихся опок, проверяя правильность своих расчетов. Стоя возле формовочных бригад, он искал новые резервы вре-

мени, скрытые в лишних движениях рук. В перерыве он советовался с рабочими.

— Слушай, Лягинский, — говорил он формовщику, — не находишь ли ты, что ящик с облицовочной землей стоит слишком далеко от твоего станка? Тебе приходится тратить много времени на подноску.

Лягинский соглашался, и ящик немедленно придвигали к рабочему.

Формовщики, освободившись от заливки, сразу дали двойную норму. Шишонин и Михалев в смене мастера Васякина вместо нормы в сто тридцать опок сделали триста, а потом и триста пятьдесят. Смирнов и Пронин вместо восьмидесяти семи дали двести двадцать штук. Столько же отформовали Мальков и Лягинский в смене мастера Беляева.

Великое движение охватило весь участок. 26 октября в третьем отделении формовщиков освободили от относки опок на плац и установки стержней. Это делал теперь подсобный рабочий высокой квалификации. Результаты этой рационализации не замедлили сказаться. Если 25 октября Шишонин и Михалев сделали триста пятьдесят опок, то 27-го они отформовали четыреста сорок, 28-го — четыреста восемьдесят пять, 29-го — четыреста девяносто семь, 30-го — пятьсот двенадцать и в середине ноября — шестьсот двадцать опок.

Весь завод шумел об этих невиданных цифрах. Все поздравляли начальника цеха. Но Бочаров ходил озабоченный. Его беспокоила мысль, не устают ли рабочие. Он спрашивал у формовщиков. Те отвечали:

— Нет, не устаем.

— Скрывают, наверное,— думал он.

Чтобы избавиться от сомнений, он решил пойти к ним

домой и побеседовать с женами, пока мужья на работе. Уж от них-то он добьется правды!

Сначала он зашел к Михалеву. Жена формовщика встретила его радушно, усадила за стол, предложила чаю.

— Видите ли, — начал Бочаров, подыскивая наиболее деликатные и верные слова, — я пришел поговорить о вашем муже...

— Что-нибудь случилось? — испуганно спросила женщина.

— Нет, нет, — успокоил ее Бочаров. — Он здоров и хорошо работает. Но вы, как жена, имеете возможность близко его наблюдать. Скажите мне, пожалуйста, что он говорит вам о своей работе? Не жалуется ли на усталость?

Михалева громко рассмеялась.

— Что вы, он очень доволен. Ведь ему сейчас гораздо легче работать. Раньше он сам заливал и относил, а теперь это делают другие...

Жена, оказалось, была прекрасно осведомлена о технологическом процессе, о новых методах труда, освободивших ее мужа от тяжелых операций.

— И знаете, товарищ Бочаров, — добавила она, — мой муж еще больше может дать. Он постоянно твердит мне об этом.

Такие ответы услышал Николай Назарович в семьях и остальных литейщиков, которых посетил. Но Бочаров не унимался. Он допрашивал женщин «с пристрастием», пытаясь выяснить, что едят его рабочие, каков у них аппетит, не испортилось ли настроение. Всюду ему давали успокоительные сведения. Зарплата формовщиков увеличилась вдвое. Они получили возможность лучше питаться, лучше одеваться.

Жены были довольны, и это вселило в Бочарова уверенность, что все идет хорошо.

Стахановское движение требовало все новых и новых усовершенствований организации труда. Производительность цеха выросла в полтора раза. В первой декаде октября расход металла составлял около тридцати тонн, а теперь увеличился до сорока восьми. Раньше, случалось, две-три тонны жидкого металла приходилось сливать в землю, потому что не было форм для заливки; сейчас, наоборот, формы были, нехватало металла. Откуда его взять?

Техническая мысль и здесь нашла выход. Дефицит ковкого чугуна был покрыт применением рафинированного серого чугуна.

В корне была перестроена организация труда и в отделах, связанных с формовкой технологическим процессом, стахановские методы труда быстро улучшили работу некогда отсталых участков — отжига, обрубного, стержневого.

Цех ковкого чугуна, не так давно тянувший назад весь завод, стал одним из лучших.

— Удивительно, — говорят о нем на заводе. — В прошлом году литейные цехи давали девятьсот тысяч рублей убытка, а в этом уже к 1 ноября вышли с восемьюдесятью тысячами прибыли. А рабочих у них стало меньше на пятьдесят человек.

Но Бочарову и этого мало. Он ходит от одного формовщика к другому и будит творческую инициативу.

— Ты добился рекорда, — говорит он Виноградову, стоящему на ручной формовке, — ста восьмидесяти опок в смену. Но не мешает ли что-нибудь тебе и теперь?

— Двадцати опок нехватает до конца смены, товарищ Бочаров, — отвечает рабочий.

— Дадим тебе не двадцать, а сорок. Но что нужно сделать, чтобы использовать их все?

Он останавливается и намекает:

— Не плохо было бы как-нибудь механизировать трамбовку...

— Верно, — задумывается формовщик. — А знаете, Николай Назарович, — вдруг говорит он, осененный идеей. — Что, если попробовать трамбовать пневматическим молотком...

Бочаров обычно спешит реализовать предложения рабочих и, получив в результате увеличение производительности, делает их героями цеха.

Это правильный метод, и Бочаров пожинает сейчас его плоды. Творческая мысль рабочих, разбуженная необычайным подъемом, сама ищет новых путей к повышению производительности труда.

Николая Назаровича уж не удивляет непривычная тишина в цехе. Он научил людей ценить свое время, не растрачивать его зря. Все работают тихо. Да и зачем кричать? Все, что зависит от работников цеха, подготовлено. Все на месте.

— Вы не беспокойтесь,— говорит ему мастер Алексей Иванович Беляев, тридцать один год проработавший на Люберецком заводе. — Я — как часовой на часах. Всех обойду, у всех посмотрю, чего нехватает. Мне самому не хочется с первого места слезать,—продолжает он, намекая на особую доску показателей соревнования мастеров, введенную Бочаровым. — А что касается будущего, то вы тоже не волнуйтесь. Еще больше дадим. Верно, Николай Назарович! Ведь работать стало легче, спокойней...

— Да, это не предел. Мы можем дать и дадим еще больше, — заканчивает свою речь инженер Бочаров.

Он сходит с трибуны, провожаемый шумными аплодисментами. Опускается в свое кресло, старается успокоиться. Кругом бушуют хлопки. Николай Назарович ни на кого не обращает внимания. Он все еще смущен...

— Взгляни в президиум, — шепнул ему сосед.

Бочаров медленно поднял глаза. Нарком смотрел на него и, улыбаясь, горячо аплодировал.

С. Гехт

Клещи и винтовка

I

Девятого октября 1935 года, как сообщали газеты, в мире произошли следующие события. Итальянские войска вступили в абиссинский город Аксум. Франция изготовила ответ на английский запрос о санкциях против агрессора. Советская делегация знакомилась с промышленностью и культурой Праги. Японский военный атташе в Китае генерал Исогай заявил о готовящемся отторжении от Китая пяти северных про-

винций. Советский пароход с московскими автобусами подплывал к Стамбулу. В Турции приготовились к встрече советских спортсменов.

Как известно, газетная информация идет позади жизни, хоть и соприкасается с ней вплотную. Поэтому неудивительно, что в газетах в этот день ничего не было сказано о событиях, происшедших в Сокольниках, на Огородной улице, на фабрике «Буревестник».

В этот день Иван Иванович Сидоров, никому не известный мастер-обтяжчик мальчикового цеха обувной фабрики «Буревестник», вышел на работу немного раньше обычного. Проходя мимо клуба, он услышал увертюру из «Лоэнгрина». Эту оперу он недавно слушал в Большом театре, и знакомая мелодия задержала его на несколько минут у губастого радиорупора. Можно в одно и то же время слушать музыку и думать о своих делах. Иван Иванович, под наполнявший его уши музыкальный шум, думал о Сметанине, Бати и Осипове. Эти лица как-то беспорядочно перемешались в его мыслях.

Обтяжчик Сметанин, проживающий и работающий в Ленинграде, прославился тем, что добился рекорда обтяжки — тысячи восьмисот шестидесяти пар обуви в смену. Десять дней назад Сметанин опубликовал в газетах письмо, в котором вызывал на соревнование всех обувщиков Советского союза. Иван Иванович уже давно превышал норму, вместо семисот восьмидесяти пар давал девятьсот, девятьсот пятьдесят и тысячу. Иван Иванович был одним из тех обтяжчиков, которые заявили, что они принимают вызов ленинградца. Однако до сметанинского рекорда было далеко, и никто на «Буревестнике» не мог похвалиться даже тем, что приблизился к сметанинскому рекорду.

А Бати? Пожалуй, все наши обувщики слыхали про знаменитого обувного короля Чехословакии. Ивану Ивановичу как-то захотелось узнать, сколько дают тамошние обтяжчики. Ему сказали так:

— У Бати за смену дают восемьсот пар.

Что касается Осипова, это был начальник воинского пункта, прежде закройщик. Ивану Ивановичу запомнилась когда-то сказанная о нем Осиповым своему помощнику фраза.

— Совсем сырой материал, — произнес тогда Осипов.

Между тем увертюра шла к концу, сыпля громы и раскатывая барабанные удары. Скрипки, валторны и флейты так яростно наступали друг на друга, словно боролись за существование.

— Нет, я уже не сырой материал, — думал Иван Иванович, отстраняя на время и Сметанина и Бати.

С той поры он прочел и изучил много книг, посещал лекции по истории партии, начал смыслить в политике и экономике. Он теперь вступал в такие разговоры, которые раньше казались ему китайской грамотой. Теперь его слушали, с ним спорили. По взглядам людей он чувствовал свой рост и развитие.

Увертюра кончилась. Иван Иванович перешел дорогу, купил у ворот газету.

— Ну, как абиссинцы? — спросил его сторож.

II

Иван Иванович прошел через контрольную будку на фабричный двор и увидел застрявшую подводу с горами обувного товара. Две сильные лошади, два огромных московских битюга не могли стронуть подводу с места. И кони и возчик взмокли от напряжения.

— А ну, давай! — весело и зычно крикнул Иван Иванович, — а ну, давай, а ну, давай!

Он поймал взглядом несколько человек, и все грудью налетли на подводу. Колеса преодолели бугор, подвода легко и плавно выкатилась на улицу. Иван Иванович махнул возчику рукой, — счастливой, мол, дороги!.. У него еще было свободное время.

В мальчиковом цехе кончала работу первая смена. Иван Иванович отдал гардеробщице пальто, кепку, калоши и пошел за механиком.

— Давай осмотрим машину.

— Рекорд хочешь взять? — шутливо спросил механик.

— Хочу, — ответил Иван Иванович.

— Сметанина задумал обогнать, Ваня?

— Задумал, — спокойно сказал Иван Иванович.

Обтяжная машина, устремившая вверх свои клещи, каналы и челноки, похожа на некий фантастический железный куст, беспорядочно выбросивший во все стороны свои цветы, соблюдая однако в этом беспорядке какой-то свой, одному ему ведомый порядок. Когда Иван Иванович осматривал свой станок, он увидел, что застревает текс — мелкие восьмимиллиметровые гвоздочки, так называемый восьмой номер.

Сидоров прочистил канал и челноки, проверил клещи, послушал, как работает мотор.

— Все в порядке, — сказал он, обращаясь к бригаде, приступившей к прибивке, обтяжке, приклейке и прочим операциям.

Было три часа. Смена Сидорова начала свой трудовой день.

Иван Иванович Сидоров

10

Ему все время подвозили на вагонетках напяленную на колодки заготовку. Иван Иванович подхватывал пару за парой, ставил заготовку на настольные клещи. Заготовка вытягивалась вперед, принимала правильную форму. Затем он подносил ее к машинным клещам, нажимал на педаль. Клещи захватывали в свою пасть заготовку, вонзали в нее десятки невидимых гвоздиков. Начиная работу, Иван Иванович засыпал в жолоб канала кило текса. Этого, пожалуй, хватит на всю смену.

Обтянутая и простроченная множеством гвоздиков, заготовка принимала форму башмака. По этому башмаку, еще без подметки и каблука, уже можно было представить ногу мальчика — от тридцать пятого до тридцать восьмого номера.

Сидоров откладывал в сторону башмак за башмаком, пару за парой. Он чувствовал, что сегодня работает быстрей и лучше, чем когда бы то ни было.

«Интересно, — подумал Иван Иванович, — сколько же я трачу времени на операцию?»

Он не знал этого. Потом хронометражист сообщил ему, что на обработку пары ботинок у него уходит одиннадцать секунд.

А девушка из бригады то и дело подвозила вагонетки с разложенной по полкам заготовкой и увозила другие вагонетки — с обтяжкой, этим, так сказать, черновиком башмака.

В бригаде заметили: сегодня все работают и быстрее и лучше. Обтяжная машина, за которой стоял Сидоров, гнала вверх на глазах у всего цеха производительность и заработок каждого члена бригады.

По цеху ползут слухи, что Сидоров подбирается к Сметанину. Здесь шепчутся очень громко, так как надо перекричать сотни лязгающих, стучащих и повизгивающих станков.

На дворе — ночь, уже девять часов. Мало-помалу обтяжная машина Ивана Ивановича, на которой почему-то до сих пор сохранилась надпись, что она принадлежит какому-то анонимному обществу, — мало-помалу эта машина начинает привлекать общее внимание. Все знают: Сидоров обтянул уже больше тысячи восьмисот пар.

Мимо проходит механик, направляясь в другой конец цеха.

— Говорят, ты уже к Сметанину подобрался? — спрашивает он.

— Подобрался, — с удовольствием отвечает Сидоров, нажимая педаль и откладывая простроченный гвоздиками башмак.

Он берет следующую пару и думает о том, что именно эта пара оставляет Сметанина позади. А до конца смены — еще целый час.

И вот уже в цехе все знают:

— Наш-то Ваня обогнал Сметанина! Кончает вторую тысячу обтяжек.

— Давай, Ваня, давай! — слышит Сидоров веселый голос парторга Голубева.

— Давай, Ваня! А ну, Ваня!—подбадривают Сидорова девушки из его бригады.

Еще не кончилась смена, но все уже знают, что сегодня здесь поставлен всесоюзный рекорд. Последняя минута! Последние несколько пар! Вот проползла под клещи две тысячи сто седьмая пара, вот Сидоров отложил две тысячи сто восьмую. Вот гвоздики прострочили две тысячи сто девятую пару.

Когда он убирает из машинных клещей две тысячи сто десятую пару, смена кончена.

Кончена смена! Пора мыть руки, итти домой.

Обычно в эту минуту все устремлялись к вешалке, но поздним вечером 9 декабря весь цех остался на месте. В мальчиковом отделении произошло событие, и это событие надо было отметить.

Митинг был недолгим, но шумным. За двадцать минут выступили и секретарь партколлектива Копейкин, и начальник цеха Чернин, и председатель фабкома Рожинский. Сказал несколько слов и Иван Иванович. Он был смущен, заикался.

— А ну, давай! — подгоняли его рабочие. — Давай, Ваня, давай!

Затем говорили другие обтяжчики, а за ними и закройщики. Все поминали Сидорова, говорили о нем с уважением. Сегодня Иван Иванович покидал фабрику известным человеком.

IV

Волнение часто мешает нам уснуть во-время. Волнение может быть следствием горя, потрясения, но его вызывает нередко и большая радость. Некогда Татьяна Ларина влюбилась в Онегина и не могла уснуть.

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,

Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальний свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит...

Иван Иванович снова перечитывает наполняющие его каким-то непонятным удовольствием строки. Волнение мешает ему спать. Он придвинул к постели столик с лампой, чтобы перелистать потрепанный томик Пушкина, вдруг задержался на одном месте, и вот — не в силах оторваться.

— Давай спать! Ваня, давай спать, — устало говорят домашние.

— Сейчас, — отвечает он, — одну минуту! Только несколько минут!

Но ему не спится. Он уже несколько раз перевернулся с правого бока на левый и с левого на правый. Пробовал закрывать глаза, затем снова открывал.

... Но — говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),

По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная подруга
И добродетельная мать...

Иван Иванович тихо встает с постели и садится писать письмо в деревню. В деревне живут жена с дочерью. Девочке недавно исполнилось полтора года. Он начинает письмо просьбой, чтобы жена немедленно пошла на станцию. Там есть фотограф. Пусть она сейчас же снимет девочку и пришлет ему карточку. Затем Иван Иванович рассказывает о большом сегодняшнем событии в мальчиковом цехе. Дальше идут глубоко личные слова и переживания, а в заключение он еще раз напоминает о фотографе на станции. Он живет между водокачкой и складом утиля.

А потом, — потом он опять читает.

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная...

Иван Иванович заснул — сном глубоким и сладким.

V

Утренняя слава началась на дворе. Умывшись, Иван Иванович вышел погулять. Соседи были любопытнее, чем всегда. Кто-то показал:

— Вот он.

Кто-то шопотом переспросил. Кто-то воскликнул:

— Читали про тебя, Иван Иванович! В газете!

Какой-то мальчик уцепился за его штаны и пролепетал:

— Ты стахановец, дядя, правда?

А на дворе фабрики Сидорова уже ждал фотограф с самым модным, самым удобным и самым крохотным фотоаппаратом. Даже треножник был у него чудом техники — со множеством хитроумнейших винтиков и защепок. Это был один из тех фотографов, которые уже побывали и за полярным кругом и в пустыне Кара-Кум; он много скакал, ездил и летал, и потому у него был вид человека, знающего себе цену.

Он как-то очень ловко и властно подхватил оробевшего Ивана Ивановича, повернул его лицом к солнцу, щелкнул раз, щелкнул два, потом присел и щелкнул последний раз. Затем что-то записал, поздравил, сильно пожал руку и деловито ушел.

В цехе Сидоров увидел доску с показателями. Ярче всех красовалась его, Сидорова, цифра. Направляясь к станкам, рабочие останавливались у огромного самодельного и несколько неуклюжего щита с лозунгами и размашистыми картинками в красках.

В цехе царило возбуждение. Быстрей, чем всегда, катились вагонетки, быстрей, чем всегда, работали закройщики и обтяжчики. Через руки приемщиков проходило обуви намного больше, чем обычно.

Сидоров стоял за станком и весело подгонял самого себя.

— Давай, Иван Иванович! А ну, Ваня!

Сверху и снизу, с конвейера и из сборочной приходили смотреть на его работу. Сидоров со странным и приятным удивлением слушал, как часто повторяется его фамилия. Он чувствовал спиной направленные на него любопытные глаза.

Да, сегодняшний день совсем не похож на вчерашний.

Пришла слава, она плывет и плывет, и все шире раздвигаются ее берега.

Через несколько дней из письма жены Иван Иванович узнал, что ее уже предупредили. Пока письмо тряслось в почтовом вагоне, слава Сидорова примчалась по проволоке! О Сидорове знал уже и фотограф, проживающий на станции между водокачкой и складом утиля.

— Привет супруге героя! — воскликнул он, завидев жену Ивана Ивановича с ребенком.

Он снимал девочку с особым удовольствием, одну карточку оставил себе и выставил ее в своей витрине — среди лучших районных красавиц — с надписью:

«Дочь стахановца обувной промышленности И. И. Сидорова».

Иван Иванович послал жене много денег, больше, чем всегда. Заработок его сильно пошел в гору — вместо десяти рублей в день он получал теперь тридцать семь. А фотографию дочери он держал в боковом кармане. Часто вынимал, рассматривал. Отцовские чувства Ивана Ивановича ничем не отличались от отцовских чувств людей, еще не знаменитых.

VI

Я посетил Ивана Ивановича в Перекопских казармах. Сидоров сейчас красноармеец первого взвода первой роты N-ского полка.

Оказалось, что Ивану Ивановичу, о котором знает вся страна, всего двадцать два года, и его призвали в Красную армию. Он получил винтовку такого-то образца, за таким-то номером и поселился в большой комнате среди таких же молодых граждан нашей родины. Около его койки — тумбочка с цветами. По полочкам этой тумбочки он разложил множество мелких вещей вроде мыла, зуб-

него порошка, одеколона, бритвы и прочего. В тумбочке же Иван Иванович хранит фотографию жены с дочерью.

Я увидел Сидорова во дворе казармы. Он стоял впереди двадцати красноармейцев, снарядившихся в экскурсию. Рота устраивала поход на фабрику, с которой пришел в армию Иван Иванович. Красноармейцы шли смотреть его обтяжную машину, его бригаду, его цех, все предприятие.

Сколько знакомых повстречалось Сидорову, как только мы завернули на Огородную улицу! Они громко говорили:

— Сидоров с товарищами идет!

— Иван Ивановичу привет!

— Здорово, Ваня!

Другие показывали на него соседям, по нескольку раз оборачивались к нему сами.

И Сидоров снова стал за свой станок, но уже не в рабочей блузе, а в шинели и шлеме. Снова застучали настольные и машинные клещи, посыпались по каналу гвоздочки, и девушки из бывшей его бригады весело подгоняли:

— Давай, Ваня! А ну, Иван Иванович!

Остается рассказать еще о следующем.

Дело было в полку. Старшина роты встал в пять часов утра, включил радио. Молчание. Он сидел и ждал. В положенное время черная труба заговорила, щедро рассыпая новости. Старшина роты слушал, вдруг радостно вскрикнул, улыбнулся и побежал в первый взвод.

— Сидоров! — кричал он. — Где Сидоров?

Тот был в умывальной комнате.

— Сидоров! — сказал старшина,— тебя наградили орденом Трудового красного знамени. Сам слышал! Труба сообщила...

Бор. Бродовский

Учитель машинистов

Было солнечно, рельсы блестели, как две серебряных нити. Иванов лукаво поглядел на спутников и, ни слова не говоря, ловко перепрыгнул через низкую каменную ограду какого-то запущенного сада.

— Ваня! Подожди, почему сюда? — окликнули недоумевающие голоса.

— Чтоб тишина была, поняли?..

Стоял май. Пахло свежей травой. Они расположились в укромном месте и Иванов аккуратно разложил сложные, замысловатые схемы.

— Рассказывать будем поочередно, — сказал он. — Начнем с тебя, Алексей. Только подробно, как на экзамене.

Вечером курсантов экзаменовали уже по-настоящему. Отлично отвечал Иванов. Он получил высшую оценку. Завтра же он должен явиться за удостоверением, которое даст право водить электропоезда.

Запоздно Иванов и Селиванов вышли на Комсомольскую площадь. Сели в последний трамвай. Говорить не хотелось, все было ясно.

Площадь Коммуны. Трамвай лязгнул и через полминуты скрылся за углом. Медленно шли они по пустынным улицам. Каждый думал о своем.

— Знаешь, Алеша, — внезапно произнес Иванов, — на новом месте я тоже буду не последним, но все-таки сейчас как-то жадко. Привык, понимаешь.

— А чего жалеть?

— Видишь ли, у меня это оттого, что в мальчишестве паровоз был самой страстной мечтой. Он и сделал меня человеком.

Отец, Иван Петрович, в прошлом — неудачливый старатель, плотничал в Новосибирске.

— На золоте не было мне фарту! Так зазря молодость и прошла! — огорченно говорил он домашним.

Жена да шестеро ребятишек. Мясо в семье ели раз в неделю. Руки у матери от воды всегда красные, с узловатыми худыми пальцами. Она стирала на дому чужое белье.

Читать еле-еле плотник Иванов научился уже семейным человеком.

Иван Иванович Иванов

— Расписаться, и то толком не умею, — признавался он подрядчику.

Но детей надо учить. Иначе жизнь их будет... Впрочем, за примерами ходить недалеко.

Шести с половиной лет старший сын Ваня стал ходить в двухклассное городское училище. Почитать, приготовить уроки днем было некогда. Он носил матери воду, няньчил крошечных братьев, сестер. Другое дело — ночью. Когда все засыпали, маленький Ваня у железной печурки, сочившейся багровым накалом каменного угля, жадно впивался в книгу. Лампу зажечь нельзя, заругают:

— Не переводи керосину!

Отец за прилежание частенько хвалил, но еще чаще драл.

Так Ваня и учился...

С выпускного экзамена двенадцатилетний мальчик пришел домой веселым и возбужденным. В руках — похвальный лист. В награду его на этот день освободили от всех обязанностей по дому, отец впервые дал денег на кино.

Летом сына устроили на побегушки сначала к сапожнику, потом к портному.

Но карьера не удавалась. Мальчику надоело бегать за водкой для пьяницы-хозяина или, что еще хуже, обжигая пальцы, возиться с раскаленными утюгами.

За два года он перепробовал немало занятий. Наклеивал этикетки на бутылки, учился переплетать, в душной пекарне варил баранки. Все это не удовлетворяло, с хозяевами не уживался.

Как-то Ваня вернулся домой с мыловаренного и сказал отцу:

— Больше не пойду. Резать мыло осточертело!

— Что ж теперь с тобой, обормотом, делать?

Ваня вытирал слезы и упрямо молчал. Почему-то он не решился тогда рассказать о своей заветной мечте. Она волновала, неотступно преследовала, иногда не давала спать.

Сила, ритм, скорость. Просто дух захватывает, как видишь мчащийся поезд. Он не мог заниматься другими делами, если на свете были паровозы.

В 1916 году сорокапятилетнего Ивана Петровича взяли на войну. Ваня вместе с младшим братом пошли на постройку домов. Работа была несложной — подносили кирпич. Зарабатывали в день шестьдесят — семьдесят копеек. Мать попрежнему стирала и сильно кашляла.

О паровозе некогда было и думать.

Первое знакомство с ним произошло в депо Боготол в семнадцатом году. Он ощупывал каждую гайку машины. И не было на свете парнишки счастливее! Ремонтировать, возвращать здоровье умным механизмам, — разве это не настоящая работа?

Отец — он работал на станции печником — изредка заходил в цех, ласково глядел на сына и завидовал.

Пришла колчаковщина. Звание слесаря Иванову получить не удалось. Мастер косился на шустрого парня.

Наконец, в девятнадцатом году враг был раздавлен.

Следующие четыре года Ваня Иванов работал в депо Топки, на Томской дороге. Он был уже не тем человеком, каким знавали его раньше. Слесарь первой руки и комсомолец.

Это были суровые, но чудесные годы. Он занимался в вечерней школе, прочел в библиотеке всю наличную техническую литературу о паровозе.

Конечно, он мечтал о профессии машиниста. Но вряд ли ему приходило в голову, что придется водить поезда и под землей. В те годы о метро не думали.

Но кроме книг о паровозах есть много других, повидимому, не менее важных. Жил Ваня на станции, в старом товарном вагоне. Когда его товарищи уже спали или балагурили возле печки, он часами ломал себе голову над астрономией Фламмариона или учебником логики. А Пушкина, Толстого, Гоголя и Горького читал запоем. Это были его любимые писатели.

— Зачем все это тебе? — иногда спрашивали товарищи.

— Так, интересно. Если хотите, даже нужно.

— Слесарю?

— Да, и слесарю, но культурному.

Спор обычно кончался чтением вслух до поздней ночи. Наутро вода в теплушке замерзала, в щелях белел снег. Но разве это важно, когда человеку двадцать два года и говорят, что республике скоро понадобится много новых машинистов?

Подводило здоровье. Из Красной армии отпустили через полгода. Врачи советовали переменить климат. Он думал о юге, увлекался книгами, где описывается море. Шел 1924 год.

Страна переживала трудные времена. На Южной дороге регистрировали седьмую тысячу безработных железнодорожников. Он написал письмо в Харьков, в правление дороги, предлагая поменяться с кем-нибудь местами. Какой-то товарищ откликнулся, но спрашивал, есть ли в Топках река и охота. Иванов не ответил. Что он мог написать? Ему казалось — вокруг унылая степь, безводье.

Вдвоем с приятелем он поехал в Одессу. Здесь понравилось жаркое солнце и море, то покрытое пенными гребнями, то гладкое и блестящее, как поршень цилиндра. Но в Одессе не повезло. Работы в депо не нашлось, и сибиряки отправились в Москву.

По путевке ЦК союза Иванов попал на Савеловскую линию помощником машиниста.

Капризы машины он постиг сравнительно быстро. Семилетнее слесарничанье в депо и читанные в Топках книжки о паровозах помогли.

Через полгода он уже самостоятельно делал запись ремонта перед промывкой машины. Вскоре стал водить товарные поезда. Во второй ленинский призыв Иванов стал большевиком.

Что-то неладное творилось с легкими. В клинике сказали, что паровоз нужно бросить. Весь этот день у него было одно единственное желание — скорее покончить с делами, притти домой, собраться с мыслями.

Возвратиться в депо? Оставить любимое дело? Но это было бы отступлением. Он не послушался врачей.

В том же году Иванов сдал государственный экзамен на машиниста пассажирских поездов.

В конце двадцать девятого года участок Москва—Пушкино стали готовить к переводу на электротягу. Иванова послали на курсы электромашинистов. Сутки были уплотнены до предела. Утром — на курсах. Вечером снова занятия, — он задумал готовиться во втуз. Ночью — основная работа, поездовождение.

Так продолжалось до весны 1930 года.

В руки попала совершенно новая машина. Другой двигатель, иные принципы работы и передачи энергии. Иванов лучше всех выдержал испытание. Он первый получил звание машиниста электропоезда. Но этого недостаточно. Как мало он еще знает, и как далеко до мастерства! Литературы об электротяге у нас тогда не было. Разнообразные, сложные приборы приходилось изучать чуть ли не на ощупь. Нужно было проверять поведение каждого механизма. Иванов приставал ко всем, кто мог рассказать ему о том, чего он еще не знал.

На монтаже электрооборудования первых составов работали английские инженеры из почтенной, солидной фирмы. Но это были люди замкнутые, производственные секреты они держали про себя. Случалось, что направляли и по ложному пути. Понадобился громкий процесс, чтобы открылось истинное лицо некоторых джентльменов из фирмы «Метро-Виккерс».

Иногда бывало так. В секции нет нужного контакта. На паровозе всякая заминка сразу же видна. А здесь не догадаешься, что произошло, если мысленно не нарисуешь себе схемы управления.

Два года он водил стремительные электропоезда. Накоплялся опыт. К концу тридцать второго года Иванов стал авторитетом, «профессором», как его называли.

Когда в столице были заложены первые шахты метро, Иванов стал машинистом-наставником. Может быть именно потому, что в течение следующих двух лет он воспитывал новых машинистов, в нем еще больше выросло чувство ответственности не только за самого себя, но и за людей, которых ему доверяли.

Упрямые и дерзкие люди под московскими улицами вели жестокую борьбу со стихиями — грязью, песком, во-

дой. По-большевистски теснили противника. Строительство лучшей в мире подземной дороги близилось к концу.

Однажды Иванову сообщили новость. Его, Трофимова и Тимофеева, лучших машинистов Северной, командируют на метро.

Из цехов завода имени Кирова, неузнаваемого теперь старого московского «Динамо», где изготовлялось оборудование для первых вагонов, «северяне» не уходили. Было много незнакомого. Иная конструкция контроллера, другие схемы, автостопное устройство, вместо генератора и батарей — изумительно хитрый механизм, потенциометр. Во всем надо разобраться, обдумать, понять.

На опытной ветке производили обкатку первого вагона, проверяли взаимодействие сложных и точных приборов.

В декабре начался отбор машинистов для метрополитена. Комиссия Центрального комитета партии работала в плохоньком бараке, неподалеку от Комсомольской площади. Первым вызвали Иванова.

— С охотой пошел на метрополитен? — спросил кто-то из комиссии.

— Да. Работа мне нравится.

Записали:

«Рекомендовать как примерного машиниста-наставника».

— Ну, а теперь ты нам помогай, Иван Иванович, — тепло сказал председатель комиссии.

Молодым машинистам Иванов показывал все, начиная с токоприемника и кончая последним шурупом в обшивке вагона. Рассказывал, как та или иная деталь будет вести себя в эксплоатации. Передавал свое удивительное уменье чувствовать машину. У себя на Северной с каж-

дым ездил в пробные поездки, обучал мастерству торможения.

— Когда ведете поезд, мысленно представляйте, что у вас на контроллере стоит стакан воды, а поезд нужно вести так, чтобы не пролить ни одной капли.

И этот «стакан воды» стал синонимом умелого вождения поезда.

Свидетельство на управление поездами метро Иванов получил первым.

В один из январских студеных дней инженер Шполянский с завода имени Кирова совершил первую опытную поездку под землей.

— А ваши-то неизвестно, как поедут,— сказал директору метрополитена Толчинский, технический директор завода имени Кирова.

В кабину машиниста вошел Иванов. Тоннель сверкал. Зеленый поезд плавно отошел от вокзала-дворца.

— Ловко! — восхищенно воскликнул Толчинский. — Если можно так выразиться, на лошади первый раз был конюх, а во второй — наездник!

— Видите, какой мастер. Научит и других ездить, — улыбнулся Адольф Антонович Петриковский.

Со второго рейса начали приспособляться к расписанию.

От Комсомольской площади до Красносельской на перегон полагалось девяносто пять секунд. Иванов уложился в девяносто. От Красносельской до Сокольников машинисты ездили за сто двадцать три секунды. Он сделал рейс за сто двадцать. Наконец, он решил проверить себя и других и потратил на те же перегоны семьдесят пять и сто три секунды.

— Расписание выдержать можно! — радостно доложил он комиссии.

Наступили горячие дни и ночи. Ездили уже по всей трассе.

Через день после получения формы метрополитеновцы пошли к своему наркому. Собрались в зале заседаний Московского комитета.

Слушая Лазаря Моисеевича Кагановича, Иванов отчетливо понял, что требуется от машиниста-большевика. Советский транспорт держит экзамен на зрелость перед партией, перед всей страной, перед всем рабочим классом.

Этот день — 6 февраля 1935 года — под землей был особенно торжественным. Пришли первые пассажиры метро — делегаты Седьмого съезда советов. Автоблокировка еще не работала, на следование поезда выдавалось телефонное согласие. Первый состав с делегатами вел Иванов.

Всякие неожиданности, когда он стоял в кабине машиниста, разумеется, исключались. Все отлично знали его профессиональную особенность жить на несколько секунд вперед.

Однажды к его кабине подошел Климентий Ефремович Ворошилов.

— Спасибо за поездку. Смотрите, так же хорошо возите москвичей, — сказал он и крепко пожал руку.

Каждый день приносил новые рекорды, увенчивая славой людей, вчера еще не известных стране.

Стахановское движение!

А на метрополитене?

Иванов стал как-то по-новому осмысливать все, что относилось к движению. Проверяя свои наблюдения, он прислушивался к высказываниям каждого товарища.

— Как я этого раньше не видел? — часто говорил он себе.

— Как ты думаешь, — сказал однажды он Федору Широченко, — неужели двое не справятся с работой троих? Давай проверим, только неофициально.

В поезде был проводник. По мнению обоих, это был человек на всякий случай. Обязанности его немудры — наблюдать за дверными механизмами и ограждать поезд сигналами. Вот и все. Но ведь механизмы работают безотказно, а остальное начальник поезда может сделать и сам.

Поезда ходят попрежнему, а упразднение проводников принесло государству двухсоттысячную экономию.

Весной всю трассу поезда проходили за двадцать одну минуту. Многим это казалось хорошим временем. Иванов думал иначе.

— Скорость из машины можно выжать больше. И, заметьте, без всякого для нее ущерба, — говорил он начальству.

Лучшие его выученики — Ефифанов, Карбелошвили, Семченко думали с ним одинаково.

Осторожно, постепенно проверяя машину, они увеличивали скорость. Результат — пробег сократился на две с половиной минуты.

— Это тоже еще не все, — говорил Иванов парторгу депо, — ты ведь знаешь, мы реконструировали контроллер, немного изменили автоматное устройство. Можно уложиться в семнадцать минут.

Иванов человек скромный. Вместо «я» он говорил: «мы».

В санатории тихо, покойно. Первое время это нравилось Иванову. Он много гулял по лесным тропинкам, легкие дышали хвоей. Иногда уходил на обрывистый берег, читал любимые книги или просто глядел на шелковые отмели Днепра. Мысли были радостны. Он шагал по земле, как победитель. Но жить без дела вскоре надоело. Это не для него. Мыслями он был в Москве. Он нетерпеливо считал дни.

В Дарницу, где Иванов лечился, товарищи писали редко. Когда приносили газеты, он жадно искал в них новостей о метрополитене.

В начале октября Иван Иванович вернулся в Москву. На следующий же день после приезда он пришел в депо.

— Здравствуй, Эдуард,— сказал он, тряся руку парторгу депо.

— Ну, как отдохнул?

— Хорошо, только последнее время здорово заскучал, чувствовал себя там каким-то отрезанным ломтем. Как дела у моих машинистов?

— Ты подожди. Водой тебя не несет, — ласково ответил Фельдман.— Выкладывай сначала о здоровье. Да, чуть не забыл! Твое предложение о светофорах приняли. Уже переставили больше двадцати. Машинисты говорят, что ездить стало легче, безопаснее. Очень довольны...

Лицо у Иванова прояснилось. Поблескивая глазами, он сказал:

— Завтра же с утра начинаю работать, а здоровье от таких новостей еще лучше стало.

И весело, как уже давно не говаривал, начал рассказывать о своих планах.

---

8 декабря на производственном совещании тяговиков около двенадцати часов ночи Фельдман объявил о решении правительства.

В эту ночь Иванову не спалось. Вспомнился декабрьский день тридцать четвертого года, когда позвали в Московский комитет партии. Никита Сергеевич сказал:

— Товарищ Иванов, партия тебя посылает на метро. Работай честно, по-большевистски, а главное — учи, воспитывай машинистов. Хорошо будешь работать — похвалим, плохо — ругать будем.

Он тогда обещал работать, как подобает большевику, оправдать доверие партии.

Новую энергию, новые силы влил в него Сталин.

Иванов слушал его в Кремле на первом совещании стахановцев.

Этого дня нельзя забыть.

Теперь вот дали орден Трудового красного знамени.

Уже засыпая, Иван Иванович подумал:

— Что ж, человек тридцать сделал хорошими машинистами. Работают, кажется, не плохо. Поезда водят с секундной точностью, безаварийно. Епифанов возил даже Сталина. А ведь Миша — мой ученик...

Он был счастлив.

---

11 декабря 1935 года, подъезжая к станции Охотный Ряд, Лазарь Моисеевич сказал машинисту и начальнику поезда:

— Сегодня у товарища Иванова вечер, и меня пригласили участвовать в нем, но я задержался на заседании и не могу там быть. Передайте Иванову от моего имени поздравление и привет!

А. Гудимов

Свой советский радий

Белокурый подвижный человек огорченно посмотрел на шумную ораву веселых ребятишек и сказал:

— Нет, эти нам не дадут поговорить.

Самая маленькая дочка Таня, держась одной рукой за отцовский хромовый сапог, а другой показывая стеклянный шарик, нараспев тянула:

— Па-па!.. Гляди... Блестит...

Коля деловито спрашивал:

— Пап?.. Ты в какой смене?.. Ты почему не на работе?

Глянув через окно во двор, где начиналась ранняя зимняя ночь, Скибо сказал:

— Куда бы их выставить?.. На улицу поздно... Знаете, трудно. Жена три месяца лежит в больнице. С ребятами я один... Разве с ними, озорниками, без привычки справишься?.. А тут еще стахановать стал, в цехе кутерьму поднял...

У соседей завели патефон. После долгих уговоров, добившись обещания, что отец никуда без них не уйдет, ребята всей гурьбой убегают к патефону. Наконец-то можно спокойно, по душам поговорить с человеком, который каждый день по пять часов возится с растворами хлористого бария и производит самый редкий, самый дорогой, самый чудесный металл — радий.

Тридцать восемь лет прошло с тех пор, как молодая полька Мария Кюри-Склодовская открыла излучение какого-то таинственного вещества. Долгими усилиями были добыты первые его крупинки. Вещество было названо радием. Его лучи просвечивали вещи и животных, сильно действовали на живые организмы и материалы.

Очень скоро радий нашел огромное применение в самых разнообразных отраслях. Им лечат тягчайшие болезни, как рак, он необходим для промышленности и обороны страны. Добываемый миллиграммами, радий ценится в тысячи раз дороже золота.

Чтобы получить грамм радия, надо переработать сотни тонн руды. Так, Мария Кюри работала над урановой смоляной рудой, содержание радия в которой составляет всего одну миллионную долю по весу, то есть грамм радия приходился на тысячи килограммов руды.

Этот драгоценнейший металл добывается и в Советском союзе. На заводе редких элементов в Марьиной Роще специальный цех растворяет полуфабрикаты — хлориды

и, постепенно уплотняя концентраты, высиживает хлористым кальцием радий.

А мой собеседник — белокурый, невысокий, часто улыбающийся человек — поднял производительность своей бригады в пять раз и увеличил выпуск радия по всему цеху.

В Москву Дмитрий Степанович Скибо приехал из колхоза села Алхан-Калач, Северокавказского края, в 1931 году и сразу попал на недавно выстроенный завод редких элементов. Завод только-только становился на ноги. Необычайное производство, невиданные машины пугали людей. Странно было работать по пяти, а в некоторых отделах даже всего по четыре часа в сутки. О лучах радия бродили самые нелепые легенды. Говорили:

— Лучи радия разрушают глаза. Через год все рабочие цеха ослепнут.

Другие уверяли, что лучи радия разрушают кости.

Новичок Скибо, ничего раньше не понимавший в химии редких элементов, рос вместе с заводом. Сперва он был просто рабочим, без всякой специальности. Но его заинтересовало производство, он начал изучать его секреты. Эту тягу к учебе заметили и выдвинули Скибо в заводский техпроп. Теперь он должен был уже не только сам учиться, но и учить других. Скибо считал: чтобы учить, надо знать самому.

Пользуясь тем, что в техпропе ему были доступны все книги, учебники, все преподаватели и инженеры, специалисты по редким элементам, он основательно познакомился с производством радия. Не стесняясь, он расспрашивал сведущих людей, часами простаивал у аппаратов в цехах, просиживал ночи за непонятными на первый взгляд формулами.

Когда после ликвидации техпропа Скибо стал брига-

диром первой кристаллизации в любимом радиевом цехе, он был уже специалистом своего дела.

В те дни, когда Стаханов потряс страну гулким эхом отбойного молотка, у Скибо были тяжелые дни. Жена захворала тяжело и надолго. Надо было обувать, одевать и отправлять в школу старших ребятишек, нужно было всех во-время кормить и во-время укладывать спать. Без хозяйки в доме всегда кавардак. Даже газет не успевал читать Скибо за всеми этими домашними хлопотами.

Только случайно 25 сентября на глаза Скибо попал обрывок газеты «За индустриализацию» с сообщением о рекордах Стаханова.

— Прочитал я эту заметку и задумался, — говорит улыбаясь Дмитрий Степанович. — Пришел домой и говорю себе: ведь и ты, Скибо, не лыком шит, ты тоже можешь! Надо только обмозговать...

С этого дня Скибо, как и тысячи других рабочих, точно новыми глазами взглянул на свое производство. То, что раньше не замечалось или казалось нормальным, обернулось нелепостью и глупостью. В цехе много разговаривали, курили, стояли. Пара для выпарки хвостов всегда нехватало, но к простоям из-за этого привыкли.

Исподволь, не спеша, Скибо подобрал себе бригаду — молодых девушек Бирюкову и Копченову. Вечером повел их к себе на квартиру, отправил гулять своих ребятишек и сказал:

— Вот что, девчата. В цехе у нас чуть не богадельня. Народу лишнего много, а толку мало. Давайте начнем работать втроем по-настоящему и покажем, что программу выполнять можно...

Девушки не возражали.

Дмитрий Степанович Скибо

— Только уговор... Я сам буду работать как следует и с вас буду спрашивать... Как? Согласны?

Долго обсуждала бригада новые методы работы. Обдумывали все мелочи. Прикидывали, что скажут товарищи по цеху.

А 1 октября начали работать по-новому.

— В сущности и нового-то у нас было мало,— смеясь говорит Скибо. — Уплотнили свое рабочее время, меньше болтали да внимательнее стали относиться к работе. А результат получился крепкий — сто девяносто шесть процентов плана! Сами этого не ожидали. Ведь собирались только план выполнить.

Вечером возбужденный и довольный Скибо снова привел свою бригаду домой.

— Ну что, девчата, не плохо, а?

Хорошая работа воодушевила бригаду. Девушки решили вместе с бригадиром добиться производительного использования каждой из трехсот минут своего рабочего дня.

На следующий день бригада выполнила сменное задание уже на триста двадцать процентов.

Бригада однако не считала свою задачу решенной. Мало перестроиться самим. Надо еще постараться выжать все возможное из аппаратуры.

— Я свои совещания с бригадой превратил в постоянные, — рассказывает Скибо. — Как окончится смена, мы в столовой или у меня дома обсуждаем, как работали, что дальше делать... Докладов, конечно, не делаем. Просто говорим о том, о чем каждому за работой думается.

— Параллельно с этим, — говорит Скибо, — мы и сами еще больше подтянулись. Пять часов — триста минут — должны, ну, решили, и будем работать.

В эти дни бригада добилась выполнения задания на четыреста двадцать семь процентов. Теперь одна бригада Скибо давала в смену столько же, сколько делали раньше все четыре смены. Это позволило цеху освободиться от одиннадцати лишних рабочих.

Бригада и отделение праздновали победу.

— Работали мы хорошо,— говорит Скибо.— Я сам да и все на заводе решили, что это предел, что больше выпустить продукции нельзя, что из оборудования все выжато. Но...

Скибо встает, начинает расхаживать по комнате. Очевидно, эти воспоминания все еще волнуют его. Слишком свежи. Он продолжает:

— Как лучший стахановец промышленности редких элементов 15 ноября я попал на всесоюзное совещание стахановцев. Это самые радостные, самые счастливые дни в моей жизни... 16-го я слышал Серго, нашего наркома и... ну, вы понимаете...

Скибо снова зажигают горячие слова товарища Орджоникидзе. Их нельзя забыть!

Он снова садится и просто говорит:

— Здорово сказал нарком. Прямо после речи я поехал на завод. По дороге все думал, как увеличить производительность наших котлов...

Словом, возвращаясь на работу в Марьину Рощу темными и мокрыми от дождя улицами, Скибо снова нашел неиспользованные резервы в оборудовании своего отделения.

Здесь было несколько котлов. Когда в среднем происходила высадка, остальные бездействовали, ждали. Потом более насыщенный раствор переливался в правый бак, бедный — в левый. Высадка начиналась снова. Теперь она шла в двух баках, а остальные опять без-

действовали. Скибо решил, что бригада за последние полтора месяца так окрепла и дисциплинировалась, что сможет работать сразу на четырех чанах.

Только не зевать. Больше точности в движениях! Проворней поворачиваться.

Первая кристаллизация была самым узким местом всего цеха. Каждый час простоя первой кристаллизации механически вызывал простои в следующих отделах второй, третьей и четвертой кристаллизации, сокращал выпуск радия.

Теперь Скибо улыбаясь рассказывает о сомнениях. А сомнения были большие. Предложение Скибо меняло методы первой кристаллизации.

— Не снизит ли этот способ качества?.. Не уменьшит ли содержания радия в растворе?.. Не уйдет ли радий в хвосты безвозвратно?..

Начальник цеха Анна Исааковна Розенблюм сильно задумалась. Предложение бригадира было заманчиво, но проверить его результат удалось бы только через месяц, когда кончится весь производственный цикл. Только тогда можно будет точно подсчитать. Выходило — надо рискнуть. Ведь программа цеха — это не продукция первой кристаллизации, а радий. Если экспериментирование уменьшит выход радия, никто за это не похвалит.

Все же Розенблюм решилась.

Шел осенний дождь. Но Скибо было жарко. Он торопился. Но спешить во время работы у котлов нельзя. Чтобы взять себя в руки и успокоиться, он зашел домой. Тут все было спокойно. Ребятишки спали. Он еще раз прикинул возможность работать одновременно на чанах одного ряда. Верно!

Можно было итти в цех.

В эту ночь за пятичасовую смену бригада Скибо дала пятьсот десять процентов задания. Ни девушки, ни их бригадир не делали ни одного лишнего движения. Спокойно, без суеты, они переходили от агрегата к агрегату.

Скибо очень хотел выступить на совещании стахановцев. Но желающих было так много, что это не удалось. Обидно. Он очень расстроился сначала. Всю жизнь, все силы он отдавал производству редких элементов, а никто об этих редких элементах не сказал.

Волнуясь, Скибо ждал выступления Сталина. И все же неожиданно председатель сказал:

— Слово имеет товарищ Сталин.

Вместе со всем трехтысячным коллективом лучших стахановцев Скибо был захвачен мудрой речью Сталина, и постепенно погасла обида, что не пришлось выступить самому.

Сталин открыл Скибо глаза. Как и все, он вдруг по-новому увидел жизнь, стахановское движение, свою работу. У себя на заводе, копаясь у котлов, занятый повседневными производственными мелочами, порой он забывал о том, что происходит в стране. А Сталин могучей рукой поднял его и сразу показал все пролетарское государство, ослепил величием социалистической стройки.

Выйдя из Кремля, Скибо почувствовал, что стал умней и сильнее. Ему казалось, будто Сталин вложил в него упругую, крепкую пружину.

Жажда работы была так велика, что Скибо не пошел вместе с участниками совещания в Большой театр, а поехал на работу. Длинный путь от Кремля до Полковой улицы в Марьиной Роще прошел незаметно. Не меркли сталинские слова, его улыбка, взгляд... Скибо проверял речь вождя на своей жизни, на своей работе. Сталин удивительно знает эту трудовую жизнь.

Восхищенный и возбужденный Скибо, как всегда, забежал домой. Ребята не спали, и им первым отец пересказал речь Сталина. Притихшие ребятишки жадно слушали. Немного успокоившись, Дмитрий Степанович решил:

— Пусть я не выступил на совещании. Я отвечу на речь Сталина делом. Сегодня надо дать рекордную выработку.

В эту ночь без минуты простоя работали не четыре котла, а все. Бригада дала пятьсот шестьдесят процентов плана.

— Вот как мы добились рекордной выработки, — говорит Скибо и замолкает.

Снова ворвались дети. Все пластинки переиграны. Теперь они уже не уйдут из комнаты.

А Скибо не успел сказать самого главного. Рекордная выработка его бригады позволила цеху выполнить программу выпуска радия, драгоценнейшего металла!

Евг. Босняцкий

Творчество

Так же, как среди иконописцев Палеха, в деревне Бабеево было немало людей, очень вольно употреблявших имя господне и относившихся к кресту скорее с отвращением, чем с почтением. В прокопченных сараях, разбросанных по деревне, непрерывной лентой мелькали кресты: блестящие, золотые, малиновые, зеленые. Над низенькими деревянными станками до ночи склонялись женщины и подростки, девушки-невесты и мужики. Здесь ткали поповские ризы.

Приказчики неведомого хозяина привозили из Богородска блестящий шелк и увозили туда тяжелые ткани, заляпанные крестами. Приказчики платили по 25—30 копеек за аршин работы — дневной труд женщины или подростка. Мужики-искусники, большие мастера, ткавшие архиерейские ризы и богатые «азиатские» халаты, иногда, разгибаясь вечером, узнавали, что заработали полный рубль. Это были счастливые дни. Рубль — большие деньги.

В тринадцать лет Оська Тыртов уже ткал дешевенькие ризы для деревенских дьячков. Часто он слышал острожную брань по адресу бога и креста, по адресу попов и хозяев и сам охотно богохульствовал. Он вступал в жизнь, становился мужиком и работником. На его узкие плечи уже лег тяжелый крест.

Он кончил сельскую школу, научился грамоте и полюбил книги. Ночью, забравшись на полати, он пристраивал у головы лампадку и жадно листал страницы... В избе всю ночь не утихал шум. Когда, скошенные усталостью, расползались по своим местам бабы и мужики, — подымался густой храп. Долго возились на печи старики, страдающие бессонницей. Задыхаясь вскрикивали ребятишки в разных углах. Иногда, разбудив друг друга, они кричали хором. Матери шикали на них, прижимали к себе маленьких и тузили тех, что побольше, а проснувшиеся мужики раздраженно костили жен и детей.

В семье Тыртовых было двадцать шесть человек. Пять старших братьев Осипа привели жен. Жены принесли ребят. На каждый квадратный метр избы приходилось по человеку. Спали на полу, на полатях, на печи.

Тринадцатилетний Оська был недоволен своей жизнью. Он читал и мечтал. Он думал о больших городах, о Москве, которая лежит всего в пятидесяти верстах от

Бабеева, но в которой он еще ни разу не был. Он хотел уйти в город на завод. Он ненавидел кресты. Ему было душно в спертом воздухе избы. Уехать, обязательно уехать...

В город из Бабеева уже ушло несколько мужиков. Некоторым из них повезло. Некоторые стали слесарями, кузнецами, столярами... Когда в большие праздники они приезжали погостить, в их карманах звенело серебро. Они держались важно и независимо, В их глазах мелькали лукавые огоньки. Они больше видели, больше знали и держались лучше, чем мужики. Как им завидовал Оська! В гостях они больше пили, чем рассказывали. Они работали долгие месяцы, чтобы получить на несколько дней иллюзию свободы и обеспеченности. В дни гулянок они не хотели вспоминать о работе. Напившись, скандалили и ругались, как обычные мужики, только, пожалуй, злее и заковыристей. Но все-таки они вызывали зависть.

Оська читал и мечтал. Он уехал бы сейчас же, но кто его возьмет, такого маленького и щуплого, на завод, кто его отпустит из дому? Он уже работник и кормилец. Тринадцать лет его поддерживала, плохо ли, хорошо ли, выкармливала семья. Теперь семье была нужна его помощь.

Осип только начинал работать, но он уже ненавидел свою работу. Будущее представлялось ему темным и однообразным. Нигде он не видел просвета. Предстояла суровая и грязная жизнь, такая же скучная, как у отца, такая же тяжелая и мрачная, как у братьев и односельчан.

А через год, в 1914, прекратились заказы. Приказчики перестали привозить шелк. Хозяин занялся спекуляцией. Поставки для армии стали выгоднее, чем по-

Иосиф Андреевич Тыртов

ставки для церкви. Это было первым ударом... Мобилизация шла за мобилизацией. Сперва увели двоих старших братьев, к концу года еще двоих. Из двадцати двух человек в семье осталось только два работника — четырнадцатилетний Осип и старший брат Семен, охромевший еще в детстве... Отец, разбитый болезнями, редко слезал с печи. Шесть женщин, тринадцать ребятишек и старик на двоих мужиков — неполных работников.

Мечты о заводе пришлось оставить. Осип ходил за сохой, косил, воротил всю тяжелую мужскую работу. Его голос стал крепчать, тело становилось мужицким. Он привыкал к земле и к вечному недоеданию. Водка иногда заменяла уже ему хлеб и счастье.

Земля кормила плохо. Картошки и капусты нехватало даже для себя. Никогда не было денег. Для того чтобы раздобыть рубль-другой, Осип вместе с товарищами-подростками ходил по ночам в усадьбу помещика Сушкина воровать сено. Они продавали его на базаре в Богородске, а вырученные деньги чаще всего оставляли в трактире.

В 1915 году стало известно, что в восьми верстах от Фрязева, близ железной дороги, на болоте, строится железоделательный завод. Снова беспокойные мысли полезли в голову Осипа. Уйти на завод... Получить специальность... Мужиков теперь мало,— все на войне. Его примут. Но отец, брат, вся семья посмотрели на дело иначе. Он нужен дома... Только через год Осип решился настоять на своем. Вместе с шестью товарищами после долгих разговоров и сборов, покончив с уборкой, он отправился наниматься.

Их приняли не сразу. Работа нашлась только через несколько дней. Жилья на заводе не оказалось. Нужно было каждый день ходить в Бабеево. Тратиться на железно-

дорожные билеты в их положении было слишком расточительно

Осип хотел учиться мастерству. Он думал, что его поставят в подручные к слесарям или кузнецам. Но завод только строился. Ему дали тачку, и целый год он возил цемент. Уменья тут не нужно было никакого. Только сила. А сил у Осипа было не так-то много. Его мечты о счастливой жизни на заводе развеялись очень быстро, и в начале 1917 года он уже принимал участие в забастовке...

В августе 1917 года Осип Тыртов перешел работать на соседний завод той же компании. Там уже открыли кузницу, и Осипу удалось определиться в нее молотобойцем. Но вот странно: любви к делу и охоты к работе у него оставалось все меньше. Обеспеченная и привольная жизнь не приходила. Он получал теперь по два рубля в день, но мера картошки стоила уже четыре, а фунт хлеба — шестьдесят-семьдесят копеек. Он попрежнему недоедал, вечером, уходя из мастерской, долго не мог притти в себя и покачивался, как пьяный. Голова кружилась. Ноги подкашивались. Пальцы рук не разгибались. Он давно уже перестал читать по вечерам. Он еще хотел стать кузнецом, но теперь уже знал, что привлекают его не работа, не знания, а только хоть немного лучший заработок.

Летом 1934 года кузнец штамповочного цеха завода «Электросталь» Иосиф Андреевич Тыртов отдыхал на курорте в Крыму. Он пополнел, поправил свои нервы и очень загорел. Целые дни он проводил на пляже вопреки советам врачей. Он не боялся жаркого солнца. Северянин по рождению, он был южанином по профессии. Температура у печи была куда выше, чем на черноморском берегу. Отпуск подходил к концу. Он получил пись-

ма от сына и дочери. Виктор перешел в четвертый класс, все предметы он сдал на «хорошо» и ждал теперь подарков отца. Зина прислала свое первое письмо. Осенью она собиралась в школу, но в детском саду ее уже научили писать, и она пляшущими каракулями вывела на открытке, что «мама скучает, Витя скучает и маленькая Маня тоже скучает без папы».

Иосиф Андреевич задумался и понял, что он тоже соскучился по дому и по заводу, соскучился по работе... В последние дни стали чаще говорить о своей работе и его соседи по комнате. Петр Ильич Краснов, с которым особенно подружился Иосиф Андреевич, по вечерам с увлечением рассказывал о том, как преобразился за последние годы завод имени Дзержинского. Петр Ильич работал машинистом на заводском паровозе. Он рассказывал, что сеть заводских путей за последние годы стала значительно сложнее и шире. Он обсуждал достоинства советских паровозов, качество стали, котлов, машины. Иосиф Андреевич одиннадцать лет проработал машинистом, но не на паровозе, а на паровых молотах. Приятели часто беседовали о преимуществах той и другой профессий.

— Я начал с того, — говорил Иосиф Андреевич, — что работал на однотонном ковочном молоте. Меня научили подымать и опускать рукоятку, и больше я ничего не знал. Но меня тянуло разузнать, что делается внутри машины. Когда молот портился, я оставался на вторую смену и надоедал слесарям-ремонтникам своими вопросами. Потом я работал машинистом на трехтонном ковочном, на шеститонном падающем, на восьмитонном молоте. Я научился понимать каждый жест кузнеца, каждое движение его головы. Я присматривался ко всем деталям, идущим в работу, и без указания кузнеца делал точное ко-

личество ударов. Молот в моих руках стал послушным. Если падала какая-нибудь гайка, я не задумываясь решал, откуда она. Если мне подсовывали тайку с чужого молота, я сразу замечал это... Когда в цех поставили пятнадцатитонный молот, мастер долго думал, какому машинисту можно поручить его. «Ну-ка, попробуй,— сказал он мне,— покажи свое искусство». Тогда я поставил под молот бутылку и быстрым, точным ударом загнал в нее пробку. Мастер долго разглядывал бутылку. «Вот это здорово,— сказал он,— ни трещинки!» А еще через несколько месяцев меня без всякой подготовки перевели из машинистов в кузнецы на тот же молот. Из пятого разряда я сразу перескочил в седьмой... И вот уже пятый год я работаю кузнецом.

Тихие крымские вечера. Кипарисы. Ласковое море. Величественные горы. Иосиф Андреевич катался на яхте, купался, ходил по дворцам-музеям, слушал концерты столичных певцов... Все это было естественно. Его окружали товарищи: кузнецы, маляры, матросы. Быстро восстановились силы, возвратилась энергия, росло желание действовать, работать. За месяц Иосиф Андреевич много передумал... Он снова полюбил книги. Часто читал и мечтал... «Как можно меньше работать и как можно больше получать»,— вспомнил он как-то себя голодным деревенским пареньком, свои тогдашние мечты. «Нет,— подумал он,— за семнадцать лет жизнь совершенно изменилась!..»

Можно работать плохо, можно работать хорошо, можно, наконец, работать очень хорошо, отдавая делу все силы, но не внося никакой инициативы и мысли... Долго считалось, что думать — привилегия интеллигентов. На производстве функции были строго распределены: рабо-

чий производит, инженер думает над тем, как производить... Но «все смешалось» в Советском союзе. Рабочие уже совсем не в порядке исключения становятся инженерами, а молодые инженеры, чтобы изучить производство, становятся к станкам. Рабочие-производственники, так же как студенты, получают отметки: «отлично», «хорошо» или «плохо»... Последние годы принесли особенно много перемен.

В конце 1930 года шахта Центральная-Ирмино Кадиевского района была чуть ли не самой плохой в Донбассе. План выполнялся на тридцать — сорок, редко на пятьдесят процентов. На одном из партийных собраний шахты секретарь парткома сгоряча сказал, что если дело пойдет и дальше так, если партийцы и рабочие шахты не добьются повышения производительности, придется поставить вопрос о консервации... Шахты, конечно, не закрыли. На помощь ирминцам пришла вся общественность района. Социалистическое соревнование и ударничество дали свои плоды. Вскоре план выполнялся уже на восемьдесят — девяносто процентов, а в последующие годы шахта Центральная стала одной из лучших в районе.

В 1930 году, в месяцы тяжелого прорыва, на шахте Центральной работал и Алексей Стаханов. Он был хорошим забойщиком, одним из лучших ударников. Он систематически выполнял и перевыполнял нормы, но у него было еще мало знаний, мало опыта. Он работал хорошо, старался работать еще лучше, но он не пытался критиковать многолетних традиций и колебать авторитеты. Так же, как все забойщики, Стаханов рубал уголь и сам за собой крепил. В годы первой пятилетки Стаханов еще не учился на курсах техминимума, не сдавал государственного экзамена и не получал отметок «отлично» за свою

работу. Так же как большинство забойщиков, он оставлял за инженерами и хозяйственниками привилегию думать над технологическим процессом и организацией рабочего места...

В 1935 году Алексей Стаханов стал уже другим человеком. Он многому научился. Когда он захотел сделать подарок комсомолу, повысив в честь МЮД производительность труда, он стал думать, *как* это сделать. Он сбросил ярмо традиций и, применив свои знания и опыт, нашел новую *систему* работы и организации труда... Результаты оказались поразительными. И дело не столько в том, что вместо семи тонн угля по норме он вырубал сто три, а затем и двести с лишним в смену, сколько в том, что за ним последовали сотни, а потом и тысячи таких же, как он, рабочих. Следуя его примеру, забойщики, металлисты, машинисты, кузнецы, слесари, ткачи, буровые мастера стали думать над тем, как увеличить производительность своей работы, как организовать труд, как расставить людей... Производительность стала расти с невероятной быстротой. Товарные поезда, ходившие со скоростью в двадцать километров в час, стахановцы-кривоносовцы стали водить в два с половиной раза быстрее. Донбасс впервые стал выполнять и перевыполнять свои планы. Сталевары перекрыли все теоретические нормы, существовавшие в СССР и за границей. Сталинградский и Харьковский заводы вдвое ускорили движение конвейеров и выпускают в одну смену столько же тракторов, сколько выпускали в две. Штамповочный цех завода «Электросталь», выполнивший программу в августе и сентябре только на восемьдесят процентов, в октябре дал сто пять процентов плана.

13 октября было знаменательным днем в штамповочном цехе завода «Электросталь». Дмитрий Васильевич

Сапарин, парторг цеха, прочитал на общем собрании обращение стахановцев-бусыгинцев и сделал подробный доклад о методах их работы. В первый же день восемнадцать человек заявили, что они опрокинут нормы.

Иосиф Андреевич Тыртов, кузнец шеститонного падающего молота, должен был работать на следующий день в первую смену. Он дал собранию слово, что завтра же перевыполнит норму, которую до сих пор выполнял только на семьдесят — семьдесят пять процентов...

В этот вечер Александра Григорьевна Тыртова беспокойно ворочалась в своей постели. Она не привыкла спать при свете лампы. Она ворчала на мужа, напоминала, что завтра ей нужно вставать в пять утра. В колхозе она считается ударницей и не желает опаздывать на работу...

— Ты разбудишь ребят своим хождением. Виктору и Зине к восьми утра в школу.

Иосиф Андреевич старался представить себе цех.

«По правую руку, — думал он, — в десяти шагах от молота печь... Семен работает уже давно. Если захочет, сумеет прогревать и подавать сразу три детали... Так, так. Но в этом случае его нельзя отрывать от печи... Хорошо, очень хорошо. За печь будет отвечать третий подручный Семен Савин. Подавать детали будет Иванов... Но одному ему будет трудно... Поможет машинист... Нет, ничего не выйдет! Машинист при этой системе не сможет отходить от рычага...»

Было уже больше одиннадцати. В соседней комнате зашевелилась в кроватке младшая дочурка Маня.

— Вот видишь, — рассердилась жена, — так ты всех перебудишь!..

Иосиф Андреевич убавил огонь в лампе, взял лист бумаги и сел за стол. Он рисовал схему за схемой, пере-

черкивал, вырывал страницы из тетради сына и снова принимался за работу.

Он решил воспользоваться идеей Стаханова. «Забойщик должен рубать уголь и только рубать. Бригада делает остальное. Отбойный молоток должен работать без единой минуты простоя».

«Молот должен быть все время в работе, — думал Иосиф Андреевич, — ни минуты простоя. Кузнец должен штамповать и только штамповать. Все остальное сделает бригада...»

Итак, справа, в десяти шагах от молота, — печь. Слева, в двух шагах от молота, — восьмисоттонный пресс. В бригаде пять человек. Если все будут работать без простоев четыреста двадцать минут в смену... дело пойдет!

До сих пор работа шла так.

Заготовку привозили и закладывали ее в печь закладчики. За нагревом должен был следить третий подручный Семен Савин. Но к печи часто подходили и первый подручный Иванов и сам кузнец. Подогретую заготовку два человека подавали на молот. И пока Тыртов поворачивал ее, направлял в штампе, присыпал после каждого удара опилками, а машинист Юхатский работал у рычага, управляя машиной, остальные три члена бригады смотрели на кузнеца и ждали его приказаний. Они не бездельничали. Они напряженно следили за своим бригадиром и приглядывались к каждому его жесту. В цехе слишком шумно, чтобы отдавать приказы голосом, кузнец распоряжается руками и головой. Три члена бригады не бездельничали, но бездействовали. Их время уходило совершенно непроизводительно.

Потом, когда деталь переносили на пресс, начинал работать второй подручный Ермаков. Тыртов следил за его

работой. Машинист молота сидел у своего рычага, ожидая следующую деталь, Савин стоял у печи, а Иванов ждал, когда деталь выйдет из-под пресса, чтобы принять ее. В работе была всего одна деталь, и работал один, самое большее два человека. Удалить двоих из бригады? Не выйдет, никак не выйдет. Значит нужно нагрузить их работой.

Раньше кузнец никогда не думал об этом. Кузнец должен знать молот, распознавать материал, следить за тем, чтобы заготовка не перегрелась, во-время поворачивать деталь под штампом и правильно обрезать ее под прессом. У него еще много других обязанностей, всех не перечтешь, но организация технологического процесса, схема движения материала, расстановка людей — это не его дело. Для этого есть начальник смены, инженеры, наконец мастер. Существует долголетняя традиция, существует неписанный, но твердый закон: в работе находится одна деталь.

Нормировщик хронометрирует работу. Он видит, что трое из пяти не работают. Но они не ковыряют в носах и не курят. Они напряженно следят за красным куском металла, за движением его под молотом, за работой кузнеца. Они заняты, и нормировщик записывает: «ручное время — столько-то минут, столько-то секунд...» Он не видит здесь простоя. Ему и в голову не приходит, что работать можно совершенно по-другому. Он твердо знает, сколько ударов в минуту может сделать молот. Тут его не проведешь. Но молот не может работать беспрерывно. Когда подают деталь, молот стоит, и нормировщик записывает: «подготовительное время — столько-то минут, столько-то секунд»... Так создавалась норма. Ее записывали, ее проверяли, просматривали паспорт станка, и начальник цеха, сверив все цифры со своими наблю-

дениями, утверждал их. На основании технических норм составлялся план, по плану давали задание...

Значит, это неправильные нормы, преуменьшенные планы? Но ведь их составляли сведущие в кузнечном деле люди. Они честно делали свое дело, но вкладывали в него мало инициативы, очень мало мысли. Многого они просто не могли заметить. Кузнец лучше их знает и свой молот, и свой пресс, и своих людей... Но кузнец был только кузнецом...

---

13 октября кузнец Иосиф Андреевич Тыртов стал организатором, инициатором новой системы и новых норм. Он лег спать только в два часа ночи, но в голове его был ясный план работы по-новому.

Он мало спал в эту ночь. Нетерпение разбудило его на час раньше обычного. Наскоро позавтракав, он побежал на завод, чтобы проверить свою схему на месте. Он пришел за полчаса до работы, привел в порядок инструменты, проверил, хорошо ли греет печь, не валяется ли чего-нибудь под ногами. Когда собралась его бригада, он решил несколько минут рабочего времени отдать на инструктирование.

— Вот что, товарищи, — сказал он не без волнения,— сегодня мы должны перекрыть норму по крайней мере вдвое. И вот как мы это сделаем: пустим в работу сразу три детали. Придется работать без остановок. Ты, Семен, будешь следить только за печью. Больше ничего. Если раньше у тебя была готова для подачи только одна деталь, теперь их нужно три... Выйдет?

— Попробуем...

— Хорошо. Ты, товарищ Юхатский, — обратился

Иосиф Андреевич к машинисту, — не будешь отходить от рычага молота... И вот еще что: когда ты подымаешь молот в промежутке между одной деталью и другой, ты часто останавливаешь его посредине, а потом, когда нужно ударить, тебе приходится подымать его до конца и только тогда опускать... Пустяки? Ты говоришь — пустяки... Может быть. Мы теряем на этом только секунды... Раньше, при норме в десять деталей, мы теряли на этом сорок, пятьдесят секунд в час, теперь, когда мы утраиваем норму, а мы ее обязательно утроим, мы потеряем целую деталь...

— Я сам не буду отходить от молота,— продолжал Тыртов, — от печи ко мне деталь будет подавать Иванов, а принимать Ермаков. Он сразу будет ставить ее под пресс и сам единолично отвечать за обрезку. Все... Но повторим для ясности: в работе находятся три детали. Одна — в движении, другая — под молотом и третья — под прессом.

14 октября бригада Тыртова выполнила норму на двести десять процентов, 15 октября — на двести тридцать и 16 октября — на триста пятьдесят. Вместо десяти деталей по норме бригада выпустила тридцать пять. Ни одна из них не была забракована. Большинство получило оценку «отлично».

В первый день после знаменательного 13 октября в штамповочном цехе на стахановские методы работы перешло восемнадцать человек, во второй — тридцать восемь, а на четвертый день по-стахановски работало уже восемьдесят восемь человек... Это была не просто интенсификация труда, это была инициативная работа, это было превращение труда в творчество.

Цех, который в 1935 году из месяца в месяц не выходил из прорыва, в октябре перевыполнил программу.

Тридцать человек в октябре выполнили свои нормы в среднем на полтораста процентов. В ноябре в штамповочном цехе было уже шестьдесят пять стахановцев, перевыполнявших свой план в полтора раза, но в целом цех работал в ноябре хуже, чем в октябре, и дал меньше продукции. Руководители цеха и завода не поспевали за рабочими. Появились частые простои по вине отделов снабжения и главного механика... Нашлись и явные саботажники. Один из нормировщиков — Калиновский — заявил, что нормы ошибочны. Он стал задерживать наряды, самовольно снижать расценки и оплачивать работу седьмого разряда по пятому, а пятого — по третьему... Его разоблачили и уволили.

Много различных препятствий оказалось на пути стахановцев... Конечно, они будут сломлены. Это ясно хотя бы из того, что в ноябре в цехе не осталось ни одного рабочего, не выполнявшего нормы, а сто шестьдесят человек из двухсот тридцати значительно их перевыполняли.

Иосифа Андреевича Тыртова правительство, в числе других инициаторов стахановского движения, наградило орденом Трудового красного знамени. Недавно мы беседовали с ним. Скромный по природе человек, он конфузится, когда его поздравляют и расспрашивают.

— У меня очень обыкновенная жизнь, — говорит он, — о чем же мне рассказывать? То, что я сделал, может сделать всякий знающий и любящий свое дело рабочий.

Иосиф Андреевич в свободное время попрежнему много читает и мечтает. Он много думает над организационными усовершенствованиями рабочего места и технологического процесса. По вечерам с ним занимается при-

крепленный к нему инженер. Иосиф Андреевич упорно учится, потому что он и сам хочет стать инженером. Он еще молод, ему всего тридцать четыре года.

— Стало ли труднее работать?

— Нисколько, — отвечает Иосиф Андреевич, — напротив, в работе создался ритм, появилась четкость, которых раньше не было. Каждый член бригады знает свое место и свое дело. Свободного времени в цехе у него не было и раньше, теперь у него нет и потерянного времени... Во всяком случае, — поправляется Иосиф Андреевич, — теперь мы теряем гораздо меньше времени.

Этот тихий худощавый человек в последнее время очень требователен у себя в цехе. Он требует, чтобы заготовка отковывалась точно по размеру и ее не приходилось дважды греть, дважды штамповать и дважды обрезать под прессом. Он требует, чтобы материал заготовки был безупречным. Он требует, чтобы состав его бригады не менялся и, во всяком случае, чтобы никто из его бригады не переводился на другую работу без сотласования с ним. Он требует, наконец, от мастера, начальника смены, чтобы неполадки на прессе и молоте быстро ликвидировались, чтобы клинья изготовлялись строго по размеру и подгонялись без зазоров, чтобы во-время давали качественные штампы.

Правильные требования! И мы уверены, что, если они будут удовлетворены, лучший стахановец завода «Электросталь» Тыртов еще не раз удвоит производительность... Он сам говорит, что «границ и пределов не существует. Мысль работает непрерывно...»

Да, мысль работает!

Лев Кассиль

Иван Гудов и Фриц Вернер

I

Он с гордостью носил через плечо, как аксельбант, сплетенный из пеньки, расхлестанный и смотанный в семь колец кнут. Это было в Западной области в селе Дебри, Плахинского района. Он остался тогда круглым сиротой, прожил два года у двоюродного брата, а потом пошел батрачить, получив звание подпаска. Старшему пастуху было восемнадцать лет. Для трех маленьких подпасков главный выглядел по крайней мере владетельным князем.

Он умел оглушительно щелкать кнутовищем, пел скверные мужичьи песни, и, когда шел по деревне, кнут волочился за ним по пыли, как шлейф.

Из трех маленьких подпасков Гудов был самым маленьким. Спецовка была одна на всех и выдавалась по очереди. Гудов работал «на своих лаптях», так было указано в специальном соглашении, и ему пришлось научиться самому плести себе эту простейшую российскую обувь. Лапти надо было беречь, и утром, выгоняя скотину на росу, сонные подпаски танцовали и подпрыгивали, так как ноги ломило в холодной, мокрой траве. Даже кнутом щелкать надо было экономно, потому что пеньки хозяева не давали, а из чего тогда надвить кнут? Когда трава высыхала, на ней хорошо было задремать, но крепкая затрещина пастуха быстро кончала с самыми лучшими снами. Надо было гнать коров...

Зимой он батрачил, возился с детьми, пеленал, утирал несохнущие их носы, таскал воду, убирал во дворе, погонял лошадей на току.

В семнадцатом году, когда началась голодовка, ему было уже десять лет, и он поехал на Кубань за счастьем. Тогда все ехали. Поехал и Гудов. Он ехал долго, полтора месяца. Он шел пешком, гарцовал на буферах, таился под вагонами, лежал на мешках и на крышах. Однажды он чуть не замерз на платформе.

На Кубани, в станице Шкуринская, он работал у зажиточного казака, большого собачника. Двадцать четыре собаки жили, грызлись, тявкали, лаяли, брехали на его дворе. Здесь Гудов батрачил до двадцатого года, а в начале двадцать первого пришла, как он говорит, «так называемая холера», и Гудов вернулся во-свояси, в село Дебри. Неуютной, нетопленной и раскрытой стояла его

изба. Некоторое время он жил один, а потом поехал на торфоразработки в город Владимир, где пришлось и пни колоть, и воду возить, и еще многое другое делать. Но Гудов не боялся работы, а руки у него с детства были золотые. И народ на торфоразработках оказался подходящий. Было с кем потолковать о жизни и о белом свете.

— Вот там, на болоте, я и мыслить впервые начал, — говорит теперь Гудов.

В двадцать пятом году он попал в Орехово-Зуево. Не было работы, не было квартиры... На бирже труда не имелось шуровщиков, а местному театру дозарезу был нужен шуровщик для отопления.

— Я шуровщик, — сказал Гудов и сам даже не поверил своей смелости.

— А документы у тебя есть? — спросил человек из театра.

— Документов нет, бери на пробу.

Вместе с Гудовым взяли еще двух специалистов, вероятно, столь же сведущих в отоплении, как и Гудов.

В театре не было манометра на котле. Слесарь показал Гудову, как определять давление пара по водомеру. Но один из новоиспеченных шуровщиков неверно перекрыл кран. И вот в первый же день работы Гудова в топке театра произошел взрыв. Взрыв был небольшой, народу в театре еще не было. Но все заволоклось густым паром. Кроме того, на печке спал пьяный истопник. Он испугался, решил, что наступило светопреставление, заплутался в облаках пара и поднял страшный крик. Явился директор театра. Виновника происшествия выгнали, а Гудов остался. Руки у него были золотые, и, кроме того, в нем таилась природная техническая сметка. В короткое время он стал самым лучшим шуровщиком. Здесь он по-

дружился со сторожем Василием Ивановичем Тарасовым. Тарасов был грамотным, читал книжки, засиживался подолгу за учебником. Его раздражала неграмотность Гудова.

— Как можно сейчас быть неграмотным? Давай помогу!

От него Гудов узнал первые буквы и быстро научился читать. Вместе они прошли математику по «прикладному циклу А» Ломоносовского института. Гудов усвоил четыре действия арифметики, одолел проценты, дроби. Мир заполнился теперь для него цифрами и буквами. Он увидел, что вещи и явления имеют свои числовые или письменные правила. Он уже мечтал, где бы это достать такие книжки, где все, что ни есть в мире, высчитано и описано. Об этом они говорили с Тарасовым ночью у горячих котлов театра. Там же они играли в шашки.

— Нам ход прямой в комсомол, — сказал однажды Тарасов. — Давай, Гудов, оба в комсомол, в один день...

В начале двадцать седьмого года оба приятеля вступили в комсомол. Здесь Гудов стал «выявляться». Вскоре он уже был секретарем месткома союза рабис. («Вот уж сроду не думал, что с артистами в одной компании заседать придется!..») Тарасов был председателем. А затем Гудов стал секретарем комсомольской ячейки при уисполкоме. Он мог уже в то время не только читать, но и писать, хотя часто часами не мог разобрать ни строки из только что им самим написанного протокола. Он учился в совпартшколе, а потом его отправили заведывать колонией беспризорников, трудновоспитуемых, дефективных и отсталых ребят на станции Сходня. Не раз приходилось ему отражать нападения бандитов, приезжавших на гастроли на Сходню. Еще больше уходило силы на труд-

ную работу с тяжелыми ребятами, маленькими правонарушителями, находившимися на его попечении.

Тут наступило тяжелое для Гудова время. Но крепко взяла его за шиворот суровая и бдительная, контролирующая, но готовая всегда помочь сестра наша — советская жизнь. Она взяла его за шиворот, тряхнула, и вот 20 августа 1934 года Иван Гудов поступил чернорабочим на Станкостроительный имени Орджоникидзе завод в Москве. В том же пролете, где он своими производственными успехами прославился на всю страну, на весь СССР, в этом же самом пролете он сперва возил телегу с деталями. Он был ударником и один обслуживал весь пролет, но вокруг него стояли сложные станки, пока еще непонятные, как были когда-то непонятны Гудову буквы и цифры. Гудов пошел учиться на производственно-технические курсы. Он преуспевал, и 20 марта тридцать пятого года старый мастер Поляков поставил его на станок. Это был один из самых трудных станков, куда сложнее, чем револьверный. Здесь «надо было знать тангенс, котангенс, синус», но на курсах Гудов успел расхрабриться, и даже такие мудреные слова его уже теперь не пугали. Во все трудные минуты жизни Гудов теперь искал помощи у Оглоблина. Учебник Оглоблина «Фрезерные станки и работа на них» был производственным евангелием, нехитрой энциклопедией, настольной справочной конторой для вчерашнего чернорабочего, еще не совсем ладившего со словесностью и письменностью, но уже научившегося находить помощь книги и пользоваться формулами.

«Фриц Вернер» назывался станок. Это был взыскательный, сложный горизонтально-фрезеровочный станок. На нем можно было делать разные детали — гайку скоростей, муфту переключения, барабан упора и так далее. Не легко дался Гудову этот германец. Первый месяц

Иван Иванович Гудов

он никак не мог выработать больше семидесяти девяти процентов нормы. Не помогал и Оглоблин, не помогали десятичные дроби, синус и тангенс. Капризничал станок, изводил новичка, но уже через четыре месяца Гудов прибрал к рукам упрямого германца и перевыполнил норму, а еще через четыре месяца на этом же станке, теперь покорном и отзывчивом, выработал четыреста десять процентов.

Попрежнему в свободные вечерние часы и утречком, выкроив время до гудка, листал Гудов учебник. Но новые заводские дни открыли Гудову многое из того, чего нельзя было найти пока еще ни в одном учебнике. Сама горячая практика производства, живое движение труда, смелая рабочая догадка, вместившая в себе и веру в свои силы, и сведения из учебника, и пылкую сметку, и хозяйскую озабоченность советского пролетария, породили в Гудове сперва туманную, постепенно оформляющуюся и потом вдруг осознанную производственную мечту — разгадать все тайные свойства станка, заставить его раскрыться перед человеком полностью, извлечь из труда все возможности, а самый эффект работы возвести этим в новую, невиданную степень. Тогда Гудов стал приглядываться к каждому своему движению, присматриваться к каждому процессу, к каждому движению частей машины. Он стал прислушиваться к голосу станка и прикидывать в уме всяческие новшества, упрощения, ускорения и обобщения отдельных работ. Тут надо было взять на заметку, учесть решительно все, начиная от тяжелых оправок, которые вставляются во фрезеруемую гайку, и кончая мельчайшей пылинкой чугунных опилок.

Так стали преображаться и труд и станок Гудова. Прежде на станке был один фрез. Гудов приспособил второй, и теперь в каждом ползке деталь получала уже

не одну, а разом две нарезки, ложбинки, а это сразу сократило ее пребывание в станке в два раза. Пока деталь, скажем, «гайка скорости», обрабатывается, Гудов, добившись запасных оправок, вставляет их в очередные детали и, окончив обработку одной гайки, не теряет ни секунды на подготовку следующей. Подсчитав скорость движения, миллиметры подачи и другие особенности и технические требования станка, Гудов сумел свести в один сложный процесс два других. Этим он еще сократил время обработки детали.

И «Фриц Вернер», капризный иностранец, еще вчера не дававшийся в руки чернорабочему Гудову, изысканный «Фриц Вернер» подчинился, смирился, открыл все, что таилось в его блестящих, смазанных частях, и проявил такую прыть, какой не подозревали ни в одном «Фрице Вернере» в мире.

Даже в цехе № 2 завода имени Орджоникидзе не все поверили в эту новую и подлинную жизнь станка.

Молодая работница Круглушина всегда сменяла на этом станке Гудова. Она была по разряду старше Гудова. Она уже давно работала на заводе, хорошо знала станок, и ей обидными, неграмотными показались посягательства вчерашнего чернорабочего на узаконенную мирную норму машины.

— На это надо иметь львиную силу, чтобы так из станка выжимать, — говорила задорно Круглушина. — Вон он какой здоровый, мордастый, а другой разве справится?

Но Гудов стал доказывать. Он доказывал терпеливо и убедительно. Убеждал словом, доказывал делом, и вскоре он услышал о том, большом, новом, о чем заговорили разом везде — и в газетах, и в цехах, и по радио, и на собраниях, — о стахановском методе.

— Товарищи дорогие, — сказал тогда Гудов, — да ведь я же, выходит, тоже стахановец.

Теперь уже и соседние станки стали равняться и подтягиваться за гудовским «Фрицем Вернером». Уборщица Кулагина, проходя раз мимо гудовского станка и заметив, что Гудов, в затруднении беспомощно отлядываясь, ищет, как бы добыть масла, не останавливая работы, сама побежала за смазкой.

— Стой уж ты! — крикнула она Гудову. — Не след вам, стахановцам, от дела отрываться, сама принесу.

Услуга была на первый взгляд пустяковая, но начальник цеха поблагодарил, отметил Кулагину; за Кулагиной по ее примеру стали действовать и другие уборщицы, и маленькая товарищеская услуга, ставшая системой работы, облегчила и улучшила работу всех станков цеха.

А потом и упрямая Круглушина убедилась, что она тоже наделена «львиной силой». Настал день, когда она далеко обогнала своего учителя. Это был радостный конфуз для нее и комическое конфузное торжество для доказавшего свою правоту Гудова.

Вместе с другими стахановцами он был на приеме у Серго Орджоникидзе, он рассказывал там о своей работе, о своей победе над станком, о своем цехе. Нарком сначала расспрашивал, а потом не выдержал, сам вмешался в речь Гудова.

А потом у Гудова иссякло время по регламенту, он обещал остальное рассказать завтра Сталину и, прощаясь, дал слово на следующий день утром, до того, как ехать в Кремль, перевыполнить норму в три раза.

Он ушел от Орджоникидзе в восемь часов вечера. На утро его застали на своем рабочем месте у станка. Воз-

бужденный, не совсем доспавший (вчера столько было рассказов!) он орудовал на послушном «Фрице Вернере». В час дня позвонили из Московского комитета партии.

— Минутку, — сказал Гудов, — еще две остались.

Не прекращая работу, он оглядел сложенные у станка готовые детали, подсчитал, снял последнюю готовую гайку скоростей, заявил:

— Сказал вчера — выполню триста,— есть триста.

И, отмыв въевшуюся в руки чугунную пыль, надев в красном уголке чистую рубаху, отправился к Сталину.

II

В ноябре ему пришлось выступать на районном партактиве Ленинского района. Тут были все передовики районных заводов. Гудов принят еще в сочувствующие партии, а выступали все коммунисты с большим стажем, и он никак не думал, что ему дадут слово. Но вдруг он услышал:

— Слово имеет первый стахановец района, инициатор движения на заводе имени Орджоникидзе товарищ Гудов.

Его встретили шумно и тепло. Сперва он спотыкался, а потом воодушевился, разошелся и дал обещание сделать за одну смену семьсот деталей, то есть перекрыть задание больше чем на тысячу процентов.

— Уж раз я побывал у Сталина, так добьюсь, — сказал Гудов.

И тогда директор завода Сушков сказал начальнику цеха Червонному:

— Ну что же, заготовьте ему, товарищ Червонный.

Скоро весь завод узнал о дерзком намерении бывшего

пастуха, недавнего чернорабочего Гудова перекрыть немцев и поставить мировой рекорд на «Фрице Вернере». Все ждали, но мало кто верил.

И вот 30 ноября нужные заготовки были сделаны. Гудов явился с семи часов утра. Там уже были начальник цеха, наладчики, техники, мастер. Гудова стали расспрашивать, каким методом он собирается работать, посыпались советы. Гудов попросил не мешать ему и отойти в сторонку. Ровно в восемь часов он приступил к работе. Два хронометражиста отметили время. Гудов начал. Прошло всего тридцать восемь минут, и дневная немецкая норма «Фрица Вернера» была уже выполнена.

— Кроешь, идешь на большом уровне,— сказал Червонный,— не спеши.

Несмотря на рабочий день, вскоре у гудовского станка собралась огромная толпа. Прямо хоть милиционера зови. Зажглись юпитеры, щелкали затворы фотоаппаратов, журчал ящик-треног кинооператора.

Гудов, сосредоточенно улыбаясь, ни на кого не глядя, работал. Он фрезеровал «запорные крышки». Гудов применил свои новые методы. Прежде он обрабатывал одну крышку одним фрезом, сейчас он брал сразу шесть и обрабатывал двумя фрезами. Раньше шесть крышек отнимали пятьдесят одну минуту, теперь он справлялся в три минуты. Собственные фрезы отлично действовали без переточки всю смену. Гудов работал обеими руками. Сперва он пускал самоходку. Когда фрез проходил половину на центр детали, он в это время готовил на столике и подправлял другие детали так, чтобы сразу их можно было взять одним движением. Затем он выключал самоход, так как металла было уже меньше и вручную можно было пройти быстрее. Он давал до ста миллиметров подачи, и все последние минуты обработки

проходил вручную. Выводя обратно деталь одной рукой, он другой захватывал щетку, смахивал стружку и откреплял. Вместо запроектированной скорости резания — шестнадцать метров в минуту — он доходил до тридцати четырех. Тут же у станка стоял контролер-приемщик, придирчивый и требовательный. Он просматривал изготовленные детали и отмечал, что все они сработаны отлично.

Уже за два часа до обеденного перерыва Гудов выполнил тысячу двести процентов нормы. Приехал секретарь райкома товарищ Корытный.

— Ну, Гудов, — сказал Корытный, — ты верно — большевик. Сказал — сделал!

За семь рабочих часов этого дня Гудов поставил неслыханный мировой рекорд, сняв со своего станка семьсот восемь запорных крышек для револьверного станка № 136, выполнив норму на тысячу четыреста тридцать процентов, в четырнадцать с третью раз выше немецких норм. И сдал станок в полной исправности.

Это был настоящий праздник на заводе. У Гудова руки зашлись от крепких дружеских рукопожатий, молодежь скакала и прыгала вокруг него. Ликование перекинулось во все цехи. Славу и честь гудовского подвига разделили наладчик Мотораев, техник Комарова, мастер Шебанов, конструктор Новиков, — все, кто помог Гудову добиться его изумительных показателей.

На другой день Гудов был у руководителя московских большевиков товарища Хрущева. Там были также секретарь Ленинского райкома товарищ Корытный, директор завода Сушков, секретарь заводского парткома Черных.

— Ну, как, устал? — спросил Никита Сергеевич у Гудова.

— Да нет, пожалуй... Работать легче, интереснее, а

когда в интерес входишь, так и утомительности не чувствуешь.

— Ну, а как сегодня?

— Я теперь осмелел, это мне духу придает.

Два часа шла беседа в кабинете Московского комитета партии. Два часа Никита Сергеевич расспрашивал Гудова и присутствовавших товарищей о стахановском движении на заводе и в районе, о работе самого Гудова.

Гудов любит вспоминать об этой встрече и охотно рассказывает о ней.

— Никита Сергеевич особенно интересовался, как это я добился такой невиданной производительности, что нового я тут применил. Ну, я рассказал об этом со всеми подробностями.

После того, как я все это рассказал товарищу Хрущеву, он поинтересовался, над чем я сейчас работаю, просил рассказать о своих мыслях. Я ему откровенно сказал, что рационализаторских-то предложений у меня много, но знаний нехватает, вот и не могу их технически разработать. Никита Сергеевич тут же поручил директору завода товарищу Сушкову прикрепить ко мне для технической помощи опытного инженера.

Очень внимательно товарищ Хрущев отнесся к моему предложению работать без наладчика. Это предложение я думаю провести в жизнь в ближайшие дни. Я хорошо изучил станок, знаю чертеж и наладку. Поэтому иметь специального наладчика, по-моему, не надо.

Потом товарищ Хрущев сказал, что для стахановцев необходимо устраивать курсы и лекции по специальностям. Это очень поможет стахановцам, поднимет их теоретический уровень. Потом еще он заострил внимание на необходимости закреплять результаты работы стаханов-

цев, сделать так, чтобы высокая производительность стала достоянием каждой бригады и всякого цеха.

Два часа мы вот так разговаривали. Товарищ Хрущев сам стал рассказывать о работе на заводах царской России. Много интересных примеров из своей личной жизни приводил, в каких условиях ему приходилось работать на капиталистических предприятиях.

На завод я вернулся в большом настроении духа. Уверенности во мне прибавилось — великая сила. А народ на заводе поджидал меня с нетерпением.

— Ну, как, Гудов, что?..

Провели митинги в цехах, и я рассказал, как было. Это всех сильно взбодрило, общий подъем еще больше пошел...

Гудов жил все время далеко за городом. Каждое утро ему приходилось делать до трамвая около семи километров пешком. Но он ни разу ни на минуту не опоздал на производство. Сейчас завод предоставил ему новую квартиру с полной обстановкой. Незадолго до новоселья он был у меня. Он внимательно оглядывал книжные полки.

— Вот как перееду, первым делом это себе заведу,— сказал он. — Меня уже теперь такая жадность на жизнь одолела, все в мире освоить охота.

Подобно тому как, осваивая станок, рабочий-стахановец стремится извлечь из него все, что он может дать, использовать его до самого технического дна всех заложенных в нем возможностей, использовать его максимально, так приходит за этим желание овладеть и жизнью по-стахановски, извлечь радость из каждой минуты, увеличить емкость бытия, сделать жизнь более умной, более красивой.

...На-днях я поеду к Ивану Ивановичу Гудову в гости на его новую квартиру — поздравить с новосельем и посмотреть на новые книжные полки...

М. Дальцева

Собственные красители

В колористической лаборатории Гнедин встретил старого инженера Василия Ивановича. Старик, поблескивая через пенсне озорными голубыми глазками, сказал:

— Говорят, революцию с сульфон-цианином делаешь? Очень интересно...

Гнедин сжал кулаки в карманах и смолчал. Ему не хотелось ни шутить, ни хвастаться. Он ждал результатов анализа и волновался.

Пришел заведующий лабораторией и, боязливо оглядываясь на Гнедина, показал Василию Ивановичу моточек рыжевато-черной шерсти.

— Цианин негоден!

Василий Иванович повертел моточек в руках и сухо согласился:

— Туповат.

Гнедин вышел на двор и расстегнул воротник. Нехватало воздуха. Ночью шел проливной дождь, и весь двор, как чертеж, был перерезан колеями жирной грязи. Яркое солнце безжалостно освещало серый забор и сломанную зеленую лопату на дороге. Ничего не изменилось. Мог быть цианин, и его нет. Конечно, это чепуха. Он будет. Но проверить сначала шестьдесят фаз составления краски...

Гнедин скрипнул зубами и широким шагом вошел в цех.

Больше всего ему хотелось быть в эту минуту в лаборатории и проверять свой рецепт сульфон-цианина. Но цех не мог работать без начальника. По дороге ему попался подросток с белыми волосами, вяло толкавший ногой бочку.

— Шляпа!— пробормотал Гнедин и, отодвинув мальчишку локтем, нагнулся к бочке. Она покатилась, как по маслу, и малый, повеселев, побежал за ней, стараясь точно повторять движения Гнедина.

В цехе уже знали о неудаче с краской. Сменный инженер, не глядя в глаза, с деланным оживлением рассказывал, как молодцы ребята на два процента перевыполнили план по анил-бродо-Б.

Он утешал, как мог, но у Гнедина скривился рот. Резко, невпопад Гнедин сказал:

— Кто тут работает? Не могут держать рабочего места в порядке. Грязищу развели! Поучили бы вы лучше культурному отношению к делу, чем веселиться по пустякам.

Дома, за обедом на колени влезли дети. Было не до них, но неловкость перед сменным еще не прошла. Поэтому он особенно внимательно расспрашивал ребят про школьные новости.

Дочь получила «очхор» по арифметике, сын рассказывал о каком-то происшествии на занятиях по труду. На минуту отец даже позавидовал им. Как легко все получается у детишек! На дочь он посмотрел почтительно. Вот у нее вышло, а у него...

Он пересадил сына на стул и начал свирепо жевать бифштекс, опустив глаза в тарелку.

«Должно выйти!» Дожевывая на ходу, он надел кепку и пошел в лабораторию.

В светлой и чистой лаборатории все сомнения и колебания сразу исчезли. Что за ромашка — выйдет, не выйдет... Если материя не пропадает, неужели энергия, затраченная на новый рецепт сульфон-цианина, — столько месяцев! — пошла даром?

Как всегда, точно и быстро он одновременно делал несколько дел. Расчищал стол от лишних вещей, доставал из шкафа пробирки и колбы, проверял в уме сомнительные места нового рецепта.

Сульфон-цианин черный-2Б. Он мучил его с тех пор, как он вернулся из Менделеевского института на завод.

Три года с тех пор, как завод отказался от импортных составов, сульфон-цианин был убыточным. За год цех должен был потерять около двухсот тысяч. Безобразно долго — трое суток — составлялся краситель. Безобразно

мало — пятьсот восемьдесят килограммов в сутки — давала гарнитура.

А рецепт! У Гнедина челюсти сводило от скуки, когда он вспоминал методы составления цианина.

— На ночь — загрузить, до обеда — подогреть и растворить, после обеда — подготовить и мешать до утра...

Не работа, а санаторный режим!

Несколько месяцев он потратил на новый рецепт. Сократил фазы составления краски, увеличил мощность гарнитуры...

Хуже всего, что и радость находок и горечь ошибок — все приходилось держать про себя.

До тех пор, пока новый рецепт не был готов на восемьдесят процентов, Гнедин молчал.

Рецепты не изменялись десятки лет, и если бы он преждевременно стал рассказывать о своем плане, можно было бы впасть в тоску от одних шуточек да улыбочек инженеров. В сущности, они не были заинтересованы в том, чтобы поиздеваться над Гнединым, но по инертности не могли себе представить, что можно подойти критически ко всему, что сделано до них.

Когда появилась уверенность в победе, Гнедин рассказал о своих опытах директору. Тот немедленно создал ему все условия для успешной работы.

Началась горячая круглосуточная работа. Гнедин был начальником цеха. Работу в цехе нельзя было оставить. Приходилось сидеть в лаборатории по ночам и в выходные дни.

Наконец, рецепт был закончен. Шестьдесят фаз составления краски были продуманы, проверены со всех сторон.

Пустили в производство — и... цианин оказался «туповат»!

Николай Федорович Гнедин

Приготовив все для работы, Гнедин на минуту задумался. Если ошибка серьезна, если рецепт надо переделывать наново, за дело нужно взяться немедленно!

Пролетарские кадры... Советские инженеры! Эти примелькавшиеся слова, за которыми кое-кто уже перестал видеть живых и не похожих друг на друга людей, для Гнедина были полны свежести. Для него это был титул, заработанный трудом. Перегнать старых инженеров. А для этого главное — упорство. Все остальное — таланты, культура,— все приложится. Главное — не отступать и не киснуть. Движение!

Он взмахнул рукой, задел рукавом колбу и опомнился. Надо было начинать.

Ночью Гнедин вернулся домой еще более собранным и напряженным, чем всегда.

Ошибки не было.

Сколько дней, как одержимый, он вертелся в лаборатории, волнуясь и недоумевая, без конца проверяя одно и то же.

Ошибки не было!

Наконец он решил проверить некоторые операции в цехе. Состав стали размешивать.

Гнедин поглядел на мешалку, и вдруг все стало ясно.

При изменении рецепта некоторые части гарнитуры были сильно увеличены, а мешалки остались прежними. Краска не промешивалась, получался недостаточно интенсивный и прочный цвет.

Как просто!

К радости примешивалось тошноватое чувство разочарования:

— Так просто!

В этот день директор собрал весь технический состав завода и предложил Гнедину рассказать о своей работе.

Гнедин сначала робко, но потом все больше и больше увлекаясь, стал говорить о своих методах, о желании преодолеть техническую рутину, о необходимости риска в изобретательской работе, о презрении к неудачам. По мере его рассказа у слушателей исчезали улыбки, росли тишина и внимание. Становилось ясно, что начинается новая эпоха для завода.

Вечером Гнедин сидел у директора и, кусая губы от волнения, слушал, как тот говорил об огромном размахе работы завода, который дают его открытия.

Он не умел кругло и длинно говорить и отрывисто пробормотал:

— Еще не то будет. Поможете, как раньше,— перевернем весь завод.

И это целиком оправдалось. Завод благодаря работам Гнедина от шести тысяч шестисот тонн проектной мощности перескочил к двенадцати с половиной тысячам тонн.

Через несколько дней черный сульфон начали производить только по новому рецепту. Вместо трех суток составление отнимало всего двенадцать часов. Мощность гарнитуры увеличилась с пятисот восьмидесяти до двух тысяч семисот килограммов.

Гнедин, не теряя ни минуты, начал работать, на этот раз уже с двумя помощниками, над двумя новыми красителями — синим-5Р и синим-ГР. Они вырабатывались на той же гарнитуре. И ее мощность при производстве этих красителей удалось увеличить в три раза.

К концу ноября 1935 года из двадцати двух марок, вырабатываемых цехом, у семнадцати были пересмотрены рецепты, и продукция утроилась.

Гнедин улыбался, бегал из цеха в лабораторию. Домой

приходил только спать. Не замечал усталости, забыл и не понимал, как могут люди отдыхать.

В конце ноября Гнедин попал на съезд стахановцев. Это были замечательные дни.

В упорной работе Гнедин забыл о чувствах. В течение всего года он думал о формулах и цифрах. И вдруг на слете, среди сотен незнакомых людей, он понял, что такое уют, товарищеская близость. Он узнавал себя во всех. Текстильщицы, кожевники высказывали его мысли. Шахтеры, слесаря чувствовали то же, что он.

После слета Гнедин уехал в санаторий.

Через неделю после приезда в санаторий пришли поздравительные телеграммы из Москвы. Николай Федорович Гнедин награжден орденом Трудового красного знамени.

Сам заведующий санаторием через весь сад бежал к нему с первой телеграммой. Этот совершенно незнакомый человек был глубоко обрадован за Гнедина.

В санатории жил знаменитый Кривонос. Почти в тот же час получил телеграмму и он.

Целый день все отдыхающие ходили, как именинники.

Потом в санатории устроили вечер для стахановцев. Гнедин, чувствуя себя в центре общего внимания, смущался.

Работа — другое дело. Но быта он до сих пор не замечал. И то, что посторонних людей волновали его успехи, доводило его до полной растерянности.

Когда он пришел вечером к себе в комнату, в дверь постучали. Вошел молодой инженер с растрепанными волосами.

Немножко заикаясь, он попросил Гнедина... научить его жить.

— Расскажите, как вы стали таким. Как вы сделали себя.

Гнедин почти обрадовался. В самом деле, вряд ли он дождется случая еще раз отдаться воспоминаниям!

А вспоминать было что.

— В начале войны мне было десять лет, — начал он. — Жил в деревне. Отец работал в Москве на стройках. Семью в барак не пускали.

Надела почти никакого у нас не было, и меня отдали в пастухи. Я маленьким очень любил играть в бабки, но ребята почти всегда выгоняли из игры. Придерутся к плохой бабке, задразнят рваной рубашкой. В церкви и то щипали. В наделах они разбирались не хуже своих отцов, и бедность нашу я почувствовал крепко...

Скоро отца угнали на фронт, а я переехал в город и поступил мальчиком в извозчичий трактир. Жалованье — три рубля. На обед — суп из ржавой селедки. Извозчики брали пару чая, калач и порцию колбасы. Объедки полагалось сдавать буфетчику. Он прятал их на чердаке и продавал нищим. Я залезал на чердак и воровал засохшие кусочки калачей и зеленые колбасные объедки. Товарищи были смелее. Бывало, таскали деньги из карманов у пьяных извозчиков, два раза получали по одному счету...

В восемнадцатом году от голода уехал в деревню, поступил в батраки.

Очень хотелось в комсомол. Лучшие ребята в деревне были комсомольцами. Но хозяин сказал наотрез, что комсомольца не пустит через порог. Такие были времена! Не выдержал, поехал в Донбасс, стал шахтером. Тут уж и вступил в комсомол. Начал кое в чем разбираться, темноту свою прояснять.

В двадцать четвертом году приехал в Москву и по-

ступил на Дербеневский химический завод имени Сталина дворовым рабочим. При заводе были профтехнические курсы, а я еще в Донбассе решил учиться.

С учением дело сразу пошло на лад, оказались большие способности в химии. Учиться было интересно, но заедали мелочи.

Завод стоял на Дербеневской набережной, а жил я в Марьиной Роще. Занятия же на курсах были от пяти до восьми. Завод работал в три смены. Приходилось работать в первой или третьей, чтобы успевать на курсы. Иногда, кончив работу в восемь утра, я, как неприкаянный, до пяти вечера болтался во дворе. Тащиться домой через весь город, чтобы через час итти обратно, — не стоило. Ездить в трамвае — роскошь. Дома жена, ребенок, младшие брат и сестра, а работник я один. Было трудно жить на стипендию в сто пятьдесят рублей с тремя детьми и женой, еще труднее было работать и учиться сразу, но ни одно препятствие так не мучило, как эта скованность расстоянием.

На курсах показал способности. Стали продвигать и на заводе. Сначала сделали подсобным рабочим в цехе, потом помощником аппаратчика, аппаратчиком, мастером. В это же время поступил в химический техникум на вечернее отделение.

Заниматься было очень тяжело. Никакой общей подготовки — полтора класса сельской школы. Времени на учебу после завода не оставалось. Месяцами не видел детей. Уйдешь — спят, придешь — спят. Даже будил их иногда, чтобы поговорить.

Завод послал в Менделеевский институт. Четыре года в институте. Потом снова на свой завод.

Когда я вспоминаю своего отца, когда я думаю о том, кем бы я был в прежнее время, дрожь пробирает: а

вдруг бы так случилось! И сейчас еще я помню изъеденную бабку и рваную на плече рубашку...

И вот теперь я хочу только работать. Мне думается, что жизни нехватит, чтобы отплатить стране за все, чем я ей обязан.

Через несколько дней Гнедина вызвали на завод. На вокзале его встретил начальник треста с букетом. Неловко, как свечку, держал букет в автомобиле перед собой Гнедин. Первый раз в жизни ему подарили цветы, и впервые он задумался о них.

— В сущности, я делаю краски для текстиля. Украшаю жизнь человека. А в цветах самые настоящие, самые нежные краски. И сколько еще на свете приятных вещей. Какая замечательная жизнь!..

Татьяна Тэсс

Место под солнцем

Есть такое село — Хавки. Оно находится близ города Венева. Сейчас у этого города своеобразная известность. Он знаменит своим театром. Маленький город с пустынными, широкими улицами, с розовым дымом, летящим над низкими крышами,— осенен пышной театральной славой. Он знает волнение премьер, сухой и тревожный шелест занавеса, аплодисменты и овации. Завзятые театралы едут на спектакль из колхозов, закутавшись в овчинные тулупы. Иные, кому поближе, просто идут пешком по снежному полю, по

сугробам, по дороге, укатанной санками до лоснящейся голубизны... Театр пришел сюда вместе с новой жизнью, жизнью полноценной и веселой.

В ту пору все было иначе. Стояло село по уши в снегу, знало труд и сон. И когда в село приезжала мать, рассказы ее были удивительны и непонятны.

— Москва...— говорила она с уважением и гордостью.

За этим словом вставали блеск, гуденье, шумные и незнакомые просторы. Уже то, что она жила в Москве, уменье обращаться со всей этой сложной и опасной системой города, были удивительны. Мать приезжала редко.

Детей было много. Всех нянчила старшая. Дети подрастали, мать по одному забирала их в город. Отец уже работал там на заводе. Между делом старшая бегала в сельскую школу. Ученья было в обрез. Любознательность оставалась неутоленной. Старшая росла трудолюбивой, горячей и аккуратной в работе. Наконец наступил день, когда пришел и ее черед ехать в Москву.

Ей уже было девятнадцать лет. Она ехала одна. В Вене ее усадили в поезд, шумный и тесный поезд дальнего следования. Была ночь. Кругом торчали чужие ноги в сапогах, в чулках, в валенках, люди спали, кто как умел. Одни бочком, как бы стыдясь сна, другие укрывшись с головою, третьи на спине, бесстыдно открыв лицо с размягченными мускулами, сопя, бормоча и облизываясь. Очень одиноко человеку, окруженному спящими.

Озираясь, она сидела в углу. Поезд трясло на стыках, он трещал и качался. Храп заполнял вагон. Прошел проводник, строго, как хозяин путешествия. Не выдержав, она вскочила с места, пробежала по узкому коридорчику. Дверь поддалась с трудом. За ней стоял воздух, такой холодный и чистый, что перехватило дыхание.

Синее небо мчалось назад, — небо, полное звезд и сияния. Она стала на подножку. Высокий снег лежал вокруг. Далеко впереди были огни, трепещущие и крупные.

— Москва,— подумала она и засмеялась.— Ну, ей-богу, Москва!..

В это время на площадку вышел кондуктор и оштрафовал ее.

В Москву она приехала на рассвете. Ее встретила мать. Девушка шла по улицам, молчаливая от волнения.

— Ну, что с тобой будем делать... — сказала мать и поглядела на нее. — Ты только на думки богатая. А работы никакой не знаешь, горе мое...

Что можно было ей делать в Москве? Она мечтала о столице, дрожа и волнуясь. И вот она приехала, но в этом городе у нее нет своего места. Она даже не знает, чего ей хотеть. Кругом нее все работают, — удивительно, сколько разновидностей труда на этом свете! Раскрыв глаза, она глядела на кондукторов, на шоферов, на продавщиц в магазинах, на монтеров, на счетоводов. Она ничего не умела. Она не понимала, как и где можно учиться новой работе. Огромная жизнь проносилась мимо, она стояла в стороне. Оглядевшись, она заплакала навзрыд.

Через неделю мать определила ее на фабрику Москвошвея. Ее взяли уборщицей. Она мыла полы с яростным трудолюбием. Кругом, как огромные кузнечики, стрекотали машины. Она присматривалась к работе. Нет, не лежала к ней душа. Это было чуждое ей дело, руки к нему не тянулись. Сноровка других оставляла ее равнодушной, она не завидовала им. Она продолжала мыть полы. Мать махнула на нее рукой.

По вечерам к ним иногда приходил один московский родич. Это был человек веселого и шумного нрава. По

профессии он был пекарь и работал на хлебозаводе. Он рассказывал о своей работе. Незадачливая швея слушала его, раскрыв глаза. Росло пухлое тесто, оно лезло из чанов, его нужно было месить, катать в муке, из него можно было делать веселый и легкий хлеб. Впервые услышала она смешное и странное слово «хала».

— Хала! — повторила она и засмеялась.

Вот это труд. Она ощущала, как ползет между пальцами упругое, скрипящее тесто. Когда тесто совсем готово, оно пищит под руками. Снова она засмеялась.

— Дядя,— сказала она неожиданно,— голубчик, устрой меня к себе на работу...

Что она умела делать? Ничего!

Ее устроили в экспедицию. Она возила хлеб на тележках. Хлеба было много, разных сортов. Она не знала этих названий.

— Булка... — твердила она. — Батон, хала...

Она путалась, краснея от стыда и смущения. Кругом нее порхали руки, покрытые мукой, пухлые хлеба бежали по конвейеру. Кто знал, как нестерпимо хотела она учиться! Наконец, набравшись храбрости, она пошла к мастеру. Ее взяли в обучение.

Больше года назад, 1 января 1935 года, были упразднены хлебные карточки. Открылась свободная продажа хлеба, выбор его стал обширен и разнообразен. Этот день, 1 января, был первым днем новой работы девушки из села Хавки, когда она, Нина Самойлова, стала у конвейера хлебозавода № 4.

Хлебозавод обладает неким особым производственным уютом. Вот начинает работать смена. По длинной лестнице идут девчата в белых длинных штанах и широких

Нина Филипповна Самойлова

куртках, в круглых шапочках матросского образца. Только что все они приняли душ, их лица свежи и розовы. В огромных чанах пузырится важное тесто. Порхают нежнейшие запахи — изюм, тмин, корица. Это почти сказочный завод, такой может присниться в детстве. Молочные реки, кисельные берега... Конвейер, по которому плывут жаворонки с изюмом вместо глаз и кусочками ванили в клюве. Работницы с белыми руками и ноттями, блещущими маникюром. Они похожи на андерсеновских персонажей, эти веселые, опрятные девушки, обсыпанные мукой и сахарной пудрой. Это вкусный завод,— весь, с жаром своих печей, со сладкими запахами, с хрустом румяных теплых корок...

Так Нина Самойлова впервые заняла место у конвейера. Она огляделась по-хозяйски, проверила, вдоволь ли муки, подняла руку и, — впервые в жизни, — взяла четыре кусочка теста, из которых должна родиться на свет булка со смешным названием «хала».

— Хала!— повторила она и засмеялась. Сердце ее билось неровно.

По конвейеру плывут небольшие кусочки теста. Из каждого такого кусочка нужно сделать жгут, склеить вместе концы четырех жгутов и затем переплести их. Так рождается на свет хала.

Нехитрый этот процесс требует ряда движений. Постепенно Нина вырабатывала в себе рабочую повадку, особый ритм и темп этих движений. Она пробовала, меняла, приноравливалась. Норма была невысока—шестьсот четырнадцать хал. Нина справлялась с такой нормой без напряжения. Но она искала той особой сухости и четкости каждого движения, которые обеспечивают подлинную продуктивность труда.

Для того чтобы сделать жгут, кусок теста нужно раскатать. Так начинается работа. Нина Самойлова подымает правую руку, берет кусок теста и ударяет им о стол. Это движение дает ритм всей работе, делает ее равномерной. Но в нем есть и технологический смысл: кусок теста разминается. Затем коротким движением обеих ладоней Нина раскатывает тесто. Это второе движение,— и конец его Самойлова использует как толчок для направления жгута на место, где должны собраться и все остальные жгуты.

Работая, она приглядывалась. Как удобнее стоять у конвейера? Какой рукой удобнее брать тесто? Она старалась сделать работу наиболее удобной и естественной для себя, чувствуя, что одновременно она будет и наиболее продуктивной. Нина установила: склеивать концы жгутов нужно движением всех пальцев обеих рук, но прижимать их нужно только левой. В это время правая, более сильная, свободна. И в этот самый миг, не теряя ни секунды, можно свободной правой рукой начинать плести жгуты, как пушистую косу, перебрасывая и скрепляя.

После работы она наблюдала, как работают другие. Она видела: они подолгу раскатывают тесто, они отодвигают его медленней, они тротают его то правой рукой, то левой. Порой они суетятся, перекладывают из одной руки в другую. Они работают быстро, но ритм работы сбивчив, и время иногда уходит зря. Нет, они работают медленней, ее система правильна. Она убеждалась в этом с каждым днем все больше.

Движения ее приобрели почти музыкальную ритмичность. В этой быстроте было спокойствие, в этом ритме — легкость. Она работала с увлечением, с весельем. Ее огорчала только невозможность проверить себя,

узнать, насколько она работает быстрее, чем другие. Учет работы велся по всей бригаде, на крут. Но она работала быстрее, — углом глаза она следила за своими соседками. Однако, как проверить это? Было принято считать, что индивидуальный учет слишком сложен. Никто не хотел оспаривать это утверждение.

Только после того, как все производство всколыхнул новый метод работы, который получил название стахановского, только тогда, когда разлилось это могучее движение, изменившее все старые рабочие нормы, вдруг нашелся способ учесть труд каждой работницы. Он оказался, кстати, чрезвычайно простым. Учетчица раздает каждой работнице определенное количество небольших, обсыпанных мукою дощечек. На каждую дощечку надо уложить две халы и поставить ее на конвейер. В своей карточке учетчица отмечает, сколько дощечек у нее взяла каждая работница. Все очень просто.

Окончив работу, Нина опрометью побежала к учетчице.

— Сколько? — спросила она. — Ну, сколько же?

Учетчица посмотрела, брови ее поднялись.

— Ну-ну! — сказала она. — Тысяча пятьсот тридцать штук, голуба. Вот так дела!

На следующий день Нина сделала тысячу пятьсот девяносто штук, затем тысячу шестьсот сорок, тысячу шестьсот девяносто. Метод Стаханова многому научил ее. Труд раскрылся ей по-новому. Выработка увеличивалась с каждым днем. Вместо шести-семи рублей в день она стала зарабатывать восемнадцать.

Это уже была настоящая работа. Руки ее двигались с виртуозной быстротой. Это была та техника труда, при которой каждое движение исполнено особым блеском почти изяществом.

Кончая работу, она, как бы очнувшись, окидывала взглядом длинный белый стол. Вздративая, конвейер уносил последнюю сделанную ею булку.

Работа увлекала ее. Точность и чистота движений радовали необычайно. Стряхнув с рук муку, легкой походкой шла она от стола, — тоненькая, маленькая девушка в длинных белых штанах. Высокий темп работы не обременял ее усталостью.

Сама работа радовала ее, — это было главное в жизни. А когда ей сообщили, что правительство наградило ее орденом Трудового красного знамени, Нина смутилась до слез. Она нашла настоящую работу. И вот ее наградили за то, что стало ее счастьем, — за мастерство труда.

Ее жизнь стала предельно богатой. Самойлова увидала величайших людей нашей страны, она слышала речь вождя, она получила орден. Откуда, в самом деле, столько счастья для одной маленькой девушки? Она учится, много читает, мир расцветает для нее новыми красками.

Завод премировал ее комнатой в новом доме и полной обстановкой. После работы пришли девчата, они вместе вымыли окна, убрали, расставили мебель.

— Когда же ты переедешь?

— Страшно... — говорит Нина. Улыбка трогает нежное это девичье лицо. — Ой, страшно даже...

Ритм ее движений точен, почти певуч. Быстрота даже несколько ошеломляет вначале, кажется изнурительной, непосильной. Но когда приглядываешься к этой быстроте, она уже не пугает, а восхищает. Удивительно органична эта совершенная техника труда.

Самойлова работает так, как бежит хороший бегун по спортивной дорожке, — быстро, ритмично, без рывков. У нее есть своя, определенная ею самой «дистанция», и

с какой прекрасной четкостью Нина ее проходит! Выработка растет. Она составляет уже до двух тысяч хал в день.

И когда глядишь на лицо Нины Самойловой, видишь: она работает с наслаждением. Это наслаждение творчества, это радость мастерства.

Ю. Шатуров

Рассказ с примечаниями

Титул этого человека внушителен: Замков Николай Степанович, арматурщик, участник строительств текстильной фабрики на станции Куровская Московско-Казанской железной дороги, химического комбината в Воскресенске, фабрик треста «ТЭЖЭ» в Москве, цехов Коломенского машиностроительного завода имени Куйбышева и многих других фабрик и заводов Советской страны.

Здесь нужна не точка, а запятая. Недавно Замков вписал в свой послужной список больших и честных трудовых дел новые строчки.

Полный титул этого человека заканчивается теперь такими словами: поставивший мировой рекорд гнутья арматурного железа на электрогибмашине.

С Николаем Степановичем нам довелось встретиться на арматурном дворе строительной площадки Коломенского завода. Замков медленно кружил вокруг штабелей черных, словно обугливщихся, железных прутьев, то длинных, то коротких, то толстых, как газовые трубы, то тонких, как хлыст.

— Опять придется работать часика два, не больше, — смущенно объяснил он.— Который день нехватает железа. Моя «Футура» привыкла к другому рациону. Ей надо подать самое меньшее тонн пятьдесят!

Через десять минут мы познакомились и с «Футурой».

Звучное имя это присвоено неказистому с виду станку, сжатому с двух сторон столами-верстаками. Сбоку чернеет кожух электромотора, а нижняя рама станка снабжена двумя педалями. От этого в полутьме очертания «Футуры» напоминали бы рояль, если бы не металлический тяжелый, несколько вытянутый в сторону диск с отверстиями, надетый на верхнюю плоскость станка.

Замков быстрым движением включил рубильник, зажужжал мотор, массивное тело станка пришло в движение. Нажим левой ноги на одну педаль, на другую, и диск плавно тронулся, описывая круг по часовой стрелке.

Почти неуловимое движение ноги, легкий натиск, скорее прикосновение к педалям, и диск возвратился в исходное положение.

«Футура» была послушна. Педали подавали ей сигналы, и тяжелый диск с не менее звучным, чем у самого станка, именем — «гитара» — то вращался вправо и влево, то застывал на месте.

Николай Степанович был явно доволен своей «подругой».

— На этом станке я поставил мировой рекорд. Очень послушный, дельный станок.

Разговор продолжался дальше в комнатке, тесной, как ящик, рядом с «цехом» — досчатым сараем, где стоит «Футура».

Мы пододвинули табуретки к печке.

Замков повернул к огню свое худощавое лицо.

Приводной станок «СМ-28», или электрогибмашина марки «Футура», стоял за дверью, в углу тепляка. Но здесь о «Футуре» говорили, как о живом человеке, взвешивая ее достоинства, посмеиваясь над недостатками, и улыбались, вспоминая проказы «Футуры», ее капризы и упрямство.

— На «Футуре», на станке, — рассказывал Николай Степанович, — я работаю недавно, с весны тридцать пятого года. До этого не один год гнул прутья вручную, а она, — он кивнул в сторону двери, — стояла на центральном складе. Вышло, так сказать, случайное знакомство.

Отыскал станок наш молодой инженер Казаков, он тоже работает, как и я, в третьей конторе Заводостроя.

Выволокли машину на воздух. Ржавчина, пыль в палец толщиной. Окружили станок люди, словно картину в музее. Что с ним будешь делать?

Тут инженер Казаков при всех говорит мне:

— Посчастливилось тебе, Николай Степанович, становись за станок, не пожалеешь.

Я — на попятный. Гнул железо вручную, годами не выпускал ключа из рук, а тут — за станок! Не по себе как-то.

Отнекиваюсь, как самый заправский антимеханизатор. Спрашиваю:

— А какая норма на нем?

Казаков отыскал паспорт, перелистал республиканский справочник норм.

— Две тысячи восемьдесят четыре килограмма в смену.

А надо сказать, что вручную гнули по восемьсот тридцать три килограмма в день. Норма такая установилась издавна.

Я отнекиваюсь. Казаков из молодых, да упорный, не отстает:

— Берись, Замков, — и все тут.

Признаться, две тонны на таком станке мне показалось немного. Я еще подумал, походил и взялся.

(Здесь мы перебьем Николая Степановича. Он, по собственному слову его, годы не выпускавший ключа из рук, чересчур скупо и неохотно рассказал о способах гнутья вручную.

Способ этот до последнего времени был очень распространен на многочисленных строительных площадках страны. На верстаке, местами обитом кровельным железом, устанавливают штыри или скобы, в отверстия вдевают железные пруты.

Нажим тяжелым ключом — и прут медленно изгибается в назначенном месте.

Один и тот же прут, если требовалась сложная арматурная фигура, гнули по нескольку раз. Круглое железо не поддавалось усилиям рук одного человека, и тогда на рукоятку всем телом наваливались четверо, пятеро.

Таким дедовским способом, изнурительным и

непроизводительным, работал и арматурщик Николай Замков.

Потом, еще до «Футуры», он перешел на ручной арматурный станок. Но и здесь было не легче. С железом больших диаметров, начиная с двадцати пяти миллиметров, возились не меньше чем втроем. Гнутье вручную и норма — восемьсот тридцать три килограмма в смену на рабочего — это яркий показатель отсталости и кустарщины в арматурном деле, безотрадный итог привязанности строителей-инженеров и руководителей строек к старо-дедовским, варварским методам работы, дань антимеханизаторским тенденциям.)

— Через месяц-другой,— возобновляет разговор Николай Степанович,— я изучил характер станка. Научился справляться с его капризами.

Нашей стройке нужна арматура самых разных размеров, диаметров и фигур. Наверно, эти самые две тысячи восемьдесят четыре килограмма действительно ничего не стоящая норма, потому что в июле — августе я перекрывал ее без всякого труда.

Но надо сказать прямо: и на «Футуре» работать было трудно. Рычаг ручного управления, как и накладной ключ, не поддавался руке. Тогда пускалась в ход левая нога. Иногда и это не помогало. На помощь призывали лом.

На все это уходило немало рабочего времени. А потом, как и раньше, при гнутье вручную, я сам подтаскивал к верстаку и поднимал длинные железные пруты весом до двух пудов. Станок больше стоял, чем работал.

Я уже понимал, что дело сильно хромает. Но толком ничего придумать не мог.

Николай Степанович Замков

(Николай Степанович или упустил или из скромности умолчал о борьбе, которую он вел против старых, явно заниженных норм.

Инженеры, теоретики-специалисты в книгах-пособиях по арматурному делу — машинному способу гнутья уделяли не больше одной-двух страничек. А ручному, непродуктивному — целые главы. Инженер Гельбарт в книге «Что должен знать арматурщик» прямо писал:

«Арматурщик низшей квалификации работает под руководством более опытных рабочих, выполняя несложные работы, требующие достаточной физической силы (рабочий по рубке и гнутью средней и тяжелой арматуры)».

Замков восстал против так называемой «технически обоснованной» нормы и против этой «теории», которая была наруку консерваторам от техники.)

— Дорогу мне показал Стаханов, — рассказывал нам Замков. — Вот человек, который просто и ясно ответил на мои вопросы. Правда, я уже был готов с одного слова понять его. Стахановский молоток оказался сигналом. Так бывает перед боем: бойцы на-чеку, винтовки заряжены, нужен только знак командира.

Стаханов вернул меня к мыслям о работе по-новому.

Предположим, — рассуждал я про себя, — что сарай мой — это шахта. Электрогибмашина, конечно, не новенький отбойный молоток, изготовленный на советском заводе в Ленинграде. Но оставим это на минуту в стороне. А железные пруты, скажем, не что иное, как угольный пласт.

Что сделал Стаханов?

Он заставил молоток работать в полную силу все шесть честных шахтерских часов.

Как он добился этого?

Разделил труд в бригаде. Забойщик — рубает, крепильщик — крепит, откатчик — отвозит. Все на своих местах, все ясно. И посмотрите, как заговорил молоток в руках Стаханова. На всю страну!

Что, если бы Стаханова поставили у моего станка? За что бы он взялся?

Конечно, прежде всего надо добиваться бесперебойной работы «Футуры» все четыреста восемьдесят минут. Арматурщик не должен отходить от рычага, так же как забойщик от отбойного молотка.

Забойщику лес ставят крепильщики. Пусть и арматурщику прутья подносят подручные. Забойщик не вывозит уголь сам из забоя. Почему же квалифицированный арматурщик должен сам оттаскивать прутья в штабель?

Так думал я, на все лады прикидывая одну и ту же мысль.

Речь товарища Сталина на всесоюзном совещании стахановцев подняла меня на ноги. Я взялся за свой план. В помощь себе позвал подручных — Григория Дмитриевича Куликова и Петра Дмитриевича Орлова.

С Орловым я еще в тридцать втором году установил рекорд вязки арматуры, перегнав магнитогорцев. Человек стоящий. Крепко любит работу.

15 декабря втроем мы раненько пришли в «цех», заранее условились, какие партии пойдут на станок, какие фигуры будем гнуть.

В конце дня нас поздравляли:

Мировой рекорд! Согнули без малого двадцать одну тонну.

(На первом мировом рекорде арматурщика Замкова следовало бы остановиться подробнее. 15 декабря Замков с двумя подсобниками согнул на приводном станке типа «СМ-28» двадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть килограммов арматурного железа. Это больше двух с половиной тысяч процентов нормы ручного гнутья.

Гнулись, как обычно, прутья различной длины, диаметров и фигур. Следовательно, часть рабочего времени в этот день Замков потратил на неоднократное переналаживание станка.

Любопытно, что производительность труда возрастала из часа в час. Замков согнул в первый час работы сто тридцать два прута, во второй — сто шестьдесят шесть, в третий — сто семьдесят девять и в четвертый — перед обеденным перерывом — двести сорок пять прутьев.

Через сорок минут после гудка Замков перешагнул «технически обоснованную» дневную норму.

Это была победа трезвого расчета, тщательной подготовки производства, экономии в движениях, точности в приемах работы и безукоризненного знания станка.)

— Меня спрашивали: как себя чувствуешь? Не тяжело ли?

Я говорил:

— Как всегда. Разве что — еще немножко победителем.

Но мыслями возвращался к своей «Футуре». Как бы выжать из нее все, что можно? Работал я быстро, точно и спокойно. Тут уж переделывать было нечего. Но что было в этом толку, если за мной просто не поспевал станок!

(Здесь Николай Степанович, улыбаясь, поделился несколькими примерами из житейской практики. Он говорил об умении итти в ногу, в шаг с людьми и вещами. Примеры эти, простые и яркие, помогают понять многое во взглядах арматурщика Замкова на труд как почетное и славное дело человека.

Мы намеренно опускаем, с согласия Николая Степановича, эту часть его рассказа, чтобы полнее осветить вторую и решающую победу арматурщика.)

— Я начал с того,— Николай Степанович, откинувшись от пылающей печки, загибает пальцы, — что, во-первых, перевел ручное управление станка на ножное. Что это дало?

Освободились мои руки, облегчилось управление «Футурой», сберегаются мои силы.

Во-вторых, немало времени я потратил на ускорение хода станка. «Футура» за мной не поспевала. Надо было помочь ей догнать меня.

В-третьих, я и подносчики очень уставали от подтаскиванья прутьев по верстаку к пальцам «гитары».

В-четвертых, трение железа о башмаки, — помните металлические упоры, куда закладываются прутья? — съедало много электроэнергии.

Я решил не приспосабливаться больше к «Футуре», а ее приспособить к себе. Все работники площадки, начиная с начальника строительства товарища Дворникова, секретаря парткома Быкова, механика Истратова и прораба Петрищева, помогали мне реконструировать станок. И дела наши здорово пошли в гору.

Устроили ножные педали, а к ним приделали противовес. Чуть нажмешь ногой — «гитара» идет то вправо, то

влево. А чтобы облегчить движение, мы ее укоротили, так что теперь она и на гитару-то не походит,

Для повышенных скоростей потребовался другой мотор. Старый был на четыре с половиной лошадиных силы. Мы заменили его десятисильным, дающим тысячу четыреста двадцать оборотов в минуту. Поставили и новую шестерню. В прежней было тридцать зубьев, а в нынешней — сорок.

Верстаки оборудовали роликами. Положишь прут на валики, подтолкнешь его, он свистит себе и скользит прямо к пальцам «гитары».

Тут, проверив на ходу свою «Футуру», я почувствовал себя настоящим хозяином станка.

(Мы не будем вдаваться в технические подробности реконструкции станка «СМ-28» по проекту арматурщика Николая Замкова. Его опыт радостен и плодотворен.

В паспорте электрогибмашины значится: количество оборотов «гитары» — два с третью в минуту. На таких скоростях работают станки марки «Футура» не только в Союзе, но и за границей, обладающей немалым опытом в арматурном деле.

Николай Степанович зачеркнул эту цифру и вписал новую: без четырех сотых — пять оборотов в минуту. На этой подлинно стахановской скорости пока работает только один станок в мире — замковский.

Попутно нам хочется напомнить те принципиальные и глубоко характерные черты могучего стахановского движения, которые сказались и в творческом подвиге Николая Степановича. Товарищ Сталин в своей речи на всесоюзном совещании стахановцев сказал:

«Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?»

Работа Замкова — волнующий пример того, как в нашей стране стираются грани между этими двумя видами труда.)

— О новом мировом рекорде рассказывать долго не буду, — все так же ровно, медленно продолжал Николай Степанович.

31 декабря я и подручные пришли на работу за пятнадцать минут до начала. Мои ребята понимают каждое мое движение. Говорить долго не приходится. Мы обсудили, в каком порядке гнуть фигуры, какие партии двигать к станку.

Только засипел гудок, я включил рубильник, шагнул к «Футуре». Нога на педали, «гитара» отходит вправо по часовой стрелке. По роликам верстака ползут к пальцам «гитары», словно связанные, прутья — по два и по три вместе.

Руки мои свободны, и прутья быстро передвигаются от верстака к верстаку и к штабелям позади станка.

«Футура» приняла новые темпы.

Скоро мой «цех» стал походить на склад готовой продукции. Раньше никогда тут не скоплялось столько металла.

Через двадцать минут мне крикнули:

— Замков, норма!

Я кивнул головой, не отрываясь от управления. Пока первый подсобный подравнивал концы прутьев, другой укладывал готовую партию в штабель, он же поддерживал прут при изгибе. Работать было легко, я не чувствовал никакой усталости. А ведь прежде моей левой ноге доставалось изрядно!

Кончили смену, нас окружили, стали поздравлять.

— Здорово!

— Вот это рекорд!

— Пятьдесят одна тонна!

Мне стало как-то очень хорошо. Я громко рассмеялся.

(Мы позволим себе дополнить историю рекорда товарища Замкова несколькими сухими данными.

31 декабря тридцать пятого года, в канун наступавшего стахановского года, арматурщик Замков согнул пятьдесят одну тысячу сто восемь килограммов арматурного железа.

Он дал шесть тысяч сто тридцать шесть процентов нормы гнутья вручную, или две тысячи четыреста пятьдесят два процента нормы гнутья механического. Арматура шла восемнадцати различных видов и размеров, длиной от двухсот пятидесяти до восьмисот пятнадцати сантиметров.

В этот день Замков заработал триста двадцать пять рублей — больше, чем зарабатывал полгода назад за месяц.

Арматурщик Замков коренным образом реорганизовал процесс производства, по-новому расставил рабочую силу, разработал точные приемы и движения для всего цикла гнутья.

Он рассказывает об этом в своей книжке «Двадцать пять заграничных норм в смену», названной так потому, что, действительно, ровно столько норм выполнило 31 декабря звено арматурщика Замкова третьей конторы Заводостроя.)

— Самого меня этот результат не удовлетворил. Пятьдесят одну тонну в смену может давать каждый арматурщик изо дня в день. А я мечу дальше. Я еще не свел всех счетов со своей «Футурой»!

В запасе у меня резервы, которые я скоро двину в дело. Раскиньте умом сами: гнул я арматуру восемнадцати видов, значит, не раз переналаживал станок. А время-то течет, нас не спрашивает. Что же будет, если гнуть прутья только одного вида изгиба?..

Мы покидаем теплушку. Печка давно остыла, за воротник ползет холод. Николай Степанович на прощание снова подходит к «Футуре». Ток включен, Замков перебирает педали, как велосипедист. «Гитара» описывает полукруги вправо и влево.

С сожалением он отрывается от станка.

— Пойдемте ко мне. Посмотрите новую квартиру, познакомитесь с ребятами моими — Виктором и Александром... Послушаем патефон — мою премию за первый рекорд...

На пути к поселку, заглядывая в лицо, он спрашивает, словно о дорогом ему человеке, о своей «Футуре»:

— Что, понравилась? Золотой станок!

М. Стасенко

Комсомольский активист

Вокруг — гул оживленных голосов, девичий смех. Перед глазами — в окне — грязно-серое, как брезент, небо и на нем две черные точки — самолеты. Они двигаются вперед, меняются местами, кружат один над другим.

По морям играя носится
С миноносцем миноносица...

Василий Алексеевич повторяет эти шуточные строчки Маяковского несколько раз, почти вслух. Очень удобная

скороговорка. Его пятилетняя дочка услышала случайно эти стихи в клубе и постоянно поет их своему плюшевому Мишке.

Чего только не лезет в голову! А ведь через полчаса, может быть, через несколько минут, надо выступать. Почему-то трудно собраться с мыслями, вместо нужных слов — какая-то миноносица.

Через полчаса товарищ Толстоусов стоит на эстраде. Он волнуется. Его речь будут слушать тысячи стахановцев, тысячи лучших людей страны. Через несколько дней вся страна прочтет ее в газетах. Он волнуется, но это волнение нисколько не похоже на боязнь. Это взволнованность человека, обязанного сказать самое важное и значительное о своем деле.

Он начинает:

— От каждого винтика зависит работа самолета и его скорость. От каждого винтика зависит жизнь людей, находящихся на самолете. Я — рабочий винтового цеха. На мне и на моих товарищах лежит огромная ответственность...

Василий Алексеевич с честью несет эту ответственность. Он не дает ни одного процента брака, он выполняет план на двести пятьдесят процентов.

Василий Алексеевич рассказывает о своей тоске по новой технике, о том, что при обработке тончайших деталей винта приходится пускать в дело и... топор, о том, что норму выработки можно еще увеличить. А инструмент... инструмент надо обязательно усовершенствовать!

Он обещает от имени всех стахановцев лесообрабатывающей промышленности не отставать от тяжелой индустрии и транспорта.

Аплодисменты. Товарищ Толстоусов проходит на свое место и садится. Вокруг него серьезные, внимательные,

иногда даже напряженные лица, но почему-то все они кажутся молодыми. Неожиданно Василий Алексеевич догадывается. Это от заинтересованности. Нет ни одного равнодушного лица. Равнодушие — старость. Он вспоминает свою раннюю юность, первую ударную бригаду, тридцатый год.

Зимой тридцатого года он был секретарем комсомольской ячейки на Красносельской мебельной фабрике.

Пафос строительства, рожденный первой пятилеткой, охватил великую страну. Важнейшей задачей были машины, тяжелая индустрия. Горячую молодежь влекли к себе новые металлургические и машиностроительные заводы, что росли на юге, на Урале, в Сибири, в самой Москве.

Василий Алексеевич помнит, как своеобразно ударники первой бригады реагировали на просмотренную в кино картину «Наша знакомая».

Ротастая, угловатая журналистка полюбила твердокаменного хозяйственника. У него была уютная квартира и вязаные салфетки на тумбочках. Он оказался подлецом. Тогда она полюбила газетного выпускающего с лицом Адольфа Менжу. У него была конструктивная комната. Шкафы, кровать, стулья, даже картины — все убиралось в стену. Он ходил влюбленный и добродетельный в голой, как пустая спичечная коробка, комнате, и пыль могла садиться только на подоконник и его плечи.

Фильм понравился ребятам. Вязаные салфеточки — гадость, дружно решили они. О конструктивной мебели крепко поспорили. Все были в восторге от показанной в картине газетной ротации. Но некоторые сделали для себя совсем неожиданные выводы.

На другой день к Василию Алексеевичу, тогда еще просто Васе, как к секретарю, трое комсомольцев при-

шли посоветоваться, куда им переходить — на АМО или на «Серп и молот».

Вася прямо всплеснул руками. Он организовал первую ударную бригаду на фабрике. Это была его гордость. Бригада была первой не только на фабрике, но и во всей деревообделочной промышленности.

Бригада втрое повысила производительность. Работа шла на всех парах. И вдруг хорошие ребята решили уйти.

— В чем же дело?

Оказалось, виновата «Наша знакомая».

Шурка Плетнев объяснил:

— Понимаешь, конечно, мы стараемся, чтобы красивые шкафы, чтобы стол канцелярский был, как игрушечка... Но все-таки тянет к машинам. Вот в картине ротационные машины показывали, ну, и вещь! А мне еще дальше хочется пойти, по автомобильной части. Не возьмут на завод, на шофера переквалифицируюсь: «...и посадим СССР на автомобиль».

Вася вздохнул облегченно.

— Обязательно посадим! Только это и без тебя сделают. Ты сколько лет на Красносельской работаешь? Мы сколько с тобой на столяров учились? Ты думаешь, что все зря? Вот подождите, пройдет несколько лет, посадим колхозника на трактор, и от нас же он потребует гнутой мебели, деревянной мозаики.

— Уговорил,— с улыбкой вспоминает Василий Алексеевич. — Ребята остались на фабрике.

В тридцать четвертом году эти же ребята делали изящнейшие балюстрады для эскалаторов метро и мебель для мосторговских магазинов.

А самому Васе Толстоусову за эти годы пришлось

Василий Алексеевич Толстоусов

немало дел переделать. Он был мобилизован на лесозаготовки и около года работал в лесах Северного края.

Не успел вернуться на фабрику, надо было итти в армию.

Два года в армии прошли незаметно. Сначала в Крыму, в артиллерийском дивизионе. Там Васю скоро выбрали в секретари батарейной ячейки. Потом перебросили в Киев, во вновь сформированную воинскую часть, тоже на партработу.

Работать было интересно. Васю больше всего радовала возможность влиять на людей, перевоспитывать их.

В детстве, после смерти отца, рабочего-металлиста, Вася поступил в профшколу. Учился на столяра. С самого начала вступил в комсомол. Через полгода сделался секретарем ячейки и так им и остался до окончания школы. В школе училось двести человек, у секретаря дел было много. Приходилось выкраивать время за счет общеобразовательных занятий. От производственной, столярной работы часа не оторвешь — это самое главное. А общеобразовательные предметы проходились в объеме программы только трех классов или, как тогда говорили, групп средней школы. Все, что Вася знал по истории и литературе, дала ему комсомольская работа, а не школа. Он старался читать, занимался самообразованием, но времени на это было куда меньше, чем желания.

Больше всего Вася любил делать что-нибудь руками. Созданную вещь можно пощупать, она нужна. Ее не было, и вот она существует!

Это сознание вызывало иногда у Васи совсем ребяческую радость. Он даже приплясывал.

В армии Васе особенно нравилось ставить мосты через речушки, чистить винтовку... Вася вернулся из армии опять на Красносельскую фабрику. Сначала попал на

культработу при фабкоме. Это дело его занимало. Ему нравилось добиваться ощущения спайки, воспитывать в людях чувство коллектива.

Простое коллективное посещение театра он умел организовать так, что потом отдельные словечки, персонажи входили в быт молодежи. Из всего, что они видели, он старался выжать максимум впечатлений, довести до сознания каждого все самое важное в пьесе.

А руки все-таки чесались. Хотелось производственной, настоящей работы, чтобы вещи выходили.

Он перешел в винтовой цех. Это был новый цех на фабрике. Там делали винты для самолетов — работу, тогда еще не совсем освоенную. Поступавшие в цех должны были параллельно с работой пройти месячное обучение. Василий Алексеевич прошел курс в двадцать дней. Придя в цех, он поставил себе твердой целью работать без брака.

Это было в начале тридцать четвертого года. Прошло два года, и до сих пор у Василия Алексеевича не было ни одного забракованного винта.

Когда вспыхнуло стахановское движение, Василий Алексеевич крепко призадумался. Желание работать по-новому было огромное, но путей к рационализации своей работы он сначала не видел.

Винты изготовлялись вручную. Механизировать эту работу не сумели и за границей. Инструмент употреблялся тот же, что и для деталей шкафов и столов.

Толстоусов стоял на оправке винтов. Винты подавались из подготовительной в «виде, очень далеком от истины», как говорит Василий Алексеевич, то есть они были остроганы только слегка, для формы.

Подготовка винта производилась на импортных машинах, затем винт передавался в оправочное, и там его на-

чинали обстрагивать сначала топором, потом двойником (рубанком) и, наконец, обтачивать циклями.

Этот переход от импортой машины к топору всегда казался Толстоусову варварским, но, считалось, изменить в этом деле ничего было нельзя.

Как же увеличить норму выработки до предела? Василий Алексеевич продумал весь производственный процесс, советовался с парторгом, с товарищами-комсомольцами. Пришли к выводу, что все внимание надо сосредоточить на строгании винта. Если делать эту работу правильно и точно, то на все остальные процессы, главным образом на обчистку, времени будет уходить в несколько раз меньше.

Работа по оправке винта требует точности до десятой доли миллиметра, половина миллиметра уже превышает предел технического допуска. Василий Алексеевич понял, что самый важный принцип в его работе — это внимательность.

Винт отличается плавностью всех очертаний. От муфты, от центра, он должен постепенно легко сходить нанет. Нарезки делаются по шаблону, но промежутки между ними строгают наощупь, и тут самое важное — не перестрогать и в то же время не сделать «шишек», то есть корявой поверхности.

Все это было продумано.

Толстоусову казалось, что он только прилаживается к работе, а, между тем, производительность все увеличивалась и увеличивалась. При этом девяносто процентов продукции получало отметку «отлично», а остальные десять — «хорошо».

В ноябре товарищ Толстоусов стал выполнять программу на двести сорок — двести пятьдесят процентов.

Рассказывает он об этом так:

— Как я работаю, трудно объяснить. По-моему, просто руки ходят и внимательность — будто весь свет затмился, один винт сверкает. Стал и других учить. Ведь недостатки у них хорошо вижу. Один сосед у меня строгает очень быстро. Когда мы начинаем работать, кажется, что он втрое больше меня сделает. А на подчистку у него впятеро больше, чем у меня, времени уходит. Другой работает много и хорошо, но уж очень много усилий тратит напрасно. Можно экономней расходовать силу. Третий думает работу облегчить, а дает брак... Производственный процесс обдумать не так хитро. Стоим годами на этом деле. Но от плохих привычек отказаться, конечно, труднее.

В середине ноября Василий Алексеевич попал на слет стахановцев. Он успевал со слета забегать на фабрику и рассказывать товарищам о всем, что там делается. Только про речь Сталина говорил:

— Слова такие пронизывающие, простые, все в голове остается, а своими словами рассказывать не хочется. Кажется, что испортишь.

9 декабря у Василия Алексеевича были две огромные радости: его наградили орденом Трудового красного знамени, а рабочий рентгеновского завода Филиппов прислал ему набор инструментов для обчистки.

Он прочел в газете выступление Толстоусова на слете стахановцев и по собственной инициативе начал работать над усовершенствованием инструментов.

Это был замечательный день. Василий Алексеевич говорит о нем:

— Сознание, что человек, который лично не знает ни меня, ни моей фабрики, проникся моей заботой, как своей, ломал голову над усовершенствованием нужного мне инструмента, как-то особенно осязательно заставило меня

почувствовать, что все мы — члены одной семьи. Высокая награда правительства — орден Трудового красного знамени — и этот подарок товарища Филиппова — ведь они говорят об одном и том же. О том, как высоко ценится честный труд в нашей стране. Ведь именно об этом говорил и товарищ Сталин на слете стахановцев. Его речь дала мне зарядку на всю жизнь. Теперь я не имею права работать не блестяще.

А. Риф

Высший класс точности

Это было одно из самых заповедных мест на заводе, куда допускались только сливки, старожилы ремесла, постигшие все его тонкости. Некоторые из них работали по специальности более четверти века. Менее пятнадцати лет — редкие одиночки. Их считали «молодняком». У станков стояли пожилые, солидные люди, старики. Они пришли сюда юношами. Учились годами, запарывали детали, гнали брак.

Шлифовка — деликатнейшая вещь, но тут не просто шлифовали. Здесь создавали. Здесь творили. Коленчатый

вал для авиационного мотора нельзя обрабатывать так же, как заурядный, обыкновенный. Хорошо, если за день отшлифуешь одну штуку. Спешить в этом деле не полагалось. Люди работали обстоятельно и неторопливо. Старики утверждали, что рецептов точной шлифовки не существует и быть не может, что главное — чутье, нюх. Нюху же обучить невозможно.

Они рассказывали с восхищением о волшебниках, обладавших изумительным нюхом и создавших из металла шедевры ювелирного искусства. Но таких было мало, и делали они уникумы. Уникумы оставались, а талантливые самородки потибали. Большинство же, рядовые шлифовщики, давало низкую производительность.

Еще полгода назад на заводе имени Фрунзе, в группе коленчатых валов, ветхая и бесплодная система сковывала всякого, кто пытался уйти от удручающего шаблона.

Прежде чем шлифовать, надо было на себе притащить вал. В одиночку такую громадину не ухватить — тащили вдвоем. Человек, которому все время приходится иметь дело с микроскопическими величинами, с тысячными долями миллиметра, с такой ехидной единицей, как микрон, принимался за работу с дрожащими после переноски тяжести руками. Та же история повторялась каждый раз, когда надо было снять вал со станка.

Шлифовальщик вновь и вновь отрывался от станка и волочил махину в контроль, на стеллаж.

Освободившись от груза, он, однако, часто не мог заняться непосредственным делом. На станке не оказывалось мерительного инструмента. Микрометр взял контролер, у которого своего инструмента нет. Шлифовальщик стоит и ждет, когда на контрольной плите выверят сданный туда коленчатый вал. Сколько пропадало времени!..

Но вот началась шлифовка. Уйма ненужных, непроизводительных движений. Поиски инструмента. Человек нерешительно разглядывает станок, шлифовальный камень, шейку вала. Он неторопливо обдумывает и взвешивает. Торопиться опасно. Вдруг камень врежется в шейку! «Запорол!..» Он смотрит еще и еще раз.

Он боится брака. Нужно прицелиться хорошенько, взять шейку как следует «на-глазок». Лучше повременить. Он делает бесконечные промеры. Он надеется «на глазок», а не на свое знание станка, инструмента. Что ему методы измерения, прием обращения с микрометром, калибром, скобой. «Теория» нюха делает его неуверенным, замедляет обработку. Он тратит на операцию бездну времени и все-таки не укладывается в норму. А норма — десять с половиной часов на операцию.

Провозившись целый рабочий день, он нередко бывал вынужден снова корпеть над прежним валом. Чуточку просчитался, отклонился, ошибся на волосок, и контроль вернул назад. С микроном надо постоянно хитрить. Человек же не всегда достаточно бдителен. Приходится тащить вал на станок и наводить лоск, чтобы не было ни малейшей царапины, ни единой пылинки. Мерительные инструменты тоже не все одинаковы, не все согласованы, — отсюда опять доделки.

Подобные просчеты и срывы получались у самых искушенных мастеров.

Что же было бы, если бы пустить сюда новичка, человека, который еще недавно был чернорабочим? В этом царстве микронов, где машины кажутся «образованными», в этом великолепном, чудесно оснащенном цехе, где есть такие важные и замысловатые иностранные машины, как «Черчиль», новому рабочему становилось не по себе.

Но Ефим Гуревич, шлифовальщик завода имени Фрунзе, — ему не было еще и тридцати, — не растерялся, очутившись в заповедном месте. Он прикидывал: каждый из здешних работников, пожалуй, ему в папаши годится. Здесь, у станка, полжизни прожил. Ефиму же отпущены крохи времени. Всю науку он должен постигнуть в год — в два.

Среди старичков он казался почти комсомольцем. Те глядели на него с недоумением. Пожимали плечами.

— Вал-то, по крайней мере, знаешь, какой?

Предупреждали:

— Раз запорешь, два запорешь, — знаешь, какие это убытки? Каждый вал больших денег стоит!

— Здесь по два десятка лет работают и срываются.

Гуревич слушал их и размышлял:

— Все это так. Все это, пожалуй, резонно. Возился я с простыми валиками. Положим, для меня нормы не было. Я всегда давал процентов на сорок побольше других. Но ведь для них эти валики — пустяки, забава, азбучное дело... Нужно следить за всем, что здесь делается, — запоминать до мелочи все приемы, подход, метод. Надо налечь на литературу...

Литература, чтение технических книжек, — это было единственным его преимуществом перед ними. Он учился в технической школе, год в авиационном техникуме. У него были известные навыки, кое-какие знания. Но здесь он столкнулся с реальной техникой, перед которой боялся показать себя безруким.

Его несколько ободряло, что начальник цеха Николаев из всей группы выбрал только его, Гуревича. На шлифовке нужны были люди. Серебрин, Жаринов и еще двое опытных мастеров оказались чужаками, их пришлось убрать, — получился прорыв. И вот его, простого шли-

фовальщика, поставили на их место. Он должен был показать себя. В кратчайший срок.

Мастера с любопытством ждали, как-то он будет работать.

— Это, брат, тебе не распределительные валы!

А он осматривался, вникал. Для него было драгоценным всякое наблюдение, каждое, случайно оброненное замечание, проливавшее свет на технику работы. Он ловил все, что только можно было, накапливал мельчайшие крупицы опыта, пробовал систематизировать их, проверять по справочникам. Он учился настойчиво, торопливо.

Когда ему первый раз дали на обработку коленчатый вал, Гуревич почувствовал, как следят за ним соседи.

...Он не оглядывается. Он видит вал и только вал. Все было им тщательно еще накануне обдумано и взвешено. Никаких лишних движений. Минимум промеров. Быстро рассчитать и решить. Он работает с большим напряжением — так он никогда не работал. «Эта деталь стоит тысячи». Волнение передается рукам. У шлифовальщика руки — это все; они должны быть абсолютно спокойны.

— «Черчиль» штука тонкая, можно сломать...

Он овладевает собой. «Это моя проба. Сорваться... немыслимо». Он шлифует с каким-то не знакомым ему до того чувством. Это почти ожесточение. «Посмотрим, посмотрим...» Он отделывает одну шейку вала за другой. «Лоск есть. Можно не зашкуривать». Он бережно снимает вал и тащит его в контроль. Волевое напряжение покидает его. Да, он порядком устал.

— Такой работы у меня не было никогда в жизни. Сколько ушло времени? Около восьми часов. Семь пятьдесят.

Он посмеивается.

Ефим Львович Гуревич

— Ну, старички, как? Ваша норма перекрыта. Вместо десяти с половиной — семь пятьдесят!

У контрольной плиты собралась вся группа. Никто не хочет верить контролеру. Мастера подходят по очереди и меряют вал.

— Неужели без брака?

Северьянов, самый большой авторитет в цехе, подтверждает:

— Да, никаких дефектов. Хорошая работа!

Гуревич, довольный, старается не глядеть на них.

— Главное, удалось сделать, как хотел!

Он продолжал работать, ничуть не переоценивая своего первого достижения. Техника открывала ему на каждом шагу новые и новые глубины, которые надо было изучить, понять, освоить.

Перед ним были не простые станки, где можно шлифовать вручную. На простых станках подводят шлифовальный камень к валу, и это отнимает пропасть времени. Здесь — «заграничные марки». С гидравлической подачей. Он почтительно глядел на дипломированные станки, на этих заносчивых иностранцев.

«Черчиль»! Так... Гуревич методически, пунктуально регистрировал приемы и движения, которые наблюдал у работавших на этом сложном станке. Точный и стремительный от природы, он с удивлением отмечал, что люди, казалось бы, съевшие собаку на шлифовке, тут порой теряются, сбиваются с темпа, растрачивают время.

Снова и снова он изучал весь процесс — от подъема вала на станок до проверки его на контрольной плите. На свежий, вдумчивый, критический глаз многое из того, что делалось, казалось излишним, подлежало упрощению, ускорению. Он кропотливо вникал в детали из-

мерения, расспрашивал, как лучше пользоваться инструментом — микрометром, калибром, скобой.

К удивлению своих учителей, Гуревич, какая бы операция ему ни поручалась, делал ее без изъянов. Шлифовал валы, и они всегда блестели — Ефиму их не возвращали для доделки. Его шлифовка была добротна, все расчеты и допуски соблюдены. Норму—десять с половиной часов — он одолел с первого раза.

Потом он стал давать рекорды. Это уже выводило некоторых мастеров из равновесия, задевая самолюбие.

Странное дело: спешка всегда считалась недопустимой в этой работе. Проку от того, что люди делали быстрее, не выходило. Торопливость оборачивалась браком. У Гуревича же — никакого брака. Ни единого, самого малейшего недочета. Он шлифует и скорее и, пожалуй... лучше!

На «Черчиле» он развернулся во всем блеске своих способностей.

Работавшие на «Черчиле» до Гуревича останавливали гидравлик, когда камень находился в пятнадцати—двадцати миллиметрах от изделия. Они не решались итти дальше, боясь повредить шейку вала. Они задерживали гидравлик и подводили камень вручную. Ефим же управляется с гидравликом смело и безошибочно. И это экономит ему дорогие минуты.

Иные мастера предпочитают быстроте многократные промеры. Они особенно осторожничают, когда окончательно шлифуют коленчатый вал. Самое важное тут — не испортить конуса и эллипса шейки. Старики то и дело прикидывают, как бы не сплоховать. Семь-восемь раз промеривают каждую шейку. Ефим Гуревич управляется вдвое быстрее. Он делает три-четыре промера.

В этом одно из его преимуществ.

Бессмысленность и бесплодность многих навыков и приемов, выработанных целым поколением шлифовальщиков, после опыта Ефима Гуревича стали для всех очевидными. Люди начали следить за тем, как работает «новичок», каковы его сноровка, хватка, приемы. Его метод входил в моду, его уже открыто копировали и применяли те, кто еще недавно сам показывал и обучал.

Гуревичу дали бригаду, и она быстро выдвинулась в группе как самая передовая. Бригада убедила всех, что нельзя больше равняться на старую норму.

— Это детские штанишки, — говорил Гуревич. — Из штанишек пора вылезать. Смешны и непрактичны.

И шлифовальщики получили новую норму — три с половиной часа.

Бригада Гуревича первой «санкционировала» эту норму, выполнив ее в тот же день, когда она была объявлена.

Норма получила путевку в жизнь, но оказалась временной и преходящей, прежде всего для самого Гуревича.

В стахановские дни он проделал старую привычную операцию вдвое быстрее. Она заняла у Ефима час сорок пять минут.

Это было уже не просто заводским рекордом. И даже не общемосковским. Это был мировой рекорд. Проектная норма «Черчиля», записанная в паспорте станка и равная двум с половиной часам, оказалась перекрытой.

Это было высшим классом точности.

Гуревич перешел в него, став первым стахановцем на заводе.

Он руководил бригадой и стоял у станка.

Завод поражался.

Гуревич предложил и осуществил новую организацию работы.

Его бригада стала подходить к паспортной норме станка. А Жезлов, Семенов, Конов даже перекрыли ее. Они шлифовали вал за два часа и двадцать минут.

Бригада, и до того слаженная, становилась образцовой для всех цехов, для всех групп.

В сущности, это просто. Гуревич добился того, что шлифовальщик занимается только шлифовкой. Он не должен и не будет таскать тяжести. Это дело грузчиков. Он выделил двух человек, которые ведают только доставкой коленчатых валов. А чтобы это делалось быстрее, он достал специальные тележки. Люди возят их к станкам, в контроль, на стеллажи.

Бригада не теряет времени на поиски инструмента. К приходу каждого шлифовальщика весь инструмент подготовлен. За ним не нужно посылать в контроль. Микрометры, калибры, скобы закреплены за рабочими.

Бригады не заваливают контролеров валами, в которых нужны доделки, исправления. Контроль получает безукоризненные коленчатые валы, отличающиеся предельным, «высшим» лоском. Если же попадется микроскопический дефект, бригадир сам ликвидирует его в контроле.

И темпы бригады становятся все более и более стремительными.

В первый же стахановский день—22 октября прошлого года — она дала сто тридцать шесть процентов суточного задания. Эта цифра повышалась из смены в смену. 27 октября, через пять дней, бригада показала новый результат — сто сорок.

Качество?

Вот убедительные показатели: 22 октября — девяносто

процентов продукции сдано на «отлично»; 27 октября — на «отлично» выдано девяносто семь процентов.

Так работают не одиночки. По-стахановски работает вся бригада. В самом деле:

Горбунов, занятый окончательной шлифовкой центровых шеек, изо дня в день дает от ста тридцати до ста пятидесяти процентов задания.

Абрамов на той же работе — сто двадцать шесть — сто сорок пять процентов.

Нехлюдов. Стоит на первой предварительной шлифовке. Сто двадцать пять — сто пятьдесят процентов.

Шанина. На предварительной шлифовке шатунных шеек. Сто восемнадцать — сто пятьдесят процентов.

Жезлов. На окончательной шлифовке шатунных шеек. Сто двадцать шесть — сто пятьдесят три процента.

Егоров. Сто двадцать — сто шестьдесят.

Семенов. Сто пятьдесят — двести тридцать два!

Северьянов, тот самый, дает от ста пятидесяти до ста шестидесяти семи процентов.

— Я на бегах теперь, — смеется он. — Никогда не бегал раньше. А вот рысью пошел... Если где и отстану на пятьсот метров, все равно на повороте обгоню. Ну, а на сотые и тысячные миллиметра, это уж как факт — мои возьмет, за стариком не угнаться. Навык!

Эти люди, заслуженные и опытнейшие рабочие, у каждого из которых производственный стаж в несколько раз выше, чем у Гуревича, учатся у своего молодого, полного энергии бригадира-орденоносца.

Что заставляет стариков итти за ним?

Об этом отлично сказал самый старший из них, «волшебный» мастер шлифовки, как его называют на заводе, товарищ Северьянов:

— Очень просто! Когда ты идешь вперед, ты не один.

Е. Кригер

Поездка в Семипалатинск

С боен все и началось. Он поступил туда совсем молодым парнем. Это было в 1928 году.

В первый день ему показалось, что не выдержит. Он попал сначала в отделение, где режут свиней. Свиньи визжали. Десятки, сотни свиней визжали, когда их тащили под нож. Они визжали и под ножом.

Павел постоял с минуту. Растерянно улыбался. У него кружилась голова от этого страшного, неумолчного животного крика.

— Ну, что? — спросили его.

Он попросил, чтобы его назначили в другое отделение.

В отделении крупного скота было тише.

Павла взяли учеником. Он учился быть «заводным». Обязанности его заключались в следующем. С канатом, который бойцы называли «налытой», он отправлялся в загон. С ним шел помощник — «ашник». Происхождения обоих этих слов никто не знал, но к ним привыкли. Слова были так же стары, как сами бойни.

В загоне находились коровы. Их привозили сюда целыми поездами. Павлу нужно было поймать налыгой одну из коров и отвести ее в камеру.

В конце концов, налыга не что иное, как лассо. Этим лассо нужно было ловить животных.

Проклятые коровы часто путались Павла, от испуга бросались на него, и ему порой приходилось улепетывать. Особенно пугливым был кавказский и киргизский скот. Его всегда можно узнать по мутному, подозрительному взгляду. Павла научили всяким уловкам, которые помогали подойти к животному незаметно. Он подкрадывался сбоку и вдруг накидывал налыгу на корову, тащил ее, а в это время ашник кричал сзади обреченной, бил ее палкой, крутил ей хвост.

Так они вели корову в камеру.

Здесь их ждал «кровяник». Кровяник убивал корову. Он привязывал ее к столбу и канатом зажимал ей челюсти. Потом снимал со столба кинжал и ударял им в становую жилу животного, отделяя спинной мозг от головного. Животное падало. Кровяник подставлял таз, куда стекала кровь. Другим ножом он особым образом вспарывал шкуру, поддавая клинок к самому сердцу коровы, чтобы спустить всю кровь. Когда кровь сте-

кала, бойцы снимали шкуру с головы и отделяли голову от туловища.

Павел относил голову шагов на пятнадцать в сторону и вешал на крюк. Иногда головы попадались тяжелые, больше пуда.

В камере дружно и быстро работали пять бойцов во главе с бригадиром, которого звали «насекалой».

Насекало поднимал тушу на лебедку, и все помогали ему, и руки у всех скользили в крови и сале животного, и туша вот-вот готова была рухнуть обратно на пол, и все кряхтели и покрывались потом.

А потом Павел опять бежал в загон ловить другую корову. К концу дня он чертовски уставал, руки и ноги становились такими тяжелыми, как будто мышцы были набиты песком. Он плелся домой, мечтая только о кровати, а во сне видел коров, которые упирались и не хотели итти в камеру.

Детство у Павла Волкова было не сладкое. Он видел вокруг себя много грубых и темных людей. Отец его, бывший когда-то ломовым извозчиком у зарайского купца Балашова, под конец жизни стал пить денатурат, научил пить и мать Павла. В комнате всегда пахло винным перегаром. Павел ложился спать не в комнате, а в коридоре на печке.

Однако, нравы старых боен оказались еще покруче. Не то, чтобы здесь было много дурных людей. Люди здесь были такие же, как и всюду. Но грязные, как помойная яма, бойни и простая, грубая работа накладывали на них особый отпечаток.

Что ж! Старая боенская камера в самом деле ничем не напоминала университета культуры или чего-нибудь в этом роде. Откровенно говоря,— пусть это не покажет-

Павел Степанович Волков

ся вам странным,— еще меньше она походила на предприятие для приготовления продуктов, которые пойдут в пищу человеку.

С годами ее пропитал запах куда более крепкий, чем денатурат, который Павел ненавидел с детства. Этот запах исходил и от людей, долго работавших в камере. Это был запах неопрятной, торопливой смерти сотен тысяч животных. Казалось, он усиливался оттого, что в камерах было темно, будто этот мрак и был тем самым запахом. Все это усугублялось вечной сыростью, происходившей не оттого, что камеру часто мыли, а оттого именно, что мыли ее скверно и пол и стены были склизкими. При мысли о бойне прежде всего возникало ощущение этой склизкости.

Бойцы мало заботились о чистоте в камерах. Да и трудно было содержать в порядке старые бойни. Слишком тесно было. Грязь и отбросы волей-неволей приходилось терпеть рядом с мясом. «Каныта», то есть содержимое коровьего желудка, вываливалась из рубца прямо на пол. В углу лежали целые горы задних и передних ног животных. Вымя бросали в таз, а если оно попадало мимо, и так было ладно.

Но хуже всего — удушающий запах от стоявшего рядом кишечного завода.

Все это в сознании Павла смешалось с памятью о несчастном детстве, о захолустном городке Зарайске, о том времени, когда отец стал пить денатурат, отбился от работы и увлек за собою мать, так что дом мальчику опротивел. Два его брата, оставленные без присмотра, стали хулиганить, их знала вся улица.

Павел жил отдельной жизнью. Может быть, ему помогало то, что он почти не заходил в комнату и спал в коридоре.

На бойнях он сблизился с молодыми ребятами-комсомольцами. Когда была создана молодежная бригада, он стал инициатором борьбы за повышение производительности труда. Понемногу его стали уважать и молодежь и старые бойцы. Он ездил отдыхать на Черное море.

Однажды брата уличили в каком-то серьезном проступке. Он попал в колонию малолетних правонарушителей, а потом его отправили в коммуну в Томск. Другой брат поехал туда же за ним. Они начали работать. Тогда отправились в Сибирь и отец с матерью.

Павел женился. Запах денатурата в комнате выветривался.

В 1933 году в Москве ввели в действие новый мясокомбинат. Он построен по образцу американских заводов мяса. Это целый город. 23 декабря Павел попал на его открытие.

— Посмотри, как светло,— сказал он товарищу.

— Да,— ответил тот.

— Здесь, пожалуй, не придется за коровами бегать?

— Гм!

— Смотри, туши сами плывут. Вот здорово, ей-богу.

— Да! — сказал товарищ.

Всюду раздавался плеск воды, вода хлестала со всех сторон, так что все вокруг казалось голубым. Впрочем, дело было не только в обилии воды, но, может быть, главным образом, в этих белых или светлосерых полах, стенах и потолках, в этом бьющем в широкие окна дневном свете. Везде расхаживали блюстители чистоты с брандспойтами в руках, каскады воды омывали все и вся, целые реки текли во всех направлениях. Казалось будто и пол и стены, и потолок вечно источали воду.

Не меньше одного раза в день сквозь воду проходят и люди. Это какое-то крещение чистотой. Перед тем, как итти в цехи, все работники мясокомбината снимают с себя одежду, оставляют ее в гардеробе и становятся под душ. Вода падает тяжело и густо, как ливень. После душа людям как-то особенно легко и ладно работается. Гардеробщики выдают рабочим чистое белье и платье — сорочку, трусы, белые брюки и китель, белый колпак с длинным прозрачным козырьком и белый фартук. Тут же получают инструменты и расходятся по цехам. А цехов много.

Цехи больше напоминают операционные залы в хорошем лазарете, чем бойни. Да, это ничуть не походит на бойни. Непрерывно и стройно плывет в воздухе конвейер свиных, или бараньих, или коровьих туш, а люди стоят на местах и каждый без напряжения делает какую-то небольшую часть работы по разделке туш. Получается так, что в комбинат приводят корову, а через некоторое время увозят альбумин, костяную муку, удобрения, сотни различного вида продуктов и веществ.

Павлу сказали, что стоимость продуктов, получаемых из коровьей туши, значительно превышает цену живой коровы, причем в этот счет не входит мясо. Мясо здесь оказывается чем-то вроде отхода или побочного производства. Мясо здесь — самый простой и дешевый продукт.

Таким образом комбинат никак нельзя назвать бойнями.

Это — фабрика со множеством тонких и деликатных производств. Ни один волос с животного не пропадает даром.

А рабочие в белых халатах и колпаках с длинным козырьком похожи на врачей.

Они деловито совершают свои операции. Их движения пронизывает какой-то общий, неуловимый ритм, заданный, вероятно, плавным ходом конвейера. В руках у них сверкают электрические пилы и еще какие-то блестящие инструменты.

— Знаешь что? — сказал Павел товарищу.

— Ну?

— Пожалуй, здесь нам придется как-то иначе работать. А?

— Да! — сказал тот.

Павел жадно присматривался ко всему, что творилось вокруг.

— У нас на старых бойнях только били скот. А здесь убой — последнее дело. Здесь, брат,— фабрика. Вот в чем штука.

Позже Павел узнал, что и убоя-то скота здесь нет в прежнем значении этого слова. За коровами никто не бегает. Ритмический ход производства начинается с того, что скот спокойно идет узким коридором. Удрать или повернуть назад животные не могут как раз потому, что коридор очень узок. Они могут итти только вперед.

И вот корова попадает в камеру, которая называется «боксом», что по-английски значит коробка. Стоящий наверху рабочий прикасается к коровьему затылку концом длинной рогатки. Животное падает и засыпает. Что бы с ним ни делали, оно теперь ничего не чувствует. Корова оглушена электрическим током, ударившим из конца рогатки. Рабочий включает лебедку. Лебедка поднимает пол камеры, он становится покатым. Оглушенное животное скатывается в другое помещение, где рабочие подхватывают его путовым роликом за задние ноги. Отсюда начинается плавная музыка конвейера. Животное плывет к весам, где измеряется живой вес, дальше

к рабочему, который вскрывает горло и завязывает пищевод, чтобы не вываливалось содержимое желудка, затем — к рабочему, который бьет скотину ножом в трудь. Но он не убивает, он бьет с таким расчетом, чтобы не коснуться сердца, чтобы сердце продолжало работать и гнать кровь. Нож у этого рабочего, круглый и пустой в середине, соединяется с резиновой трубкой. Сердце животного продолжает работать, нагнетая кровь в резиновую трубку, а через трубку в цинковое ведро. Когда ведра полтора крови выходит из животного, рабочий коротким и точным движением умерщвляет его. Сердце замирает,— иссякает струя крови. Ведра опоражнивают в особое отверстие, и кровь течет по трубам в альбуминный цех, после ряда операций попадает там в куб с высокой температурой и в единый миг превращается в порошок. В альбуминном цехе притотовляют очень ценные вещества.

А туша плывет дальше. Кто-то отрезает ей уши, кто-то заделывает лоб, кто-то щеку, наконец, ей снимают голову.

Ну, и так далее, в том же роде. Конвейер работает. Это — фабрика.

Павлу особенно нравится, что живое сердце животного используется, как насос для нагнетания крови в резиновую трубку и, следовательно, становится какой-то частью умного фабричного оборудования.

Павел начал работать в цехе первичной обработки крупного скота. Его назначили съемщиком шкур с быков. Его знали как способного и предприимчивого работника.

Порученная ему операция заключалась в следующем. Вместе с товарищами он стоял на рифленых плитах. Когда очередная туша подходила сюда, диспетчер вре-

менно выключал ее из конвейера, направлял на запасный путь и оттуда на рифленые плиты. Тут ее разделывали. Четыре человека снимали шкуру с конечностей, а Павел — с правого бока. Приблизительно через минуту тушу поднимали на полувысоту, а потом и на полную высоту, продолжая последовательно снимать шкуру с лопаток, с хвоста и так далее. Затем тушу сажали на ролики и отталкивали на запасный путь, а там диспетчер снова включал ее в конвейер на дальнейшую разделку. Туша двигалась, ее «нутровали», электропилами расчленяли на две половины и гнали на конвейер туалета. Там ее зачищали, обмывали, оборачивали в простыни, чтобы уберечь от мух. Она двигалась на весы и уходила в холодильник.

Павел работал с увлечением. Несколько раздражало многолюдье на рифленых плитах. Однако, количество людей здесь было в строгом соответствии с американскими нормами. Павлу все же хотелось бы, чтобы людей было меньше.

Дома жизнь текла ладно и спокойно. Из Сибири вернулась мать, Павел взял ее к себе. Он просил ее больше не пить. Она уважала его и не пила. С работы Павел возвращался менее утомленным, чем раньше. Он приносил с собой книги и тихонько шелестел страницами, пока женщины возились над ужином. Желтый круг от лампы качался, когда по улице проезжал грузовик.

Павел замечал большие перемены в старых и молодых своих товарищах. Они стеснялись приходить в комбинат в грязной и некрасивой одежде. Комсомольцы проводили шумную кампанию, внедряя воротничок и галстук в туалет рабочих. Работали многочисленные кружки. Театральные билеты расхватывались в завкоме в один день, и часто Павлу приходилось самому ездить к вахтанговцам или в Большой за билетами для себя и жены.

Авторитет Павла в комбинате повысился после большого успеха бригады, в которой он временно замещал уехавшего бригадира. Тогда самого Павла назначили бригадиром. Со стариками-боенщиками он солидно поднял выработку, примерно, голов на сто обгонял соседнюю молодежную бригаду.

Однажды к нему прибежала Лиза Сарафанова, цеховой технолог:

— Павел, придется тебе замещать бригадира в молодежной.

Павел оставил своих стариков и в тот же день обогнал их с ребятами-комсомольцами. К нему начали приглядываться. Заметили, что успех вместе с ним переходит из бригады в бригаду. Он остался работать с молодежью. С тех пор молодежь стала побивать все производственные рекорды цеха.

Скота комбинат пропускает много, животные целыми стадами, целыми поездами исчезают в его воротах. Бригада Павла Волкова обрабатывала по четыреста пятьдесят голов за семь часов и часто получала премии.

Павел попрежнему думал:

— Слишком много людей. Толчея.

Он прочел в газетах о работе шахтера Стаханова. Павлу подумалось, что не только на угле, но и в других отраслях промышленности можно работать, как этот забойщик. Правда, Павел не сразу нашел стахановские методы для своего производства. Поглядывал на рифленые плиты, тужил о многолюдье. Внимательно вчитывался в газеты, отмечая в памяти каждую телеграмму шахтеров, доменщиков, лесорубов, извещавших страну о своих успехах.

— Прямо Сталину пишут! — удивлялся Павел.

Он чувствовал, что в нем поднимается неясная трево-

га, словно сознание какой-то вины. Результаты работы в цехе не удовлетворяли его, хотя эти результаты давно прославили его имя в комбинате.

Государство построило большое и умное предприятие — мясокомбинат. Работа на таком предприятии обязывала не только к механическому выполнению заданных операций и движений. Что-то нужно было прибавить, внести от себя. Вот в чем штука! Надо шевелить мозгами, предлагать, изобретать, творить.

Порядки на рифленых плитах раздражали всех членов молодежной бригады. Слишком много людей, а потому маловато порядков,— на этом сходились все. Но как изменить процесс? Павел, бригадир, чувствовал себя обязанным разобраться в этом.

— Так это ж дело технологов, инженеров! — говорил Павел самому себе.

Это звучало, однако, так несерьезно, что Павел тут же отказывался от этого возражения.

Он внимательно слушал, что предлагали товарищи на производственном совещании для улучшения постановки дела в цехе. Производственное совещание наметило укрупнение операций.

Но как осуществить его на рифленых плитах?

Работая, Павел присматривался к каждому движению тридцати своих товарищей. Еще недавно совместный их труд казался Павлу на редкость дружным и ладным. Но вот теперь он замечает, что есть в этой слитности движений какие-то трещинки. В работе каждого съемщика шкур то и дело случаются досадные паузы. Человек стоит и мнется, на полминуты он выбит из ритма, потому что для него нет работы или ему мешает работать сосед. Вот что давно раздражало всех. Люди

путаются в нотах друг у друга. Очевидно, их действительно больше, чем нужно, на рифленых плитах.

На рифленых плитах, как и во всем комбинате, действовала американская, казалось, непогрешимая схема. Что мог поделать с американцами бывший московский боенщик Павел Волков? У них ведь Чикаго!

Павел советовался с директором Юрисовым, с парторгом цеха, с технологом Лизой.

И наконец он отчетливо понял, что на этот раз американцы просчитались. У них ведь не было возможности опереться на творческие способности самих рабочих, потому что люди, работающие на хозяина, отнюдь не желают обогащать его своей смекалкой и выдумкой! Чорта с два! Свои способности и таланты они держат про себя. Все эти американские схемы составляются хозяйскими приказчиками.

Но эти американские схемы оказываются узковатыми для советского предприятия. Теперь-то Павел уверился в этом окончательно!

16 октября, посоветовавшись с технологом Лизой, он пришел в цех и заявил:

— На рифленых плитах слишком много мелких операций... Дробить операции выгодно только на конвейере. А на рифленых плитах туша временно выключается из конвейера. Поэтому здесь дробность операций приносит только вред. Люди толкаются, сбиваются в кучу, тормозят работу друг другу.

Затем он приступил к делу и снял из своей бригады не больше, не меньше, как десять человек. А в это время на комбинате стоял «бараний» конвейер — нехватало людей. Их искали по всей Москве, ездили за ними в деревню.

— Вот и хорошо,— сказал Волков,— идите-ка, ребята, на бараний конвейер, а мы тут как-нибудь сами справимся!

Он уже точно знал, что справятся. Вместо американской у него была готова своя схема — волковская. Суть ее заключалась в том, что, отказавшись от десяти человек, Павел тем самым удалил все трещины и паузы в операции.

Вот как он это сделал.

Раньше шкуру с ног снимали четыре человека, а двое других стояли и ждали, когда можно будет отделить «цевки» (часть ноги). Операцию с «цевками» Павел передал первым четырем, а тех двоих отослал на бараний конвейер.

Стало на плитах двумя рабочими меньше.

Шкуру с боков снимали четыре человека, а Павел оставил трех, и этим троим тоже стало легче работать — меньше толкали и мяли друг друга.

Стало на плитах уже тремя рабочими меньше.

По американской схеме один рабочий ходил и ярлыки на тушу наклеивал. Только для того и приходил в комбинат — ярлыки шлепать. Павел снял и этого работягу, а наклейку ярлыков поручил распиловщику грудной клетки.

Стало теперь на плитах четырьмя рабочими меньше.

Шкуру с голяшек снимали два человека, со спины — два человека, с лопаток — два человека, с хвоста — один человек. Павел убрал двух съемщиков со спины, а их работу распределил между съемщиками с голяшек и с лопаток.

Стало на плитах шестью рабочими меньше.

Для подъема туши и посадки ее на ролики по американской схеме полагалось шесть человек. Павел двоих

передал на бараний конвейер, а их операции распределил между остальными, использовав для этого паузы в их работе.

Стало на плитах восемью рабочими меньше.

Один человек специально занимался удалением вымени, а другой был подсменным бригадира Волкова. Бригадир взял работу подсменного на себя, а удаление вымени распределил между тремя съемщиками шкуры с боков.

И стало на плитах ровно на десять рабочих меньше.

Они отправились на другой конвейер и там успешно расправляются с бараньими тушами.

А оставшиеся двадцать человек в первый же день показали, что работать им стало легче и удобнее. Показали очень наглядно. Пропустили за день пятьсот шестьдесят три туши. На следующий день они дали ту же выработку. В иные дни она доходила до шестисот туш. А в стахановские сутки — 3 января — бригада за семь часов пропустила семьсот восемь туш. Другими словами, за час двадцать человек разделывали по сто одной туше, в то время как американская норма — семьдесят семь туш на тридцать человек.

Тут волковской бригаде устроили настоящее чествование.

Соседняя бригада Удачина давно уже последовала примеру Волкова, перешла на его схему и тоже отправила десять человек с рифленых плит на бараний конвейер.

Музыка комбинатских конвейеров стала еще стройней и ритмичней. Бывший боенщик Волков, бегавший когда-то с налыгой за коровами, почувствовал себя настройщиком гигантского инструмента. Он известен за пределами Москвы. На его имя приходят телеграммы из сибирских и южных комбинатов с просьбой поделиться опытом. С ним обращаются, как с профессором. Его пригла-

сил к себе побеседовать нарком пищевой промышленности Микоян. Беседа была деловой, но очень теплой.

Тревога покинула Павла. Он знает, что приносит стране пользу в полную меру своих способностей и талантов.

Сфера деятельности этого рабочего и реформатора пищевой промышленности расширяется. Его попросили съездить в Сибирь, в Семипалатинск, на тамошний мясокомбинат. Оказывается, там ждут его, как учителя. Вот как обернулось дело! Стоило рядовому рабочему проявить свои способности, как страна подняла его на свои широкие плечи, показала всем и посоветовала:

— Учитесь!

И вот он едет в Семипалатинск учить целый мясокомбинат. А давно ли сам в первый раз появился на пороге московского комбината и замер, и задумался, пораженный удивительной музыкой конвейера?

Попрощался с женой. Сел в поезд. На станциях выбегал за кипятком и газетами. Болтал с соседями. Спал. Скучал. Одним словом, как пассажир, ничем особенным не отличался, и это позволяет сократить описание долгого пути в Семипалатинск.

Встречала Павла целая делегация, во главе с председателем крайкома союза и председателем завкома семипалатинского комбината — Шакабаевым. Накормили Волкова ужином и на автомобиле отвезли на ночлег. Боялись утомить, сразу уложили спать. Павел даже подумал смешливо:

— Цацкаются со мной, как с каким-нибудь старым профессором!

Отшучивался.

Следующий день был выходным на комбинате. Павел бродил по городу, присматривался к нему. Город пока-

зался маленьким. На улицах много казахов в длинных шубах, отороченных мехом. Шапки тоже из меха, с длинными ушами. Вечером пошел в цирк, хлопал акробатам. Они работали очень точно. Павлу тоже захотелось работать.

Чуть свет на другое утро побежал в комбинат. Удивился, что за тридевять земель от столицы, в маленьком городке выстроена махина побольше московского мясокомбината. Осмотрелся, пригляделся к людям. Решил:

— Можно начинать работать!

Но сразу хозяйничать не стал, а собрал бригаду выпить пивца и чайку, потоворить. Болтал о том, о сем. балагурил, расположил к себе людей, а сам присматривался, на кого опереться в завтрашнем опыте. Оказалось, можно опереться на любого. Ребята неплохие.

На другой день с удивлением наблюдал идиллические порядки на комбинате. Захотят покурить — останавливают конвейер. Подумать только: конвейер, остановленный папиросой!

Павел перестраивал работу на рифленых плитах, сколачивал вокруг себя людей.

В первый же день семь рифленых плит дали семьсот шестьдесят три туши. Семипалатинцам хотелось кричать «ура!», но, стараясь быть джентльменами, они только жали Волкову руку. Жали достаточно крепко.

В следующий раз Павел раскачал людей на разделку уже семисот восьмидесяти туш. Директор сказал:

— Скота много подвалило, понимаешь ли. Давай-ка на всех десяти плитах расставим людей по-твоему.

Расставили. К концу дня подсчитали: тысяча двести тридцать восемь коровьих туш!

Павла уже тянуло домой, в бригаду, пора было уезжать. На следующий день он уже только наблюдал

за работой, чтобы знать, как дело пойдет без него. Бригада чуть сдала, но советы и замечания Волкова помогли ей прочно закрепиться на уровне тысячи ста пятидесяти — тысячи двухсот туш в смену.

Павел был удовлетворен. Итак, он может быть учителем целых цехов и заводов. Опыт его перенимают десятки новых рабочих. Вот он уезжает, а в этой степной республике остаются люди, которые скоро будут работать ничуть не хуже москвича Павла Волкова.

Довольный успехом, отправился напоследок на слет стахановцев Восточного Казахстана. Слушал речи рабочих Ульбастроя, Риддера, Семипалатинска. Вдруг телеграмма из Москвы. Ее зачитывают, упоминается имя Павла.

— Награжден орденом Ленина! — сказал председатель.

Волков на мгновение онемел, сердце словно хотело выпрыгнуть из груди.

На другой день он уехал в Москву.

Приехал, бросился домой, расцеловал жену и—в двери.

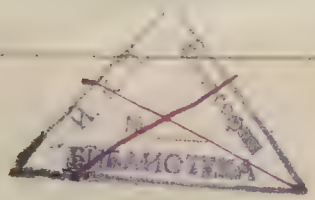
— Куда?

— В цех, на рифленые плиты, к ребятам!

Через пять минут за ним приехала из комбината машина. Жена вышла и, вытряхивая чемодан, сказала:

— Ушел, товарищи, не дождался.

Автомобиль помчался вдогонку.



Содержание

Стр.

Б. Галин. Нина Славникова 1
Ф. Кандыба. Токари 15
В. Гроссман. Товарищ Королев 31
М. Дальцева. Правильная походка 49
А. Воронцов. По графику Сергеева 61
Б. Яглинг. Силы города 73
К. Финн. Про счастье 87
Вера Инбер. Та самая Макарова 99
Л. Саянский. Большевистская гордость 110
П. Лин. Творчество мастера 126
А. Крылова. Долюшка женская 141
М. Залка. Валя Сергеева 154
Т. Тэсс. Происхождение мастерства 169
К. Левин. Партийный подход 183
А. Кронгауз. Составитель поездов 199
А. Воронцов. По-чапаевски 209
Л. Саянский. Сила соревнования 230
О. Фомина. Стахановская школа 248
С. Гехт. На электрокомбинате 264
Н. Маркевич. Мастер третьего стана 274
А. Каменногорский. Нина Волкова 285
Е. Габрилович. Вагоновожатый 299

Стр.

А. Гудимов. Советский инженер 314
М. Папава. Бригадир китайской машины 326
А. Эрлих. Тетя Маня 339
М. Вистин. Одна ночь 349
М. Залка. Немеренными шагами 363
Ф. Кандыба. Большая дорога 376
М. Стасенко. Простая жизнь 393
З. Полякова. Литейщик 406
С. Гехт. Клещи и винтовка 419
Б. Бродовский. Учитель машинистов 433
А. Гудимов. Свой советский радий 449
Е. Босняцкий. Творчество 460
Л. Кассиль. Иван Гудов и Фриц Вернер . . . 478
М. Дальцева. Собственные красители 493
Т. Тэсс. Место под солнцем 505
Ю. Шатуров. Рассказ с примечаниями 516
М. Стасенко. Комсомольский активист. . . . 531
А. Риф. Высший класс точности 542
Е. Кригер. Поездка в Семипалатинск 554

Сдано в производство 31/I 1936 г. Подписано в печать 24/IV 36 г. „Московский рабочий" № 87. Мособлгорлит № 13211. Тираж 5000. Формат бумаги 62×94/16. Текст отпечатан на бумаге Красногородской фабрики.
39-я типография Мособлполиграфа
Москва, пр. Сквордова-Степанова, 3.
Заказ № 24

Цена 15 руб.